

**ВРЕМЯ  
И МЫ** 131  
1996



**СТРАХИ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНИНА**  
В. ШЛЯПЕНТОХ: ЗАМЕТКИ СОЦИОЛОГА

# **ВРЕМЯ**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

# **И МЫ**

*ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОДИЗДАНИЯ*

Выходит один раз  
в три месяца

**131**  
**1996**

НЬЮ-ЙОРК - МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» - 1996

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

**ЛЕВ АННИНСКИЙ**                    **ГРИГОРИЙ ПОЛЯК**  
**ВАГРИЧ БАХЧАНЯН**            **ЛЕВ НАВРОЗОВ**  
**ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ**                **ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН**  
**ДЖОН ГЛЭД**                    **ИЛЬЯ СУСЛОВ**  
**ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ**           **МОРИС ФРИДБЕРГ**  
**ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ**      **ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ**  
**ЕФИМ ПИЩАНСКИЙ**          **ЕФИМ ЭТКИНД** (зам.гл.редактора)  
**ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ**

Главная редакция журнала "Время и мы"  
409 Highwood Ave, Leonia,  
New Jersey 07605, USA  
Тел.: (201) 592-61-55  
Факс: (201) 592-69-58

Московский центр журнала "Время и мы"  
Заведующий центром Лев Аннинский  
Адрес центра: 117415 Москва,  
ул. Удальцова, 16/19.  
Тел.: 131-62-45

Израильское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующий отделением Ефим Пищанский  
Адрес отделения: Neve-Yakob Reuven  
Gamson Str., 32/3, JERUSALEM, 97350  
Tel.: 02J857-282

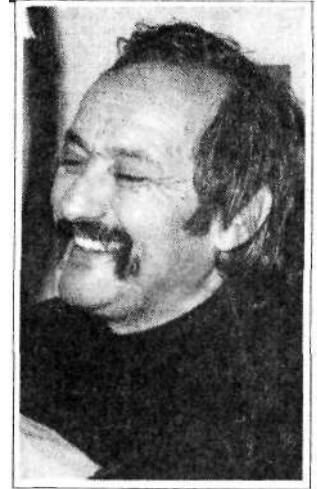
Французское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующий отделением Ефим Эткинд  
Адрес отделения: Rezidence Lorilleux  
Esc.U. appt 929, 15 Allee Henri Sellier,  
92800 PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Берлине  
Manama Shmargon, Shlosstr 30/30  
1000 Berlin 19

OCR и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**СОДЕРЖАНИЕ**

ПРОЗА	
<i>Борис НОСИК</i>	
Анна и Амедео.....	5
<i>Татьяна МУШАТ</i>	
Боги внемяют.....	89
ПОЭЗИЯ	
<i>Григорий МАРК</i>	
Рифмами остриженные строчки.....	114
<i>Владимир ДОБИН</i>	
Живых и мертвых слышу голоса.....	123
РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ	
<i>Владимир ШЛЯПЕНТОХ</i>	
Страхи российского гражданина.....	130
<i>Андрей ГРИЦМАН</i>	
«Девочки и мальчики».....	149
МОМЕНТ ИСТИНЫ	
<i>Миша ГОФМАН</i>	
Американская мечта. Цена успеха.....	168
ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА	
<i>Иосиф КОСИНСКИЙ</i>	
Жизнь и метания Юрия Нагибина.....	192
ИНТЕРВЬЮ «ВРЕМЯ И МЫ»	
<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i>	
Россия и мир глазами Эрнста Неизвестного.....	203
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО	
<i>Петр РАБИНОВИЧ</i>	
Дела и судьбы.....	224
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ	
<i>Владислав ХОДАСЕВИЧ</i>	
Из жизни и литературы.....	257
ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»	
Городской романс.....	284
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ.....	296



*Борис НОСИК*

## **АННА И АМЕДЕО\***

*или рисунок в интерьере*

Прежде чем встретить персонажей этой любовной истории на ночной улице Бонапарта, в темных аллеях Люксембургского парка или близ Версальских ворот, на юго-западе французской столицы, автор хотел бы познакомить читателя с самими героями и их окружением, а также с тем, что происходило у каждого из них в жизни, предшествовавшей этой встрече. И уж затем в обществе тех, кому к этому времени еще не наскучит настоящая повесть, проследить дальнейшее течение их судьбы, а, возможно, и дальнейшее развитие их так неожиданно вспыхнувшей и, казалось бы, закончившейся любви. Последнее не должно выглядеть фантастичным, ибо любовь в жизни каждого из нас (а у творческих людей с особой остротой!), может продолжаться и за рамками реальной встречи, которой в иных случаях может не быть. В данном же случае встреча была, притом была такой неизбывной, а жизнь после тех упоительно-прекрасных июньских дней повернулась так круто! Все это более или менее известно, хотя связанной

---

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© "Время и мы"  
ISSN 0737-7061

---

\* Журнальный вариант

биографии ни ее (великой русской поэтессы), ни его (всемирно-известного гениального живописца) пока не написано. И уж вовсе никто не коснулся того переворота, который произвела в их жизнях упомянутая выше июньская встреча в Париже. До самой смерти в изголовье поэтессы — героини нашего рассказа — висел торжественно-прекрасный, почитательно-благопристойный и всему сонму поклонников известный модильяниевский рисунок. Но вот совсем недавно на венецианской выставке всплыли вдруг иные, хоть и прекрасные тоже, но такие юные, лихие, беспутные для великой поэтессы (совести диссидентской России, докторши «гонорис казуа») рисунки, — которые лишь таились до времени, лишь притворялись потерянными, будто специально для того, чтобы унести от взора почтенной публики ее интимную тайну. Что до автора этого повествования, то он, углубившись в модильяниевские альбомы и несмотря на ожидаемые протесты критики, все же рискнул на свой страх и риск прикоснуться к этой скрытой за семью печатями тайной любви. Впрочем, обо всем этом в своем месте, а пока о героях нашей документальной повести, и сначала, конечно, о ней, об Анне Ахматовой.

### Анна до встречи с Амедео

Она родилась у моря, в Одессе. Маленькая дачка Саракини стояла над морем, близ почты и обрыва на Большом фонтане, на 11 станции. Через год после ее рождения отец, отставной флотский инженер Андрей Антонович Горенко, получил какую-то службу у Великого князя Алексея Михайловича, и семья переехала в Царское Село.

Итак, Царское Село и Одесса! Если кто-то удивится, откуда у нее такая экзотическая, уж никак не северная красота, скажем смело: скорее всего оттуда, из Одессы, где кого только не встретишь, — украинки, итальянки, молдаванки, гречанки (ах, гречанки!), турчанки, цыганки, еврейки, — стало быть, какой угодно гремучей смеси. Сама поэтесса сказала однажды (впрочем, в пору уже позднего мифотворчества), что Анной ее назвали в честь бабушки, у которой родная мать была татарская княжна Ахматова — по прямой линии от Чингиз-хана. Это уж вполне по-царкосельски (даже Романовы любили напоминать, что ведут род от татарского

мирзы Чета). Отсюда и псевдоним будущей поэтессы, и рассказ о том, что ее татарского предка, хана Ахмата, убил ночью в его шатре подосланный русский убийца, чем и кончилось на Руси татарское иго. Впрочем, правдолюбка-подруга Надя Мандельштам напоминает, что уже была тогда некая переводчица Ахматова, не от нее ли псевдоним?

Итак искристую зиму, весну и великолепную багряную осень девочка проводила в Царском, где маленькие лошади, экипажи, гвардейцы, нарядные дамы, а лето, начиная с семилетнего возраста, — близ Севастополя, на берегу бухты, в пленительном Новом Херсонесе. Там она бродила одна по пляжу, плавала в море, дружила с рыбаками. Кое-что о вольном этом приморском житье можно найти в ранней ее поэме (конечно, уже должным образом стилизованной и звучащей, во многом, по-блоковски):

Ко мне приплывала зеленая рыба,  
Ко мне прилетала белая чайка,  
А я была дерзкой, злой и веселой  
И вовсе не знала, что это — счастье...

А в поэме, написанной десятилетие спустя, есть прекрасный принц, или король, как всегда, сероглазый, и рыбаки там тоже есть, очень, впрочем, благовоспитанные рыбаки:

Я с рыбаками дружбу водила.  
Под опрокинутой лодкой часто  
Во время ливня с ними сидела,  
Про море слушала, запоминала,  
Каждому слову тайно веря.

Поэма датирована 1914 годом, и ее даже одобрил вздыхавший по юной поэтессе сероглазый король Александр Блок.

А вечером перед кроватью  
Молилась темной иконке,  
Чтоб град не побил черешен,  
Чтоб крупная рыба ловилась  
И чтобы хитрый бродяга  
Не заметил желтого платья.

Она писала эту поэму в зеленом, чопорном Слепневе, и в душе ее при этом, похоже, звучали стихи Блока об Италии

(«с ней уходил я в море»). По ее признанию, поэма эта была для нее расставанием с детством и былой безмятежностью, с той озорной приморской Аннушкой, которая, по свидетельству друзей, прорывалась в ней из-под спуда и десять, и тридцать, и даже пятьдесят лет спустя.

Так вот, в летние месяцы — море, а в остальные девять — особый мир Царского Села, еще более царственно-церемонного, чем императорская столица Петербург. Ибо маленький поселок жил двором и им по большей части кормился, так что юная Ахматова всему что полагалось уметь — держаться с достоинством, быть неприступной, и даже складывать ручки, и кланяться, «учтиво и коротко ответить по-французски на вопрос старой дамы» — всему научилась, «что полагалось в то время благовоспитанной барышне». Французский она, по ее рассказам, выучила, «слушая, как учительница занималась со старшими детьми». Старшие — это ее сестра Инна (на три года ее старше) и брат Андрей (старше ее на шесть лет) — оба почти ею не упоминаются, оба умерли молодыми. Андрей покончил с собой. Был еще брат Виктор, убитый большевиками. Она, впрочем, редко упоминала о семье, и это, мне кажется, дурной знак. Нет, она «не ненавидела» брата, «не предала» сестры, но и спянной семьи, похоже, не было. «Изредка отец брал ее с собой в оперу...» При этом отца она не любила. А попробуйте отыщите у нее упоминание о смерти матери (в 1930). Ахматова писала в старости, что представление о счастливом и несчастливом детстве — «вздор»...

С детства любила стихи. А лет с одиннадцати уж и сама, как многие русские подростки, писала их погонными метрами. Она вспоминает, что отец прочел ее стихи, когда ей было одиннадцать, и отчего-то назвал ее «декадентской поэтессой». Он был, впрочем, лишь морской механик и не обязан был разбираться в литературных течениях лучше, чем кумир левой французской интеллигенции тов. Жданов, сказавший почти те же слова сорок лет спустя.

Спутником ее отроческих лет, опять же как у многих русских подростков, становится Пушкин. Пушкин ведь для пишущего или читающего русского — это не просто «солнце русской поэзии», он еще и критерий вкуса и

темперамента, он камертон, он исповедник, он вечный спутник на прогулках.

Смуглый отрок бродил по аллеям,  
У озерных грустил берегов,  
И столетие мы лелеем  
Еле слышный шелест шагов.

Это из ранних ее стихов — она рано научилась передавать эти шорохи, шелесты и плески Царскосельского парка, где в холодную воду глядятся беломраморные статуи, пророчащие и славу и смерть.

Однажды летом, когда они жили под Одессой, в Люстдорфе, мать, проездом, показала ей маленькую дачку, где Анна увидела свет, и она вдруг сказала: «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска». Вспоминая об этом полвека спустя, седая и грузная поэтесса, будто стесняясь собственных слов, объяснила: «Это была просто глупая шутка!» Возможно. Однако же не всякому подростку подобное могло прийти в голову, хотя кто ж из российских подростков не писал стихов.

В Царском Селе они жили на углу Широкой улицы и Безымянного переулка, подле железнодорожной станции, в таинственном доме, где по преданию, был когда-то заезжий двор или трактир. («Я обрывала в моей желтой комнате обои (слой за слоем), и самый последний был диковинный — ярко-красный. Вот эти обои были в том трактире сто лет назад, — думала я».)

Комнатка у нее была аскетическая, неуютная, «суровая» и вдобавок (как мы видели) с рваными обоями. Через полвека Ахматова все еще остро помнила запахи Павловского вокзала, запахи детства — «дым от допотопного паровозика... натертый паркет... земляника в вокзальном магазине... резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок...»

Училась она всегда без особого интереса — интересы уже были свои: необъяснимая магия стиха, рифмы, смутные, тревожащие образы и, конечно, эта на долгие годы неизбывная, и напряженная, как говорят, «сложная жизнь сердца».

Кроме великой тайны любви, были и другие тайны, к которым она приобщалась, — даром что ли будущий муж назвал ее в знаменитых своих стихах колдуньей. Она и сама не раз говорила, что она ясновидящая, читает мысли, видит чужие сны, «чувет воду», что она недаром родилась 23 июня, в древнюю Иванову ночь. Позднее, в стихах называла себя и русалкой, и китежанкой, и сомнамбулой. Царскосельская ее подруга Валерия Срезневская ( в ту далекую пору еще Валечка Тюльпанова) вспоминала, как однажды, в лунную ночь она увидела ее в белом платье на крыше зеленого углового дома («Какой ужас! Она лунатик!»). И увидела, как тонкая и гибкая, как ивовый прутик, с очень белой кожей, она в воде Царскосельской купальни казалась русалкой, случайно заплывшей в темные, неподвижные воды Царскосельских прудов. Она бродит по «пленительному городу загадок», где «зеленое, сырое великолепие парков», где маленькие пестрые лошадки, где старый вокзал и пышные похоронные процессии, в которых за гробом идут гвардейские офицеры, «всегда чем-то напоминающие брата Вронского, с пьяными открытыми лицами».

Даже петербуржцы отмечали особую стать обитателей Царского. К. И. Чуковский разглядел ее позднее в юной Ахматовой: «Порою, особенно в гостях, среди чужих, она держала себя с нарочитой чопорностью, как светская дама высокого тона, и тогда в ней чувствовался тот изысканный лоск, по которому мы, коренные петербургские жители, безошибочно узнавали людей, воспитанных Царским Селом...»

Стихи для нее становились всем. «Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, — вспоминает она, — я была поражена и читала ее, забыв все на свете». Кто ей показал корректуру, догадаться нетрудно. Скорее всего соученик по Царскосельской гимназии и сосед Николай Гумилев. Он учился у Анненского и тоже, с самых ранних лет, писал стихи. Иннокентий Анненский, замечательный поэт, по словам Гумилева, один «из последних царскосельских лебедей», этому странному гимназисту-переростку покровительствовал.

В 1903 году семья Гумилевых (обедневшая дворянская

семья, отец — отставной корабельный врач) после нескольких лет, проведенных в Тифлисе, вернулась в Царское Село, и семнадцатилетний Гумилев снова поступил в Царскосельскую гимназию, директором которой был Иннокентий Анненский. Тогда-то он впервые и увидел юную Ахматову. Он подкарауливал ее в переулках, терпеливо сносил все насмешки, когда она шла с подругой, нарочно с ней разговаривая на немецком, которого он не знал. Она была равнодушна к нему, а значит, он должен был преодолеть ее равнодушие и добиться своего. Не очень складно, но вполне убедительно излагает эту историю школьная подруга Анны. «Настойчивость Коли в стремлении завоевать близость Ани была, по-моему, одной из излюбленных мужских черт Гумилева».

С восьми лет Гумилев писал стихи и всегда считал это самым важным занятием в жизни. Еще за год до окончания гимназии он издал свой первый поэтический сборник — «Путь конквистадоров». Книга была замечена: вождь символистов Валерий Брюсов выразил надежду, что победы и завоевания «нового конквистадора» — впереди. Девятнадцатилетний конквистадор ринулся в бой — сделал предложение Анечке Горенко и получил первый отказ... Однако, он не теряет надежд. Пусть он нехорош собой, пусть не успевает по всем предметам сразу, пусть он не нравится ей... — он станет великим поэтом, он покорит мир (в те годы поэт был богом — рыжекудрый бог Бальмонт, боги Брюсов и Блок, даже Северянин и тот бог...). Он будет воином, путешественником, покорителем земель — он, этот шепелявый, бесцветный второгодник Коля Гумилев, всему миру докажет, что он не такой как все, что он из тех, о ком говорит Заратустра! Самое замечательное, что юный Гумилев всего и добился позднее, почти всего — стал поэтом, путешественником, стал певцом мужества, был на войне героем и женился все-таки на Аннушке Горенко. Он стал покорителем множества девичьих сердец и даже погиб геройски — от рук самых жестоких палачей 20-го века. Судьба словно бы отступила перед его волей. И все же произошло это не так, как ожидалось — и стихи оказались не совсем те, и любовь, и женитьба. Его поражения начались с Ахматовой, а может,

и кончились тоже ею, ее холодностью, ее безразличием. Впрочем, все это случилось потом, а пока, напомним, что на дворе стоял тревожный 1905 год...

И был он таким не только для смятенной России, но и для странной, безалаберной семьи Горенко. Сначала Андрей Горенко потерял работу у князя, потом ушел из семьи. Мать с детьми уехала в Крым, в Евпаторию, где Анна дома проходила гимназический курс, грезила о любви, «тосковала по Царскому и писала великое множество беспомощных стихов». Именно тогда она вдруг решила, что не будет раздумывать, а просто выйдет замуж, как все, за хорошего человека (вон и Гумилев сватается) и «будет век ему верна». Ведь жизнь-то проходит — вот уже шестнадцать, семнадцать... Тогда она вероятно, отправила и Гумилеву (а не только другу С. фон Штейну) это многообещающее послание:

Я умею любить,  
Умею покорной и нежною быть.

Она была искренней. Только что она знала о себе в те годы? Переписка с Гумилевым возобновилась.

Остались воспоминания киевской приятельницы В.А. Беер о том, как она случайно увидела Ахматову весной 1907 года в храме Святой Софии:

«Налево, в темном приделе, вырисовывается знакомый своеобразный профиль. Это Аня Горенко. Она стоит неподвижно, тонкая, стройная, напряженная. Взгляд сосредоточенно устремлен вперед. Она ничего не видит, не слышит. Кажется, что она и не дышит... Я выхожу из церкви. Горенко остается и сливается со старинным храмом... Мне казалось, что я невольно подсмотрела чужую тайну, о которой говорить не стоит».

О чем «говорить не стоит»? О чем молилась и просила Господа юная поэтесса? Известно, впрочем, что она была в ту пору тайно влюблена в одного человека (в письмах она называет его то В., то В. Г. Кутузов), а он то ли уже был женат, то ли как раз намеревался жениться. На всем протяжении несчастной своей любви она переписывалась с мужем сестры С.В. Штейном, который часто виделся с

«тем человеком»: таким образом ей удавалось хоть что-то узнать о Нем. Но в феврале 1907 года Анна написала С. Штейну: «Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба — быть его женой. Люблю ли я его, я не знаю, но кажется мне, что люблю». И дальше чужие (похоже, что брюсовские), безжалостные и, увы, пророческие стихи:

«... всем судило Неизбежное,  
Как высший долг — быть палачом».

Бедный Гумилев! Еще неизвестно, любим ли он, но в жертвы он уже намечен. И похоже, самое важное в предстоящем замужестве — что скажет «тот человек», когда узнает. Вот еще отрывок из ее тогдашнего письма к С. Штейну: «Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Могли ли я снова начать жить? Конечно, нет! Но Гумилев моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной».

Гумилев приезжает в 1908, сватается к ней и снова получает отказ. Он на распутье. Гимназию он с грехом пополам окончил, но чем заняться дальше? В конце концов он решает уехать за границу, в Париж (существовал в ту пору такой выход из всех ситуаций) — слушать лекции в Сорбонне. Часто ли он бывал на лекциях в Сорбонне, неизвестно (Г. Струве и С. Маковский отмечают, что французский он так толком и не выучил, по-русски писал с ошибками, прочих же языков не знал вовсе), но в Париже и помимо Сорбонны было куда пойти. Русская речь звучала в самых модных кафе, русские художники уже наводняли «Ротонду». Были здесь Бальмонт и Волошин, звучала русская речь в салоне Крутиковой, а Гумилев вдруг начинает издавать в Париже на свои деньги журнал «Сириус», в котором под разнообразными псевдонимами печатает собственные стихи и даже стихи Анны Горенко. Узнав об этом, она пишет С. Штейну: «Зачем Гумилев взялся за «Сириус»? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастлив наш Микола перенес и все понапрасну!»

А отверженный конквистадор тем временем отложив часть денег из того, что ему высылал отец, тайно отправляется в первое свое африканское путешествие. Это пока известно не всем, но он-то про себя знает, что он путешественник, он покоритель Леванта, воин, бесстрашный романтик, ницшеанец, искатель разнообразных приключений, в том числе, и любовных. Пока это маска, и, вероятно, за всем этим (пусть даже и не осознанно) стоит главная любовная неудача его жизни, но маска все прочней прирастает к лицу.

В 1908 году, еще находясь в Париже, он печатает свою вторую книгу стихов — «Романтические цветы». В этой книге (как и первая, очень подражательной) наряду с конквистадорами, рыцарями и Люциферами, были уже настоящие африканские львы и даже был по-брюсовски изысканный жираф, принесший ему известность.

В России Гумилев снова общается с Анненским, знакомится с редактором «Аполлона» Маковским и вскоре становится, по выражению Г. Струве, «присяжным критиком» этого престижного журнала. (Вячеслав Иванов, по словам Маковского, упрекал его за то, что тот доверил молодому Гумилеву критический отдел журнала. «Ведь он глуп, да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, плохо начитан...» — так, если верить Маковскому, говорил В. Иванов.)

Но теперь он известный столичный поэт, критик модного журнала, для Анны не только предмет насмешек. Ее «серый лебеденок» становится «лебедем надменным», который, кажется, внушает ей больший интерес, чем раньше.

Весной 1910 года умирает отец Гумилева. Может, это и подтолкнуло «вечного мальчика» искать спасенья от горя и одиночества у главной своей любви. Легко понять, что он обратился за утешеньем не по адресу, но он был молод, он был влюблен, да и все ли из нас, читатель, могут сказать, что сделали в жизни самый мудрый выбор? Просто одним это сошло с рук, другим пришлось расплачиваться за свои ошибки...

Итак, он снова просит у Анны руки и на сей раз получает согласие. Отношения их никогда не были простыми. Есть

мемуаристы (вроде С. Маковского), которые ничтоже сумнящиеся пишут о ее влюбленности в него, а также о его небрежности и непостоянстве, ставших причиной семейной драмы. Думается, Маковский не слишком глубоко вникал в интимную подоплеку драмы. У всех, кто не только виделся, но и дружил с Ахматовой тех дней, создалось совсем иное впечатление. Вот снова отрывок из воспоминаний подруги ее детства В. Срезневской.

«Я помню, раз мы шли по набережной Невы с Колей и мирно беседовали о чувствах женщин и мужчин, и он сказал: «Я знаю только одно, что настоящий мужчина — полигамист, а настоящая женщина моногамична». «А вы такую женщину знаете?» — спросила я. «Пожалуй, нет. Но думаю, что она есть», — смеясь ответил он. Я вспомнила Ахматову, но, зная, что ему будет это больно, промолчала.

У Ахматовой большая и сложная жизнь сердца, — я-то это знаю, как, вероятно, никто. Но Николай Степанович, отец ее единственного ребенка, занимает в жизни ее сердца скромное место...»

Как видите, свидетельство это мало похоже на самоуверенные выводы Маковского.

25 апреля 1910 года в Киеве состоялась свадьба. На венчание в церковь Никольской слободки, что над Днепром, никто из членов ее семьи не пришел — Горенки считали ее замужество ошибкой. Можно догадаться, что уже и медовый месяц должен был принести ей шок разочарования, а ему — первую настоящую боль. Сошлюсь на свидетельство той же Срезневской. «Конечно, они оба были слишком свободными и большими людьми для пары воркующих «сизых голубков»... Их отношения были скорее тайным единоборством — с ее стороны для самоутверждения как свободной женщины, с его стороны — с желанием не поддаться никаким колдовским чарам и остаться самим собой, независимым и властным... увы, без власти над этой вечно ускользающей от него, многообразной и не подчиняющейся никому женщиной».

Впрочем, мы с вами у начала их брака, и оба еще надеются, что «образуется». А пока — свадебное путешествие и долгожданный (ему-то уже знакомый) Париж. А в

Париже Аню Горенко (впрочем, она теперь горделиво подписывает письма «Анна Гумилева») ждет первая встреча с Амедео. Она Его не знает, но ведь и мы с вами Его еще не встречали. И так...

### Амедео до встречи с Анной

Он тоже родился на берегу моря. Только не Черного, а Средиземного — в Тоскане, в городе Ливорно, 12 июля 1884 года. Жизнь его окутана самыми невероятными легендами, и сам он, мифотворец и выдумщик, легенды эти не рассеивал, а скорее, напротив, — расцветчивал, распространял. Ходили слухи, что этот нищий творец с Монпарнаса был сыном банкира, что он потомок Спинозы (этот слух ему, поклоннику философии, особенно нравился). На деле все было иначе, хотя по-своему может быть тоже экзотично.

Отце его, Фламинио Модильяни, торговал лесом и углем и вел какие-то непонятные дела в Сардинии, где и пропал большую часть года. Проторговавшись, он открыл посредническую контору, но и тут не преуспел. Бытовала, впрочем в семье легенда и о настоящем «папском банкире» — Эммануэле Модильяни. На самом деле, прославленный этот Эммануэле просто получил однажды (в середине прошлого века) заказ на поставку меди для монетного двора Ватикана. Заработав на этом кое-что, возомнил о себе и купил виноградник, но вынужден был продать его через двадцать четыре часа. Как выяснилось, сделка с Ватиканом еще не давала ему, еврею, права владеть, в нарушение папских указов, землю.

Ко времени рождения нашего героя, четвертого ребенка в семье Эжени и Фламинио Модильяни, родители его успели сильно обеднеть. Что же до Спинозы, то материнская семья (семья Гарсэн из Марселя) действительно состояла в родстве со Спинозами, хотя последний, как известно, потомства не имел. Однако претензии на это родство существенны для нашей истории: и Спинозу, и Уриэля Акосту, и Вольтера, и прочих многих других вольнодумцев почитали в марсельской семье матери нашего героя Эжени Гарсэн, которую семнад-

цати лет отроду угодило выйти замуж за Фламинио Модильяни — следствием этого и было упомянутое выше рождение Амедео Модильяни (по-семейному Дедо).

Можно отметить, что в семье у марсельских Гарсэнов атмосфера была куда более изысканной, чем в семье грубых Модильяни. Известно даже, что тетушка Лора Гарсэн имела обыкновение читать своим племянникам вслух воспоминания Петра Кропоткина<sup>1</sup>. Марсельские Гарсэны, как и тосканские Модильяни, были евреи, точнее, сефарды, выходцы из Испании, рассеявшиеся по всему Средиземноморью и несшие с собою свою иудео-испанскую культуру, свой язык ладино и свой страх перед новым изгнанием. Это последнее было, возможно, единственным, что оставалось в не слишком верующих семьях Гарсэнов и Модильяни от еврейства, но в Италии евреев не загоняли в те времена ни в гетто, ни в черту оседлости, да и антисемитизма, подобного тому что отличал в конце прошлого века Францию, в Италии не было.

Амедео рос болезненным мальчиком, кое-как дотянул до окончания лица в Ливорно, после чего мать отдала его учиться живописи к художнику Микели. В семнадцать Дедо заболел туберкулезом, лечился, совершил поездку по Италии, побывал в Риме, в Неаполе, на Капри. Во Флоренции он днями пропадал в музеях, поступил там же в Школу изящных искусств, писал стихи и был близок к группе молодых итальянских писателей, которых называли позже «потерянным поколением».

Амедео знал наизусть сотни строк Данте и Леопарди, а одним из кумиров его был Габриэле д'Аннунцио, чей гимн сверхчеловеку, навеянный Ницше, Эмерсоном, Уитменом, Ибсеном, пришелся по душе юному Дедо. Как говорил д'Аннунцио, «дионисическая чувствительность художника, его нервность и его многосторонность — его увлечения и быстрые разочарования — неуемные аппетиты, возбуждение и смерть, его театральность и его тщеславие — все это скорее следы сильной женственности, чем декадентства».

<sup>1</sup> К счастью на юного Дедо это чтение произвело меньшее впечатление, чем на его брата Эммануэле, который стал известным социалистическим лидером.

После Флоренции Дедо еще несколько лет учился в венецианской академии изящных искусств, занимался и живописью и скульптурой, тогда же пристрастился и к вину, и к гашишу. Он все чаще подумывал о том, что пора уезжать в Париж.

Художникам начала века все, кроме Парижа, казалось провинцией. В 1900 году осуществил свою мечту о Париже девятнадцатилетний Пикассо, в 1904 — Бранкузи, в 1905 — Паскин, в 1906 — Кандинский. Тогда же появился на Монмартре и молодой Модильяни. Ему было 22 года.

Странно, что так много рассказов осталось о нем, ставшем позднее символом пропащей монпарнасской богемы, так много легенд, баек, анекдотов и так мало оставили нам его описаний, даже те, кто часами сидели напротив него, позируя для знаменитых модильяниевских портретов. Чаще других описывали его русские друзья из общаги «Улей». Этих выходцев из белорусских и украинских местечек, из глухих углов тогдашней Австро-Венгрии, Вильны, Витебска и Варшавы молодой тосканец с томиками Данте или Бодлера, неизменно оттопыривавшими карман, поражал, пугал и завораживал дорогим красным шарфом на шее, бархатными куртками, неизменной, безудержной щедростью и приступами внезапной ярости. Нет, не гением художника он их всех изумлял — в той среде все были гении, пусть пока и не признанные, но спешившие получить это признание при жизни. Поражал блеском эрудиции, широтой натуры, размахом, а также неудержимым самоистреблением, обреченностью, словно он был отмечен печатью рока.

Вот один из немногих его словесных портретов (принадлежащий перу скульптора Осипа Цадкина): «Его черные волосы цвета воронова крыла окружали его сильный лоб: подбородок у него был гладко выбрит, синие тени лежали на алебастрово-белом лице». Другие вспоминают его золотистые глаза, его неотразимость, шарм, его вечное желание соблазнять, утверждая себя. Третьи — его любовь к философии. Все вспоминают его страсть к поэзии: он мог часами, жестикулируя и утрируя свой итальянский акцент, читать наизусть Данте, грустного Леопарди, д'Аннунцио, Рембо, Верлена, Бодлера. Вспоминают, что из живописцев он

любил Сезанна и Паоло Учелло, знал не только Тинторетто, Джорджоне, Тициана, Иорданса, Рубенса, но и Николо дель Аббате, и Приматриче, и Энгра. Иным он запомнился совсем молоденьким, на Монмартре, не пропускавшим ни одной смазливой девчонки. Пишут, что у него было, наверное, богатырское здоровье, если он мог при залеченной чахотке так долго вести этот божественный образ жизни. Натякаясь поздней на подобные фразы мемуаристов, дочь его Жанна напоминала, что в Париж он приехал все же не наивным и здоровым юношей-провинциалом, что он прошел еще в Италии искус учебы, что здоровье его было подорвано туберкулезом, да и нервы у него были не слишком крепкие (многие вспоминают о его «неожиданных переходах от застенчивой сдержанности к припадкам безудержной ярости»). Зато решимость его во что бы то ни стало сказать свое слово в искусстве была непоколебимой. При этом молодой тосканец обожал старых, особенно архаичных мастеров. В предрассветных парижских сумерках очередная его поклонница, влюбленная манекенщица (или просто вчерашняя собутыльница) могла разглядеть на стене над его кроватью репродукцию с картины Энгра или с фрески Микельанджело. Он был странный новатор-консерватор, новатор «ретро». Конечно, в Париже у него появлялись время от времени новые, модные увлечения — и кубизм, которому он отдал недолгую дань, и так называемое «примитивное искусство» — скульптура Африки, негритянское искусство, и скульптура Океании, и искусство Египта, и Индии. Весь Монпарнас болен был тогда «примитивами», а моду ведь начинал задавать именно Монпарнас: монмартрский холм «пустел», художники один за другим перебирались на левый берег — на рю Премьер Кампань, в квартал Вожирар. Перебрался туда и Модильяни. Его сосед по новой студии вспоминает о Модильяни, что «его преклонение перед черной расой продолжало расти, он раздобыл адреса каких-то отставных африканских царей и писал им письма, исполненные восхищения гением черной расы... Он расстроен был тем, что он ни разу не получил от них ответа...»

Существует немало рассказов о том, как он, на глазах у посетителей «Ротонды», рвал листы с прелестными портре-

тами, ибо видел (он один видел), что это опять не то, чего он добивается. Портреты... Портреты... Портреты... На портретах его не было ничего, кроме человека, оставшегося один на один с художником. Ни интерьеров, ни аксессуаров. Его интересовала душа в оболочке тела. По воспоминаниям Л. Сюрважа он не раз говорил: «Меня интересует человеческое существо. Лицо есть высочайшее создание природы. Я обращаюсь к нему неустанно...»

После трех-четырёх лет на Монмартре Модильяни перебирается на левый берег Сены, поближе к «Ротонде», к новым друзьям. На скудное воспомоществование, выкраиваемое матерью из семейного бюджета и пускаемое по ветру бесшабашным Дедо, снять жильё и студию в Париже было не так легко. Оттого ему теперь часто приходится (скорей всего по причине неуплаты долга домохозяину) переходить с места на место. Дочь его и единственная его мемуаристка насчитала полдюжины адресов, по которым он жил в эти годы. Среди этих адресов и знаменитый домковчег художников «Бато-Лавуар» на склоне Монмартра, и «Улей» на юго-западной окраине Парижа. Уже упомянутая нами марсельская тетушка Лора Гарсэн, разыскавшая однажды племянника по одному из новых его адресов, вспоминала: «Жильё у него было ужасное — на первом этаже в одной из дюжины клетушек, окружавших так называемый Улей».

«Так называемый Улей» заслуживает того, чтоб о нем рассказать подробнее. В конце века, если верить мемуарным легендам, разбогатевший за счет престижных заказных работ скульптор Альфред Буше прогуливался однажды с приятелем на юго-западной и еще не обжитой окраине французской столицы и, увидев одинокий кабачок, ощутил непреодолимую жажду. Он вышел из коляски на пустынную улицу, которая называлась отчего-то Данцигской, но вела в никуда. На улице, изрытой канавами и заросшей бурьяном, паслись коровы и козы.

— Ого, настоящая деревня здесь у вас, — сказал скульптор, устраиваясь за стойкой. — И земля у вас тут, небось, недорогая...

— Земля... — усмехнулся хозяин кабака. — Кому она

нужна? Отдаю свою по 20 сантимов за квадратный метр, только берите!

Тороватый скульптор вытащил бумажник, и сделка состоялась. Что ему делать с этой землей, Буше пока не решил. Еще лет через пять он увидел, как после закрытия парижской Всемирной выставки 1900 года начали ломать все эти элегантные павильоны, и душа его взбунтовалась. Буше попросил своего энергичного племянника купить для него по дешевке забавную ротонду винного павильона, железные ворота Женского павильона и еще и еще. Все это племянник перевез на пустырь близ Данцигской, и в голове у скульптора окончательно оформилась филантропическая идея: он разделит винную ротонду на маленькие студии, окружит ее бараками с множеством крошечных жилых комнат и будет их сдавать за ничтожную символическую плату собратьям-скульпторам, художникам, артистам, которые со всего света устремились в новую художественную Мекку — Париж и маются в нем без пристанища. Так в 1902 году родился «Улей», вписавший удивительную страницу в историю так называемой Парижской школы живописи, да и в историю искусства вообще. Как сказал позднее один из тогдашних обитателей «Улья» Марк Шагал, здесь или помирали с голоду или становились знаменитыми. Среди тех, кто остались в памяти, — и сам Шагал, и Леже, и Модильяни, и Сутин, и Кремень, и Липшиц, и Кикоин, и Орлова, и Архипенко, и Альтман, и Цадкин, и Кислинг, и ставший впоследствии знаменитым актером Алэн Кюни.

В узких комнатках, получивших прозвище «гробы», не было электричества, а зачастую и никакого отопления, водились крысы, клопы и блохи. Зато Буше не приставал к своим постояльцам со счетами за квартиру, а добросердечная консьержка мадам Сегондэ подкармливала тех, кто казался уж совсем оголодавшим. В клетушках «Улья» жили надеждой, жили иступленным поиском, и часто среди бела дня, а то и посреди ночи, вдруг распахивалась дверь крошечной мастерской и раздавался отчаянный крик «ковбоя» Грановского: «Я гений...» Ночью с бойни доносились крики животных, долетал запах крови. По вечерам брэнчала гитара, звучали испанские или русские песни, а по воспоминаниям

Фернана Леже, у поселившихся русских анархистов даже ночью можно было раздобыть стакан водки. Отзвуки этого ночного перезвона стаканов найдешь и в стихах Блэза Сандра об «Улье»:

Безумные творенья  
 Рисунки, эскизы,  
 Картины...  
 Пустые бутылки...  
 ... Казаки Христа и разложенный солнечный свет  
 ... Бутылки  
 Зина  
 (О ней мы уже говорили)  
 Шагал  
 Шагал

Читатель отметил, конечно, явный российский привкус этих французских воспоминаний об «Улье». О, это была удивительная история: наряду с французами, итальянцами, венграми, в «Улье» в большом числе селились русские, среди которых львиную долю составляли евреи с российских окраин, из польских и белорусских местечек, где не только что традиций живописи не было, но и картин-то никто сроду не видел.

У «тосканского принца» Модильяни среди русских появилось много друзей, чьи имена то и дело мелькают в его биографии: один, как сообщают, познакомил его с Беатрис, другой представил ему будущего друга и благодетеля Зборовского, третий познакомил его с будущей женой Жанной.

Всем казалось странным, что интеллеktуал и элeгантный красавец Модильяни ближе всех сошелся в «Улье» с косноязычным, малограмотным, одетым всегда в одну и ту же грязную робу Хаимом Сутиным. Одиннадцатый сын в семье нищего портного из польско-белорусско-еврейского местечка Смиловичи, Сутин и по-русски-то заговорил лишь тринадцати лет отроду. Полагают, что рафинированного Модильяни влекло к неумытому, губастому, краснолицему «калмыку» (так называет его в своих мемуарах вряд ли видевший настоящих калмыков Жак Шапиро) ощущение

сутинской природной талантливости, сутинские отчаянные поиски художественной правды и собственного пути. Сутин, как и Модильяни, неистово бился головой о «предел мира завершеного», достучался, как и Модильяни, до успеха, но, увы, как и Модильяни, — без особой радости и незадолго до смерти. Слава, это «не греющее солнце мертвых», чаще всего приходит слишком поздно. Судя по обрывкам воспоминаний (часто по русским свидетельствам, недоступным французам), могло их сблизать и то, что полуграмотный Сутин обожал стихи, чаще всего ему даже малопонятные (ибо стихов на хорошо знакомом ему идише он не знал). Выпив, он начинал декламировать нежно любимого им Пушкина, расцвечивая его строки всеми красотоми местечкового (польско-белорусско-еврейского) акцента. Воспоминание скульптора Жака Липшица, тоже некогда жившего в одном из «гробов» Улья, неожиданно высвечивает для нас уголок тогдашней жизни и портрет «тосканского принца» Модильяни.

«Однажды далеко за полночь, часа в три, наверно, нас разбудил вдруг неистовый стук в дверь. Я открыл. Модильяни, пьяный, стоял на пороге. С трудом ворочая языком, он кое-как объяснил мне, что видел у меня на книжной полке стихи Вийона и что он хотел бы их позаимствовать. Я зажег керосиновую лампу и стал искать этот томик, надеясь утихомирить его и снова уснуть. Как бы не так. Надежда моя была напрасной: он уселся в кресло и стал читать вслух своим громким и звучным голосом».

Что читал в эту ночь «тосканский Христос» (как звали его манекенщицы в «Ротонде»? Скорей всего свою любимую жалобу Иова... Конечно, он предпочел бы прочесть ее замарашке Хаиму, который так благоговейно слушает стихи. Но Хаим уже, наверно, вырубился (ведь пили-то вместе). Кроме того, у Сутина не было не только Вийона на книжной полке, у него и клетушки собственной не было. Неизвестно даже, у кого он нынче пристроился дрыхнуть. Скорей всего, у земляка Пинхуса Кременя, вместе с которым приехал сюда из Вильны. Кременя послали родители, и нищему Сутину никогда бы сюда не добраться, если бы не подвернулся меценат-благодетель.

Французы и все прочие нерусские обитатели «Улья» не уставали удивляться этой сказочной породе — русско-еврейским меценатам. Вот и этот, адвокат, давший деньги Шагалу (Винавер), услышав рассказ про странного грязнулю Сутина, решил, что еще сотня в месяц его не разорит, а Господу добрые дела угодны. Впрочем, он ведь, скорей всего, и не верил в Господа, знаменитый Винавер, и приход всеобщего Добра надеялся ускорить насильем. Однако, в отличие от какого-нибудь Ульянова-Ленина, Добро и Доброту считал близкими понятиями, а вовсе не антиподами. И вот теперь он искал тут «настоящую» живопись, и этот странный клошар и искатель Сутин в этом странном Париже на скотобойно-космополитической окраине близ Версальских Ворот разбедил ему душу.

Позже, разбогатевший и по-прежнему несчастный Сутин жаловался, что это Модии научил его пить вино. Может, так оно и было. Ну а кто научил Модии? Он-то отчего пил, этот искушенный, высокообразованный тосканский сефард? Прежде, чем сделать попытку найти ответ на этот всегда непростой вопрос, я хотел попросить у терпеливого читателя трехминутной передышки для того, чтобы совершить небольшую экскурсию в нашу половину века, в мою жизнь, казалось бы, никак не связанную с тогдашним «Ульем» и его обитателями.

Впервые в дом скульптора Жака Липшица, старого приятеля Модильяни, я попал лет пятнадцать тому назад, сразу по приезде в Париж. Я пришел в гости к Андрею Шимкевичу, симпатичному пасынку Липшица, жившему здесь в обществе собаки Мотьки и множества кошек. Женой Липшица и была мать моего приятеля Андрея, русская поэтесса-эмигрантка. А отец Андрея, русский революционер, тоже эмигрант, был выходцем из знаменитой петербургской семьи Шимкевичей.

В Париже молодая поэтесса, будущая Андрюшина мать, вышла замуж за Андрюшиного отца, а позднее, расставшись с ним, за скульптора Жака Липшица (ударение, пожалуйста, ставьте на последнем слоге — так тут положено), а когда вдруг грянула у них на родине революция, отец Андрея ринулся назад в Россию — служить револю-

ции. Заметался и пасынок Липшица, пятнадцатилетний Андрюша. Отец его там, в загадочной России, где совершались большие дела, стал красным командиром, а может, даже красным командармом, жил в знаменитом «Доме на набережной», где все были такие же, как он. Полный надежд юный Шимкевич уехал к отцу, который, понятно, с утра до вечера горел на работе. Андрей оказался, как и многие его тогдашние сверстники, на улице, ночевал в теплых асфальтовых котлах, осваивал беспризорицкие быт и нравы той пропащей Москвы. А потом — тюрьма, первый срок, первый побег, еще срок, еще тюрьма, еще срок (отца в промежутке между Андрюшиными тюрьмами, как можно догадаться, уже расстреляли), а у юноши были все лагеря да лагеря, бескрайний Архипелаг Гулаг, целых 28 лет лагерей! Возможно, оттого и выжил он, что рано получил лагерную закалку. Когда его выпустили, мать еще была жива — все силы положила она на то, чтоб вытащить во Францию сына, закоренелого русского лагерника. Ну а когда мы встретились с Андреем в пропащем кошками доме Липшица, на краю Булонского Леса, не было уже в живых ни Жака Липшица (он умер незадолго до того на Капри), ни Андрюшиной матери, которую мог бы я расспросить о Модильяни... Зато можно было спросить у Андрея, не встречал ли он где-нибудь на пересылке Льва Николаевича Гумилева, сына Анны Андреевны Ахматовой и Николая Степановича Гумилева, а может, также второго мужа Анны Андреевны или ее третьего мужа, или друга ее Мандельштама. После первой же рюмки Андрей отвечал, что да, конечно, встречал, и того встречал, и этого, и другого, и третьего, потому что не мог же он за 28 лет не встретить всех и каждого, это была его страна, единственная страна, которую он знал хорошо, — Россия Гулага.

Позже он пересказывал мне кое-какие материнские воспоминания. Говорил, что ночные вторжения Модильяни и чтение стихов не раз происходили у них в квартире на рю Монпарнас, где обитало много художников. Являясь туда, Модильяни обычно свистел во дворе, и мать спускалась, чтобы открыть дверь. Было это в конце войны. Вот

тогда Липшиц, желая помочь Модю, и заказал ему портрет — свой и жены, вместе. Модильяни сказал, что возьмет по десять франков в час и чтоб была непременно бутылка вина. Но писал он быстро, кончил за два сеанса, и Липшиц, видя, как мало он заработал, предложил ему поработать еще. Модильяни отказался «портить портрет». Он никогда не дописывал, а писал сразу. Историю эту я знал по мемуарам Липшица, но мне нравилось выслушивать ее в Андрюшином исполнении — всегда вспоминалось, какое прекрасное лицо у его матушки на этом портрете Модильяни.

Для двадцатипятилетнего Амедео год перед встречей с молодой русской поэтессой (1909—1910) был годом особенно напряженного труда. То ли влияние африканского его увлечения, то ли знакомство с соседом по Сите Фальгьер, румыном Бранкузи укрепило в нем желание продолжать занятия скульптурой. Не только Бранкузи поддерживал Модю в этом намерении, но и русские друзья-скульпторы — Осип Цадкин, Оскар Мещанинов, Жак Липшиц, Надельман. Конечно, скульптура его тоже должна стать открытием, на меньшее он не был согласен. Творенья его не будут глиняными моделями, отдаваемыми на доделку подмастерьям (как у какого-нибудь Родена или старика Буше), — он сам будет, как каторжный, бить по камню. Перед ним маячили африканские и тихоокеанские примитивы, шедевры европейской ранней готики, загадочные лики древнего Египта. Для всего этого требовались материалы, деньги. Есть легенда, что ему приходилось в то время красть камни со стройки. Притом разоряло еще и неизбежное кафе «Ротонда» — этот приют художников, маршанов-торговцев, натурщиц, литераторов, монпарнасской богемы. Разоряли губительные вино и гашиш. Вино становилось частью его жизни.

Летом 1909 года друзья уговорили его, вконец отошавшего, поехать домой отдохнуть. Увидев своего нищего и изможденного Дедо на пристани в Ливорно, мать всплеснула руками и, пряча слезы, принялась за хлопоты, чтобы его откормить и хоть как-то приодеть.

О, с ним было нелегко, с нынешним Дедо, вернувшимся

в отчий дом из дебрей «Улья» и Монпарнаса. Ножницами он сам кое-как подкоротил рукава у нового заказанного ею костюма, оторвал подкладку у купленной ею шикарной шляпы. И все же он был дома и мать была счастлива. Она написала о своей радости невестке Вере, жене социалиста Эммануэле. Вера приехала тоже, и Дедо написал ее портрет. Он встретил в Ливорно двадцатидвухлетнюю Биче, вместе с которой когда-то учился в школе, и немедленно сел за ее портрет. У нее была такая длинная, такая прекрасная шея, у этой юной Биче. Мать была счастлива. Как знать — может, он женится, останется дома. Приехала тетушка Лора Гарсэн, и они с Дедо засели писать статьи об искусстве. Потом Дедо пропал в ателье удруга, потом пытался достать камень для скульптуры, потом писал какого-то нищего, а потом... Потом вдруг снова уехал в этот свой неотвязный Париж.

Доктор Поль Александр нашел в почтовом ящике записку Модю. «Дорогой П., я уже неделю в Париже. Зашел к тебе на Малаховское, но напрасно. Очень хочу тебя видеть. Привет. Модильяни». Модю не терпелось показать своему почитателю и меценату (очень еще небогатому, впрочем, меценату) новое полотно — «Нищий из Ливорно». В Салоне Независимых в тот год он выставил шесть картин и этюдов (в том числе три, написанных в Ливорно). Восторженный его поклонник, доктор Александр считал, что своим этюдом «Виолончелист» Модю «превзошел Сезанна».

Даже такой дотошный его биограф, как Жанна Модильяни, не смогла установить с точностью, когда и в какой из своих многочисленных обителей он жил в эти годы, — когда в «Улье», когда на Монпарнасе (дом 39), когда на бульваре Распай 216, когда на улице Сэн-Готар, когда в проезде Элизэ де Бозар, когда в монастыре Птиц, когда в знаменитом Бато-Лавуар, когда на улице Дуэ... Похоже, что к 1911 он водворился уже в мастерской в Ситэ Фальгьер... Но зима 1909—1910 уже была нелегкой.

А весной 1910 в Париж приехала Анна Горенко. Точнее, приехали молодожены, муж и жена Гумилевы.

## Первая встреча

Итак, поздней весной в самом начале июня супругов Гумилевых можно было увидеть на парижской улице.

Она очень высокая, с царственной походкой и неповторимым, не русским профилем (профиль ее ни с чьим не спутаешь, и на этом отчасти основаны нынешние сенсационные открытия). Так как повесть наша документальная, представлю слово тем, кто ее видел в те годы. Н.Г. Чулкова как раз и встречала Анну на парижской улице, так что ее свидетельство для нас очень существенно.

«Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее. Мужчины, как это принято в Париже, вслух выражали свое восхищение, женщины с завистью обмеривали ее глазами. Она была высокая, стройная и гибкая... На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером — это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж — поэт Н.С. Гумилев».

А вот как влюбленный в нее литературовед и писатель Николай Недоброво писал о ней (27 апреля 1914 года) своему другу-художнику Борису Анрепу. «Просту красивой ее назвать нельзя, но внешность ее настолько интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок, и гейнсборовский портрет маслом, и икону темперой, а пуще всего поместить в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии».

Припомним еще раз, что она была ясновидящая, русалка, ворожея, ведунья, колдунья (или считала себя таковой, что почти то же самое), что она была «настоящий поэт» (или уже считала себя таковым), что она была загадочная «русская аристократка» из загадочной страны России. Загадками этими заинтриговали Францию Тургенев, Толстой и Достоевский, над Монпарнасом уже витал тогда романтический образ «монпарнасской мадонны» Марии Башкирцевой, и, может, поэтому новые русские эгерии одерживали почти без труда свои блистательные победы на Монпарнасе (Гала, Эльза, Майя, Лидия, Дина). О них нынче много написано, но не об Анне Ахматовой.

А что же спутник ее тогдашний Николай Гумилев? Так мало говорят нам все его бледные фотографии и дагерротипы начала века, что предпочтем снова предоставить слово его современникам. Вот как описывает тогдашнего Гумилева Сергей Маковский. «Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке, с очень высоким, темно-синим воротником (тогдашняя мода) и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось, бесформенно мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки я заметил не сразу). Портит его и недостаток речи. Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, как-то особенно заметно шепелявил...» Женщины, впрочем, к внешности Гумилева куда более снисходительны. По описанию жены его брата, он был «высокий, худощавый, очень приветливый, с крупными чертами лица, с большими светло-синими, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми, гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, с необыкновенно тонкими, красивыми белыми руками. Походка у него была мягкая, и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно». Оригинальность и подчеркнутую элегантность его костюма отмечали все — его лимонные носки при лимонной же феске и русской рубахе на даче (по описанию дачной соседки госпожи Неведомской), и оленью доху с белым рисунком по подолу, ушастую оленью шапку и пестрый африканский портфель зимой в Петербурге (по описанию ученицы его на ниве поэзии Ирины Одоевцой).

Таков портрет молодого супруга Анны. В нем уже угадывается манерность, непрестанная «игра в роли», ставшая второй натурой. Роли, маски, литературные его герои срастались с этим странным юношей, и в упорстве своем он переделывал самую свою природу. Он был хилым и не слишком героическим персонажем от рождения, но он срастался мало-помалу с персонажами своей «конкистадорской» поэзии и становился бесстрашным, рвался в бой, проявил героизм на войне и обрел славленную, мученическую смерть под пулями большевистских убийц.

Можно представить, что тотчас после приезда молодежны отправились на прогулку по улицам, площадям и скверам Парижа — Латинский квартал, Большие Бульвары, Опера, Марэ, остров Ситэ, Пасси, Шанзэлизэ, Монпарнас, Трокадеро и, показав Анне красоты прославленного города, Гумилев, конечно уж, повел ее на Монпарнас — в знаменитую «Ротонду», что и ныне красуется вывеской, былой славой и немислимой дороговизной на углу бульвара Распай, улицы Вавэн и бульвара Монпарнас (памятный для русских на протяжении чуть ли не трех десятилетий угол). Думаю, что именно тут в «Ротонде» и увидели впервые друг друга Ахматова и Модильяни<sup>1</sup>.

Ко времени приезда нашей героини в Париж окончательно сложилась репутация Большого Монпарнаса, а крошечный бар «Ротонда» обзавелся красивым залом<sup>2</sup>. Впрочем, очень скоро и в этом зале стало тесно, шумно и накурено, как в каком-нибудь английском пабе. Были тут заезжие новички-иностранцы, но по большей части все же свои, завсегдатаи — художники, скульпторы, поклонники искусства, они же зачастую и торговцы — маршаны, поэты, актеры и актрисы, будущие знаменитости («будущих» вообще было много), журналисты, манекенщицы и прочий богемный люд, «монпарно». Попадались также и разных национальностей политики, тоже пока мало известные — скажем, бывал Лев Троцкий со своим мексиканским другом, кубистом Диегой Риверой, которому суждено было стать у себя в Мексике большой знаменитостью. Интересно, что чувствовал поэт Гумилев, сталкиваясь у стойки с одним из будущих своих палачей — Троцким? Да и сам-то Троцкий мог ли разглядеть очертания будущей российской своей карьеры и страшного своего конца?

Никто ничего не предчувствовал. На дворе стояла еще только весна 1910 года, славная предвоенная весна мирного

<sup>1</sup> Впрочем это, как принято выражаться, лишь гипотеза, потому что должного отражения в источниках этот момент не получил. Как и все прочие сцены, нами не подсмотренные лично, и не подслушанные диалоги, эта сцена все же опирается на виденное, слышанное и записанное другими, так что она тоже в определенной степени документальна.

<sup>2</sup> Точность сообщения — на совести Анри Рапе и его записок «Тридцать лет Монпарнаса».

Парижа. Кого только из знакомых персонажей мы ни видим в эти дни в «Ротонде»? Вот, отчаянно жестикулируя руками, что-то кому-то доказывает острый на язык молодой Эренбург. А вот пришел уже преуспевающий испанец Пабло Пикассо и с ним неизменный Ортис де Зарате. Появился и Осип Цадкин с верной своей спутницей, огромной собакой Калуш — загоняет собаку под стол, чтоб не злить добрейшего хозяина «Ротонды». А там еще два скульптора, тоже русские — Оскар Мещанинов и Жак Липшиц, и Мария Васильева с ученицей, и поэт Марк Талов. А вон и еще обитатели «Улья» — то ли индеец, то ли ковбой Грановский, рубаха-парень (до самого нацистского крематория дотянет на Монпарнасе), и знаменитый «Кики», Кислинг, монпарнасский завсегдатай, по нему утром и вечером можно часы ставить — ровно в шесть Кислинг удаляется из бара. Рядом с Кислингом — мулатка Айша, манекенщица, его и многих верная подруга, экзотический цветок Монпарнаса. Есть и вторая, Кики, еще ярче звездочка, хотя и беленькая. В один прекрасный день она сама взялась за кисть и оказался талант. Потом написала мемуары. Потом стала певицей. Говорят, что потом фашисты ее расстреляли «по какому-то фантастическому подозрению...» Пришли и старики — Андре Дерэн, Отон Фриз, Шарль Герэн. Японец Фуджита с серьгой в ухе, важный, молчаливый, изредка перекинется двумя-тремя словами с денди в фетровой шляпе и красном шарфе, тосканцем Модильяни. Этот, последний, с неизменным своим синим блокнотом, пока трезв, говорит мало — все время рисует. Иногда вдруг остервенело рвет прелестный рисунок, чем-то недотянувший до одному ему известного уровня. Ищет глазами новую модель, потому что без контакта с человеческим лицом, душой, фигурой — писать не может.

Она-то сразу, как вошли, заметила этого красивого человека в красном шарфе. Через полвека рассказывала об этом мгновенье многим — всякий раз по-разному, уже шло мифотворчество. Говорила, что впервые заметила красивого, бледного человека в красном шарфе. Ее поразил его голос (о котором она потом столько раз писала в стихах). По-разному вспоминала. Скажем, такое. «Думаю, какой интересный еврей... А он думает, какая интересная француженка...», —

это уже из поздних, часто противоречивых друг другу рассказов, из тех, что подруга Надя Мандельштам называет «пластинками», это, конечно, была выдумка. Ведь только год спустя, по ее собственному свидетельству, он впервые сообщил ей, что он еврей, чтобы вдруг не подумала, что скрывает. Он ведь и не похож был на еврея, особенно в космополитической толпе «Ротонды». К тому же Анна не знала, скорей всего, кто такой — этот сефард. Что же до него, то он тоже вряд ли принял ее за француженку — слишком яркое лицо, иная смесь кровей.

Скорее всего их представил друг другу какой-нибудь из русских (скажем, Мария Васильева или Осип Цадкин). Анна вспоминает, что его поразило ее умение читать мысли. Может, и правда поразило. Когда женщина нравится, в ней ведь все поражает.

Возможно, она сразу же бросила взгляд на стоявший перед ним стакан с вином, на что он ответил с вызовом: «Алкоголь отгораживает от всего... Уводит внутрь самого себя... Я пью не для веселья. Это тоже для работы...»

Он оборвал линию в блокноте. «Покажите», — сказала она. К ее ужасу, он вдруг стал с остервенением рвать лист, выдернув его из блокнота. «Да, да... — сказала она вдруг, — мои старые стихи... Я тоже...» Он поднял голову, и она поняла, что слово «стихи» для него не безразлично. «Мой муж поэт», — сообщила она. Но он даже не повернул голову к подошедшему Гумилеву. Гумилев сказал по-русски, что пора уходить из этого сарая. Что и так уж слишком засиделись. Точнее, она слишком... Модильяни вдруг воскликнул, что это низость говорить при нем на языке, которого он не знает. Что ни один из его русских друзей так бы не поступил. Что он никому не позволит! На них теперь смотрели с любопытством. Все знали, что когда у Модии такой голос, хорошего не жди. «Нам надо идти», — сказала она, поспешно вставая. Гумилев улыбался — он-то знал, что этим кончится. Модии вдруг притих. «Мне нужен ваш адрес, — сказал он с отчаянием, — я все объясню. Вы ничего не поняли...» «Я принесу адрес, — сказала она. — Я еще зайду...»

Гумилев смотрел на нее с отчаянием, зная, что она сдела-

ет все, что ей захочется. Свободная женщина, свобода, борьба за свободу — Боже, какая тоска! Она будет сидеть и страдальчески молчать, когда они придут в отель, и им снова нечего будет делать друг с другом.

У нас, как точеные, руки,  
Красивы у нас имена?  
Но мертвой, томительной скуке  
Душа навсегда отдана.

Позднее она рассказывала, что у Гумилева и впрямь произошла какая-то ссора с Модии, из-за того, что Гумилев говорил в его присутствии по-русски, что Модильяни был пьян. Когда и где это было, она не уточняла, она вообще почти никогда не говорила о том, что знал и думал обо всем этом Гумилев. Раз только проговорилась смутно, через пятнадцать лет, и то сразу пошла на попятный.

Через полвека, в своих очень сдержанных воспоминаниях (о ее чувствах там ни слова) она писала, что они встретились с Амедео в 1910, но тогда она «видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз». Где она виделась с Амедео? Что было между ними? Иные искусствоведы датируют ее «ню» 1910 годом. Может, он уже тогда рисовал ее «ню»? Где?..

Он слал ей «всю зиму» безумные письма, из которых она «запомнила несколько фраз», а гласности предала две фразы, и впрямь влюбленные.

### **Амедео между первой и второй встречей**

Ахматова написала полвека спустя, что оба они стояли в пору их встречи на пороге самораскрытия, реализации таланта. Амедео, впрочем, шел к этой реализации уже давно, но «решительный поворот для него приходится, по моему мнению, на 1910», — пишет дочь Жанна Модильяни.

Скульптор Жак Липшиц так вспоминает о посещении мастерской Модильяни в Сите Фальгьер. «Когда я пришел к нему, он работал, стоя, и несколько каменных голов — кажется, пять — стояли на цементном покрытии двора»



перед ателье. Он как раз группировал их. Как сейчас вижу, склоняясь над ними, он объясняет мне, что они должны являть единое целое. Если не ошибаюсь, они были спустя несколько месяцев выставлены в Осеннем салоне, где стояли, точно трубы какого-то органа, настроенного на музыку, звучащую у него в душе».

Художник пишет, с каким упорством и упоением работал его сосед-тосканец по ателье в «Розовой Вилле», как называли тамошние художники дом в Сите Фальгьер.

«Просыпаясь рано, Модильяни тесал во дворе камень. Головы на длинной шее выстраивались в шеренгу перед его ателье, одни лишь едва тронутые резцом, другие уже завершённые... К вечеру, закончив труд, он поливал свои скульптуры. С любовью, как поливают цветы, этот рачительный и дотошный скульптор-садовник ждал пока стечет вся вода через дырочки лейки... Потом, присев на корточки у входа в свое ателье, он наблюдал, как они сверкают в последних отблесках заходящего солнца, и говорил, спокойный, счастливый: «Они точно отлиты из золота».

Раме вспоминает, что со временем «его головы малопомалу принимали форму удлинённых яиц, установленных на безупречных цилиндрах, с легким только намеком на прорези глаз, нос и рот, которые не должны были нарушать единство пластической формы».

Тот же Раме вспоминает, что долги его терпеливой хозяйке «Розовой Виллы», а позже и ее наследнику росли угрожающе. Модильяни давно уж жил в кредит. Деньги мало интересовали его — он был одним из самых беспечных и бескорыстных художников на нищем и беспечном Монпарнасе.

В поисках своего пути отчаянно боровшийся с преградами Модильяни обращался и к вину и к гашишу, о которых один из его кумиров (Бодлер) писал как о средстве «расширения индивидуальности». У Модильяни было то же самое бодлеровское стремление, «распалить свой опыт, приоткрыть завесу бесконечности». Эксперименты эти стоили ему здоровья и ввергали его в новые долги. Именно к тому времени относится его письмо к брату Умберто.

«Милый Умберто,  
прежде всего — спасибо за неожиданное воспомоществова-

ние. Со временем, надеюсь, я смогу войти в колею — главное не терять головы. Ты спрашиваешь, что я намерен делать. Работать, выставляться. У меня такое чувство, что в один прекрасный день я себе пробью путь...»

В этот трудный год он часто вспоминал о встрече с русской незнакомкой и, как уже сказано, писал ей отчаянные, несдержанно нежные письма. Ему хотелось снова смотреть ей в глаза, как тогда... Когда тогда? Где тогда? Где и сколько раз успели они встретиться? Мы не знаем. Не знаем и того, что она писала в ответ на его письма. Мы знаем только, что она сделала в ответ на них.

### Анна после первой встречи с Амедео

В Петербург Гумилевы возвращались в одном вагоне с Сергеем Маковским. Никому пока не известной поэтессе льстило общение с влиятельным редактором модного петербургского журнала, покровителем Гумилева. Легко представить себе и то, что юной, печальной Анне, смущенной неладом в браке и своей парижской тайной, нетрудно было очаровать влюбчивого и поверхностного Маковского. Он был, конечно, на стороне Анны — хотя понимал уже и тогда, что для «повесы» Гумилева она «единственная». Что мог знать о ней Маковский?

«В железнодорожном вагоне, под укачивающий стук колес, легче всего разговориться «по душе», — писал он. — Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала, и не только в качестве законной жены Гумилева, повесы из повес, у которого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов «без последствий», — но весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой рта, вызвал не то растроганное любопытство, не то жалость.»

Мы не знаем о чем говорила и о чем молчала скрытная мечтательница. Потерпите чуть-чуть, скоро хлынут удивительные стихи, которые нам о многом расскажут, хотя, по мнению критики, они до крайности скрытны, зашифрованы, загадочны, как сама Ахматова тех дальних лет.

Пока же перенесемся в Россию, в Царское Село, в комнату, где по воле судьбы, сходятся ежедневно два не приспособленных к совместному житию, два вольнолюбивых, обидчивых, не знающих удержу существа.

Гумилев ничего не может понять в ее поведении и чувствах. Боится принять догадку за окончательную реальность, он глядит на ее любимое, отчужденное лицо и пытается отшутиться (куда как не шуточным) стихотворением.

Из логова змиева,  
Из города Киева,  
Я взял не жену, а колдунью,  
А думал, забавницу,  
Гадал — своенравницу.  
Веселую птицу-певунью.

Молчит — только ежится  
И все ей неможется,  
Мне жалко ее, виноватую,  
Как птицу подбитую,  
Березу подрытую,  
Над участью, Богом заклятую.

Отчего пишет он уже в этих ранних стихах про ее вину («ее виноватую»)? В чем ее вина? В том, что пошла замуж, не зная, кто ей нужен и что нужно? Или уже знает он что-то о парижских ее эскападах? Так или иначе, дома происходят бесконечные «объяснения», разговор глухих, точнее, диалоги с немой («молчит — только ежится»). «По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он полюбил серьезно и гордится ею...» — простовато сообщает тот же Маковский. Все это однако скоро становится им не по силам. Ей первой — она уезжает в ту зиму к матери в Киев, и раз, и два. Он пытается спасти свое мужское самолюбие. Как и прежде, до этой долгожданной женитьбы, он должен доказывать, что он мужчина, воин, конквистадор, покоритель. «Отстаивая свою «свободу», — пишет о Гумилеве все тот Маковский, — он на целый день уезжал из Царского, где-то пропадал до

поздней ночи и даже не утаивал своих «побед». И не найдя в них утешения, Гумилев решается бежать снова в Африку (всего-то ведь прошло два месяца после их возвращения из Парижа) и дает Анне, которая уже снова в Киеве у матери, телеграмму: «Если хочешь меня застать, возвращайся скорее, потому что я уезжаю в Африку». Мог бы уехать и без телеграммы, но хотелось ее видеть, хотелось еще раз себя обмануть.

Между тем Анна вернулась в Киев, а с января поселилась в Царском Селе, ездила в Петербург, вхожа была в разные знаменитые дома. «Бывала у Чудовских, у Толстых, у Вячеслава Иванова на «башне». Там она сидела, прекрасная, юная, бледная, еще не решалась прочесть стихи, но если поэзия ее еще не звучала там, то красота и осанка были тотчас замечены на «башне», где столько говорили и думали о грехе и любви, где и сам хозяин, «златокудрый бог» Вячеслав Иванов влюблен был в свою юную падчерицу, куда юные девы шли с замиранием сердца<sup>1</sup>.

И если не возникло у Анны на «башне» какого-нибудь «рокового» романа, то может потому, что у нее была своя сердечная тайна, уже были томившие ее переживания, и как нельзя более кстати оказалась эта новая встреча с «отечеством поэтов», с Царским Селом.

Амедео писал ей влюбленные, осатанелые письма («Ты во мне как наваждение...»). Он-то и присутствует постоянно в ее стихах этого времени.

В пушистой муфте руки холодели.  
Мне стало страшно, стало как-то смутно.  
О, как вернуть вас, быстрые недели  
Его любви, воздушной и минутной!

О нем, вероятно, и это, полное ревности стихотворенье, которое Маковский с такой великолепной уверенностью адресует отвергнутому скитальцу Гумилеву.

<sup>1</sup> Рассказывая мне об этом семьдесят лет спустя в своей парижской квартирке на Монпарнасе, прошедшая огонь и воду мадам Майя Роллан-Кудашева перешла на таинственный шепот, ибо и она некогда, тогда еще юная Маинька, поддавалась искушению Ивановских чар.

Жгу до зари на окошке свечу  
И ни о ком не тоскую,  
Но не хочу, не хочу, не хочу  
Знать, как целуют другую.

Этот его голос, который, как она призналась позднее, «навсегда остался в памяти», он и в стихотворении, помеченном февралем 1911 года:

Смотреть, как гаснут полосы  
В закатном мраке хвои,  
Пьянея звуком голоса,  
Похожего на твой.  
И знать, что все потеряно,  
Что жизнь — проклятый ад!  
О, я была уверена,  
Что ты придешь назад.

Тем же февралем помечено и другое стихотворение — об измене и «непрощенной лжи».

И видела тонкие руки,  
И темный, насмешливый рот.  
«Ты с кем на заре целовалась,  
Клялась, что погибнешь в разлуке,  
И жгучую радость таила,  
Рыдая у черных ворот?..»

Но, может быть, это все наши фантазии, и стихи ни о ком конкретном? Те, кто хорошо знали молодую Ахматову, не дают укрепиться в этом сомнении. «У Ахматовой подстроками всегда вполне конкретный образ, вполне конкретный факт, — пишет В. Срезневская, — хотя и не названный по имени».

Анна знала цену тому, что так вольно и уверенно лилось сейчас из-под ее пера. И поскольку она жила в кругу, где писание стихов и вообще искусство считалось главным (а может, и единственно достойным человека) занятием на земле, легко представить себе тогдашнее ее состояние, ее торжество, радость творчества.

Вот снова воспоминание Маковского:

«Женившись, я поселился тоже в Царском Селе... в отсутствие Гумилева навещал Ахматову, всегда какую-то загадочно-печальную и вызывавшую к себе нежное сочувствие. Как-то Гумилев был в отъезде, зашла она к моей жене, читала стихи. (Оставим эти мемуарные экивоки — почему стихи надо читать неведомой жене, а не «нежно сочувствующему» и влиятельному петербургскому редактору и поэту? — Б.Н.) Она еще не печаталась в журналах, Гумилев «не позволял». Прослушав некоторые из ее стихотворений, я тотчас предложил поместить их в «Аполлоне». Она колебалась... что скажет Николай Степанович, когда вернется? Он был решительно против ее писательства. Но я настаивал. «Хорошо, беру на себя всю ответственность. Разрешаю вам говорить, что эти строфы я попросту выкрал из вашего альбома и напечатал самовластно».

«Так и условились... Стихи Ахматовой, как появились в «Аполлоне», вызвали столько похвал, что Гумилеву, вернувшемуся из «дальних странствий», оставалось только примириться с фактом аччопли (свершившимся фактом — Б.Н.). Позже он первый восхищался талантом жены и, хотя всегда относился ревниво к ее успеху, считал ее лучшей своей ученицей-акмеисткой. Но тут акмеизм — отмечу в двух словах — пожалуй и ни причем, — справедливо заключает Маковский. — Дарование Ахматовой (очень большое), созревшее в тишине и безвестности, в гумилевской выучке не нуждалось. Вкус у нее куда безусловней его вкуса, поэтический вкус, не говоря об уме, гораздо тоньше...»

В ее стихах сразу открылись качества, в отсутствии которых упрекают до сих пор самого Гумилева, — подлинная лирика, «глубоко пережитое чувство» (по выражению того же Маковского). Даже благожелательный Брюсов, которому молодой Гумилев так преданно подражал, сетовал, что стихи его отстают от роста его души. Лишь в самых последних стихах так и не дожившего, по мнению многих, до подлинной зрелости Гумилева проявилось умение поэтически выразить свои чувства и боль. А его молодая жена с таких стихов начинала, и слава сопровождала ее уже с первых шагов (достаточно сказать, что среди первых ее «аполлоновских»

стихов был «Сероглазый король», которого пели по всей России и неперменного исполнения которого, как свидетельствует Вертинский, требовали от него даже в глухой бессарабской деревне).

Гумилев гордился успехами жены. Не очень верится в то, что он был всерьез «против ее писательства». Но ревность к такому мгновенному взлету он мог, без сомнения, испытывать. Мог еще и догадываться, что не он, а другой сумел возжечь это пламя. Впрочем, если он и недогадывался, кто этот другой, то происшедшее следующей весной могло подсказать ему это с достаточной очевидностью.

В самый разгар первых своих поэтических успехов молодая Ахматова одна отправляется в Париж — к тому, чей голос звучал весь тот год в ее душе и так ясно слышен в ее стихах. Уезжает к Амедео Модильяни.

## Лето их любви

Она приехала в конце весны, перед самым началом парижского лета и поселилась на левом берегу Сены, в старинном доме на рю Бонапарт, неподалеку от бульвара Сен-Жермен и близ площади Сен-Сюльпис. Интересно было бы узнать какие-нибудь бытовые подробности этой поездки — кто дал ей деньги на поездку, кто снял квартиру — но, увы, узнать нам об это негде. Поездку скорей всего оплатил Гумилев (он пошутил как-то, что Аннушке надо давать сто рублей на иголки), а квартиру мог подыскать и Модильяни — не слишком далеко от Монпарнаса, от улицы Вожирар и Сите Фальгьер, где у него была мастерская.

Встреча их была долгожданной и радостной. Амедео писал ей письма, она сочиняла о нем стихи. Может, именно поэтому, прочитав позже о тяжелом, необузданном нраве этого «пропащего гения» с Монпарнаса, Ахматова писала в мемуарах, что она «могла знать только одну сторону его сущности (сияющую)». Не могла же она, хотя бы и в молодости, знаясь с веселыми и вечно пьющими монпарнасскими грешниками. В ту весеннюю парижскую пору она была уже приличной, замужней дамой, а в пору написания мемуаров —

почтенного возраста знаменитостью, во всем мире почитаемой поэтессой.

Впрочем, Бог с ними, с мемуарами. Перенесемся в 1911 год, когда вдали от Царского Села, Слепнева и Петербурга, наедине с Модильяни юная Анна думала и чувствовала по-другому: радость и грех одновременно.

Мне с тобою пьяным весело —  
Смысла нет в твоих рассказах.  
Осень ранняя развесила  
Флаги желтые на вязах.

Оба мы в страну обманную  
Забрели и горько каемся,  
Но зачем улыбкой странною  
И застывшей улыбаемся?  
Мы хотели муки жалящей  
Вместо счастья безмятежного...

Не покину я товарища  
И беспутного и нежного.

Стихи передают атмосферу бесшабашного вечернего шल्याния по ярко освещенным парижским кафе, легкого опьянения, влюбленности («первый раз одна с любимым»), разговоров захлеб на иностранном для обоих языке.

Иногда, днем, он делал перерыв в работе и они встречались в Люксембургском саду (каковой променада, один за свою пристойность, и был через полвека допущен ею в свой мемуарный очерк). Шел дождь. Укрывшись под его огромным старым зонтом, они сидели, прижавшись друг к другу, на скамейке и «в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались», что помнят «одни и те же вещи».

Небо над городом плачет,  
Плачет и сердце мое.  
Что оно, что оно значит,  
Это унынье мое?

Как-то особенно больно  
Плакать в тиши ни о чем.  
Плачу, но плачу невольно,  
Плачу, не зная о чем.

Возможно, в эти же минуты он вытаскивал томик Лотреамона, который вечно таскал в кармане, и с мальчишеской злою усмешкою зачитывал дерзкие суждения этого предтечи сюрреалистов, жившего в Париже за полстолетие до них и также, как они, презиравшего фарисеев и буржуа:

«Вон, поглядите, там, среди цветов и кустарников, спит крепким сном на газоне, усыпленный рыданиями — гермафродит. Луна, из завала туч свой выбарахтав круг, бледным лучом ласкает лик этот нежный подростка. Черты его нам являют верх мужской энергии, но и нежную ласку божественной девы тоже...»

Или это:

«Я союз заключил с проститутками, чтобы смуту посеять в семьях. Помню ночь накануне вступления в эту опасную связь. Я увидел перед собою надгробье. Я услышал, как светлячок, что был громаден, как дом, мне сказал: «Прочти эту надпись. Я тебе посвечу. Ты увидишь, что это не я учредил этот высший порядок...»

Или вот это:

«Что за тень отпечатал с небывалою четкостью на стене моей комнаты этот фантастический сгорбленный силуэт? Когда я терзаю сердце свое этим вечным вопросом, мучительным и безмолвным, не величия формы ищущая, а реальности и трезвости стилия... Блондинки...»

— Ты будешь ночевать у меня, — сказала она, — и ничего не будет у нас на стене — ни блондинки из Мальдадора, ни портрета брюнетки...

Она хотела сказать что-нибудьнисходительно-шутливое про вечные эти поиски стиля и природы, но она знала, что неизменный синий блокнот будет с ним, когда он придет к ней ночью на рю Бонапарт. Знала, что он будет снова ее рисовать — и при отблесках лампы, ночью, и под утро, утомленный и умиленный. Она позировала послушно и надевала тяжелые африканские бусы, и заламывала руки над головой, оправляя прическу, замирая в неподвижности с затекшими руками, и даже вставала в поразившую его (но хорошо знакомую уже и посетителями ивановской «башни») позу «женщины-змеи»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Автор этих строк в альбоме репродукций недавно «опознал» Ахматову в модильяниевской «акробатке» и в модильяниевской «трапезистке».

Она, конечно, понимала, что и он не свободен тоже, что он раб своего дара, что он в поиске, в муках того, что ей — о, счастье! — дается пока так легко... Как, скажем, эти стихи, которые она с такой откровенностью назвала «надписью на неоконченном портрете»:

Взлетевших рук излом больной,  
В глазах улыбка испугленья,  
Я не могла бы стать иной  
Пред горьким часом наслажденья.

Он так хотел, он так велел  
Словами мертвыми и злыми,  
Мой рот тревожно заалел  
И щеки стали снеговыми...

Для Амедео, как и для обожаемого им Данте, эта бледность была цветом страсти и цветом благочестия. С волнением глядя на эту вдруг углубившуюся бледность ее и без того мраморного лица, Амедео читал любимые строки:

**Color d'amore e di pieta sembranti  
non preser mai cosi mirabilmente  
viso di donna...**

(Цвет любви благочестия цвету подобный  
Преобразал ли когда-нибудь  
Девичий лик так чудесно...)

Она знала, как быстро он меняется, как из неистового и злого становится разнеженным, добрым. Она заметила, что и портреты отражают эти его перемены — они бывают вечерние, ночные, утренние. Они были неистовы, откровенно и бесстыдно чувственны. Она научилась распознавать на его женских портретах неудовлетворенную страсть или усталость тела, и она ревновала его к этим женщинам на портретах. По вечерам она ждала его, чтобы открыть ему входную дверь. «Чтобы не разбудить консьержку», — оправдывала эти ночные часы ожидания. Через полвека ей очень хотелось хотя бы упомянуть о них в лукавом своем мемуарном очерке, не так, чтобы, упаси Боже, никаких намеков на то, что он приходил к ней ночами (умный поймет и сам, Sapienti Sat). Писала она загадочно и романтично:



«Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами».

Вот и все. Остальное так легко додумать! Ночь принадлежала им:

Благослови же небеса —  
Ты первый раз одна с любимым.

Бывало, что Амедео не приходил вовсе. Когда ему (как он говорил) не работалось. Он ронял «мертвые и злые» слова, а она всю ночь оставалась одна в этой чужой комнате, где «так душно пахнет старое саше».

И нет греха в его вине,  
Ушел, глядит в глаза другие,  
Но ничего не снится мне  
В моей предсмертной летаргии.

Иногда и она пыталась освободиться от этого наваждения, сбежать от него в другой Париж. Через много лет она рассказала молодым друзьям про какой-то парижский ужин в компании «авиаторов», летчиков. Было жарко, она сняла под столом туфли, а потом, когда стала обуваться, обнаружила в одной туфле карточку легендарного Блерио. Возможно, знаменитый летчик назначал ей свидание. И вероятно, она пошла на это свидание, потому что вспомнила однажды, через полвека (а добросовестный А. Найман записал это ее воспоминание), как она гуляла по парку с каким-то французским генералом. И было ей с ним, вероятно, довольно скучно, потому что в ее очерке о Модильяни есть такие странные (к Модильяни вряд ли имеющие касательство) строки:

«Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами». О ком этот странный, лукавый рассказ, или о чем?

Иногда Модильяни рассказывал ей истории про своих знакомых. Выходило, что все они просто замечательные люди. Например, хозяйка их «розовой виллы» в Сите Фальгьер, где

его ателье. Анна вспоминала, как злобно косится на нее эта старуха, но Амедео начинал доказывать, что это замечательная женщина, — воистину бальзаковская героиня. Она дотошно записывает в свою книгу малейшие долги, но ей не приходится в голову с тебя их требовать. А Сутин, видела ли она, какое у него лицо? Анна говорила со смехом, что давно не встречала подобных уродов, и Амедео начинал доказывать, что у этого Хаима замечательное лицо — вот он напишет его портрет и тогда все поймут, что этот русский красив, потому что он гений... Вот можно сейчас пойти в «Улей»... Нет, она не хотела идти в «Улей». Там было слишком много русских. Среди них могли оказаться их общие с Гумилевым знакомые. И потом она вовсе не хотела снова видеть этого сумасшедшего Хаима.

И еще: она не могла понять, на что он живет. Он казался ей очень бедным по сравнению с ее петербургскими друзьями. Она знала, что он презирает буржуа и не заговаривала с ним о деньгах. Она тоже презирала буржуа, но чтоб такая бедность? Она вспоминала, что приличные люди брали в Люксембургском саду железные стулья. Они с Гумилевым брали такие стулья тоже, это совсем недорого. С Амедео они сидели на бесплатной скамейке. Значит даже за это он не мог заплатить.

Бывало, у него появлялись ненадолго какие-то деньги, и тогда он был безудержно щедр. Они слонялись по кафе, брали экипаж и ехали в Булонский лес («И словно тушью нарисован В альбоме старом Булонский лес») или в парк Бют де Шомон. Во время такой прогулки она и поломала страусово перо (то самое, которое видела на ее парижской шляпе госпожа Чулкова).

Она любила, когда они забредали в какой-нибудь небольшой парк, где музыканты сидели на круглой эстраде и где становилось так невыразимо весело или так невыразимо грустно от вечерней музыки и от мыслей о предстоящей разлуке:

Звенела музыка в саду  
Таким невыразимым горем.  
Свежо и остро пахли морем  
На блюде устрицы во льду...

Потом было прощание, последняя их прогулка, последний парк, последняя ночь. Той осенью, в Царском Селе, она написала «Песню последней встречи», которая сразу стала одним из самых модных и знаменитых в России стихотворений, таким знаменитым и таким модным, что стареющая Ахматова возненавидела его к концу жизни, ревнуя к своей былой славе и даже сочтя ее позднее незаслуженной. Там все было, в этом раннем стихотворении, — и эти ступеньки от двери до тротуара, и эти клены на рю Бонапарт, и мертвящее горе разлуки, и роковые предчувствия...

Так беспомощно грудь холодела,  
Но шаги мои были легки.  
Я на правую руку надела  
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,  
А я знала — их только три!  
Между кленов шепот осенний  
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,  
Переменчивой, злой судьбой».  
Я ответила: «Милый, милый!  
И я тоже. Умру с тобой...»

Это песня последней встречи.  
Я взглянула на темный дом.  
Только в спальне горели свечи  
Равнодушно-желтым огнем.

А потом она сама сказала, чтоб он уходил — она вдруг поняла, что это конец. Так, во всяком случае, рассказывает малоизвестное стихотворение: она осталась одна в этом полукруглом зале, где пол был засыпан опилками и где старик, похожий на барана, с такой важностью читал «Фигаро», точно это была Библия.

Да лучше б я повесилась вчера  
Или под поезд бросилась сегодня.

## Неотвязный Париж

«В 1911 году я приехала в Слепнево прямо из Парижа, — вспоминала Ахматова полвека спустя, — и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: «К Слепневским господам хранцуженка приехала»...

Ей врезалось это в память, потому что так точно совпадало с тогдашней ее отчужденностью: мыслями она была еще с ним, еще там, в Париже, и Слепнево одно могло дать ей сейчас свободу и одиночество. Главное же, что ей никак нельзя было сейчас оставаться с глазу на глаз с Гумилевым. Страх перед этой встречей (страх и стыд) истерзали ее еще в пути от Парижа до Петербурга. Она написала тогда:

Боль я знаю нестерпимую,  
Стыд обратного пути...  
Страшно, страшно к нелюбимому,  
Страшно к тихому войти...

Она знала, что Николай ее ждет, что он уже простил ей заранее своевольную эту поездку, и это его ожидание, и надежда на то, что «все образуется», были особенно страшны. И вот нарядная, пахнущая чем-то «чужедадным», она склоняется над ним, поверженным, «тихим» для платонического безлюбивого поцелуя...

А склонюсь к нему, нарядная,  
Ожерельями звеня,—  
Только спросит: «Ненаглядная!  
Где молилась за меня?»

Она вернется в Париж только через полвека. Модильяни к тому времени уже четыре десятилетия, как не будет в живых. Но в то лето 1911, и в ту первую осень, и потом еще зимой и весной, под Петербургом, — он был все время рядом с нею, он был ощутимей, чем все, кто ее окружали,

«... Я ждала письма, которое так и не пришло — никогда не

пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну...»

Сегодня мне письма не принесли:  
Забыл он написать, или уехал;  
Весна как трель серебряного смеха,  
Качаются в заливе корабли.  
Сегодня мне письма не принесли...

Он был со мной еще совсем недавно,  
Такой влюбленный, ласковый и мой...  
Он был со мной еще совсем недавно...

И везде Он — о Его появлении узнаешь по плащу (иногда это «плащ и посошок»), по темным локонам, по ее неотвязной теперешней «любовной пытке», по ревности, которую так легко пробуждает в Ней мысль о других, о другой.

Но не хочу, не хочу, не хочу  
Знать, как целуют другую.

Похоже, порой ей легче было перевоплотиться в этих стихах в молодую замужнюю крестьянку, чем в легкомысленную графиню. К тому же крестьянки были тут, в Слепневе, повсюду, и Анне казалось, что они смотрят ей вслед, о чем-то догадываясь:

... те неяркие просторы,  
Где даже голос ветра слаб,  
И осуждающие взоры  
Спокойных, загорелых баб.

И вот она уже воображает себя провинившейся бабой, которую муж наказывает за измену:

Муж хлестал меня узорчатым,  
Вдвое сложенным ремнем...

Для человека, живущего воображеньем, словом, мыслью, разлука безмерно обостряет любовное чувство (Анна ведь и Гумилева умела любить больше, когда он был вдали).

Ну а что же все-таки Гумилев? Видимо, он приезжал в Слепнево, и была новая попытка их примирения.

Под навесом старой риги жарко,  
Я смеюсь, а в сердце злобно плачу,  
Старый друг бормочет мне: «Не каркай!  
Мы ль не встретим на пути удачу!»

Но я другу старому не верю.  
Он смешной, незрячий и убогий,  
Он всю жизнь свою шагами мерил  
Длинные и скучные дороги...

Анна постаралась скрыть от мужа то, что произошло с ней в Париже, уничтожить все следы. Нет, не чепчик, который приятно было вспоминать в мемуарах и через полвека («я носила тогда чепчик из тонких кружев»), но прежде всего рисунки, модильяниевские «ню», которые он ей дарил. «Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате», — вспоминала она через столетия. И добавляла лукаво: «Они погибли...» Уцелел лишь один — в высшей степени пристойный. Где-то она его тоже прятала. Остальные просто нельзя было никому показывать.

И дал мне три гвоздики,  
Не подымая глаз.  
О милые улики,  
Куда мне спрятать вас?

Так или иначе от улик она избавилась. Но не от подозрений. В своем мемуарном очерке Ахматова относит свой первый разговор с Гумилевым о Модильяни к 1918 году (год развода с Гумилевым) и утверждает, что разговор этот был единственным: «Только раз Н.С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 года), и я упомянула имя Модильяни, назвал его «пьяным чудовищем» (!)

Дальше идет довольно неубедительное описание како-го-то столкновения между соперниками и, наконец, примиряющая концовка: «А жить им обоим оставалось при-

мерно по три года, и обоих ждала громкая посмертная слава».

Скрытность в данном случае легко объяснима. Гумилев известен был как один из первых российских мучеников Большого Террора. Признаться, что ему пришлось при жизни страдать еще и по этому поводу, Анна Андреевна просто не могла.

После переезда в Царское Село у молодой поэтессы появляются новые поклонники. Однако она не исцелилась еще от своего парижского любовного недуга, о чем свидетельствуют и новые ее стихи.

И томное сердце слышит  
Тайную весть о дальнем.  
Я знаю: он жив, он дышит,  
Он смеет быть не печальным.

Все этим стихам, посвященным тосканцу с Монпарнаса, суждено было вскоре стать, по словам критиков, символом и даже знаменем женской любовной лирики в России. Стать неслыханно знаменитыми. Амедео, конечно, так и не узнал об этом. Но ведь и Ахматова уже не знает, что вышли сегодня на свет Божий утаенные ею рисунки, которые и рассказали нам без умолчаний и стыдливости об их горячей молодой любви.

Меня покинул в новолуние  
Мой друг любимый. Ну так что ж!  
Шутил: «Канатная плясунья!  
Как ты до мая доживешь?»

Ему ответила, как брату,  
Я, не ревнуя, не ропща,  
Но не заменят мне утрату  
Четыре новые плаща.

Оркестр веселое играет,  
И улыбаются уста.  
Но сердце знает, сердце знает,  
Что ложа пятая пуста!

Недолго ей оставалось пустовать, этой ложе. А пока на дворе стоит ноябрь мирного 1912 года.

## Амедео без Анны

Еще при встрече с Модильяни в июне 1911 Анна заметила, как сильно он изменился за год — осунулся и словно бы потемнел. Увидев его вскоре после отъезда Ахматовой, в августе того же года, тетка Лора Гарсээн пришла в ужас — так плохо он выглядел. Она подыскала для отдыха виллу в Ипорте, в низовьях Сены, близ Фекампа и послала любимому племяннику Дедоденьги на проезд. Что-то задержало его в Париже, и все, конечно, разошлось. Лора послала ему деньги снова и узнала с отчаяньем, что он мгновенно истратил и их. Любящая тетка не унималась и опять отправила деньги на дорогу. Наконец, к вилле Андре подъехала открытая машина, и в ней сидел промокший до нитки Дедо (с его-то легкими!). Он не хотел вылезать из такси, а хотел, чтобы их немедленно (под проливным дождем) в той же машине отвезли в Фекамп, пока еще есть деньги: ему говорили, что вид там на море великолепный.

«Нет, этому парню просто невозможно помочь», — сокрушалась огорченная Лора в письме приятелю. И это правда: ему никто не мог помочь — он точно намерен был сжечь как можно скорей свою жизнь, возложив ее на алтарь Искусства. Характерно, что у последних его скульптурных портретов было ее (юной Ахматовой лицо), Ее челка, Ее глаза... Все оставшиеся портреты (сколько их было?) ушли к доктору Полю Александру. Знал ли доктор Александр, кто эта гибкая молодая женщина с пучком темных волос на затылке и неповторимым профилем? Сомнительно, чтобы он даже спрашивал об этом... Позднее беспорядочно разбросанное наследие (и беспорядочная жизнь) «пропащего монпарнасского гения» сделали трудным «окончательное решение проблемы хронологической атрибуции» этого наследия. На это как раз и сетовала Жанна Модильяни, биограф знаменитого своего отца, безнадежно увязшая в его парижских адресах, женских именах и монпарнасских легендах. Да что там легенды! Даже простые документы и письма не менее драматичны, чем легенды. На предпоследней странице, написанной Жанной отцовской биографии, в сноске сообщается, что через год после гибели ее, Жанниной, матери

умерла в Париже юная канадская студентка Симона Тиру, позировавшая многим художникам на Монпарнасе и оставившая после себя сына. Предоставим теперь слово самой Жанне Модильяни: «После смерти матери ребенок этот был усыновлен какой-то французской семьей, и вот через несколько лет после этого женщина, которая хлопотала об усыновлении (мадам Сандаль), получила по почте — без всякой записочки и обратного адреса — фотографию мальчика, поразительно похожего на Модильяни».

Это к вопросу о трудностях «атрибуции». Переводя же это музейно-искусствоведческое слово на язык родных осин, мы получим весьма интересное занятие, при котором знаток искусств, глядя на картину или книгу, определяет, кто, где, когда и по какому поводу это произведение создал. Похоже, то, чем мы сейчас с вами, читатель, занимаемся, как раз и называется «атрибуцией». Глядим мы на рисунки в альбомах Модильяни и говорим: «Так это же Анна Андреевна Ахматова тут в купальнике или вовсе ни в чем, Аннушка Горенко-Гумилева, гордость нашей поэзии, вон и поза ее любимая, до чего же прелестна, ласковый Боже!» К лету 1912 года Модильяни был так изможден работой, болезнью, вином и наркотиками, что друзья (после того, как Ортис да Зарате нашел его лежащим в обмороке на полу в мастерской) собрали ему деньги на поездку домой, в Ливорно. Земляки нашли, что он стал неузнаваемым, странным. Без конца показывал им фотографии своих скульптур (которые мало кому в Ливорно пришли по душе), говорил об африканском художественном гении. Итальянское солнце раздражало его и слепило после привычного парижского. Он не знал, что навсегда прощается с «милой Италией» и нежной своей матушкой.

Вскоре, нагруженный стопками книг (Петрарка, Данте, Бодлер, Ронсар, Малларме, Лотреамон...), он вернулся в Сите Фальгьер, где соседом его уже был в то время гениальный местечковый неряха Хаим Сутин. Остались от этого времени два портрета Сутина, создавая которые впечатлительный Модильяни поддался (невольнo или намеренно) сутинской манере. Дружба просвещенного тосканца с темным местечковым Сутиным оставалась тайной

для Монпарнаса. Говорили, что это Моди научил Сутина пользоваться носовым платком. Жанна Модильяни полагает, что отец ее ценил Сутина (и прощал ему все) за то же, за что он обожал Утрилло и Пикассо — за природную талантливость.

Но Бог с ними, с Сутиным, с пропойцей Утрилло, со знаменитым Пикассо — что же Анна? Он забыл Анну? Он ей не писал? На первый вопрос легче ответить, чем на второй. Он без остатка был поглощен своей живописью. Модель, которая была перед ним, слияние с этой моделью — было для него важнее всего на свете. В беседе с кем-то из друзей он приравнял это слияние к акту любви. Встреча с молодой Ахматовой сдвинула что-то в его живописи и скульптуре. Черты ее лица и линии ее тела долго еще маячили в его «кариатидах». Он шел дальше, преодолевал физическую слабость, изнурение, нужду, тяжкое похмелье. Ему не по силам сейчас было вспоминать и мечтать. Он ведь не бродил по садам и бежецким полям, по сонным аллеям императорских парков...

В тот последний предвоенный год Модильяни часто писал портреты в квартире красавицы Габи, чьи ласки он вынужден был делить с неким ее богатым покровителем. По вечерам же он часто отправлялся в гости к полицейскому Декаву, который был покровителем изящных искусств и коллекционером. (В старой, доброй довоенной Европе бывало и такое!) Более того, другой офицер полиции, месье Замарон (поклонник Утрилло и Модильяни, покупавший их полотна) нередко выручал этих сильно пьющих гениев из участка. Как отмечают мемуаристы, добрый, терпимый и щедрый Модильяни становился под парами вина и гашиша совсем «нехорош»: бранился, обижал друзей, отпускал злые шутки. По мнению одной из его натурщиц (может быть, это была сама пани Зборовская), в нем просыпался в эти недобрые минуты «еврейский сарказм». Мемуаристка, дочь Модильяни, обиженная этим предположением, высказала мнение, что это вообще средиземноморский способ реагировать на жизненные невзгоды. О том же Модильяни рассказывают, как сидя в «Ротонде» рядом с обнищавшим вконец приятелем, он уронил на пол ассигнацию, потом

поднял ее с полу и отдал соседу со словами: «На, ты уронил... Не сори деньгами...»

Хотя Модильяни и удавалось кое-что зарабатывать в те времена, большинство воспоминаний о его нищете приходится именно на эту пору иступленной работы, болезней и беспорядочной жизни. Вот что рассказывает знаменитый художник (один из отцов фовизма) Морис де Вламинк:

«Зимним утром 191... года на каком-то углу бульвара Распай стоял Модильяни, глядя на проходящие такси с такой же надменной гордостью, с какой генерал смотрит на войска, марширующие перед ним на параде. Кожа стыла от ледяного ветра. Увидев меня, он подошел и сказал с неприужденностью: «Я тебе уступлю недорого свое пальто. Мне оно велико, а тебе будет в самый раз».

Убальдо Оппи вспоминает, как услышав звонок, он открыл дверь и увидел Модильяни с чемоданом.

— Оппи, — сказал он. — Купи у меня этот чемодан.

— Зачем мне чемодан?

— Я за него прошу всего десять франков.

— Да у меня ни гроша. Я вон из постели не вылезаю, потому что есть нечего.

Я стоял на пороге, в рубашке, с голыми ногами, босой, а он, поставив на лестничную площадку свой чемодан, покачал рукой, — старый матерчатый чемодан с железными уголками.

Мы печально взглянули друг на друга и улыбнулись. Модильяни прикрыл ресницами свои лучистые глаза. Нагнувшись, подобрал чемодан.

— Такие дела, — сказал он».

В это время в жизнь Модильяни входит новая женщина, тоже, вероятно, сыгравшая немалую роль в его творческой жизни, вторая такая женщина после Ахматовой (недаром же, прочитав об этом полвека спустя, Анна Андреевна обрушилась на незнакомую соперницу — уже давно умершую — с такой ревнивой яростью). Женщину звали Беатрис. Она была молода, однако старше Модильяни на пять лет, красива, богата, деспотична и соблазнительна. Когда-то она уехала из Лондона в Южную Африку. Занималась всем подряд, выступала в цирке (именно это

отметила Ахматова: еще одна «канатная плясунья!»), в Европу вернулась во время англо-бурской войны на корабле, вывозившем раненых. Она была талантливая журналистка и поэтесса, пережила эпоху бурной дружбы с Кэтрин Мэнсфилд, была последовательницей Блаватской. Ее сравнивали с хемингуэевской леди Брет из «Фиесты», и на Монпарнасе она вошла в легенду — под именем Беатрис Гастингс. На самом деле ее звали Эмили Алис Хейг, но она сменила за свою жизнь немало имен, увлечений и обличий. В последние шесть лет своей жизни (с 1937 по 1943) издавала на свои деньги какую-то полуфашистскую газету, в которой поносила Шоу, Черчилля, семью Ситвелов и всех евреев.

14 октября 1943 года она написала письмо в британский музей, предлагая забрать у нее все ее рукописи. Ей ответили отказом, и в ту же ночь она открыла газ и покончила с собой, держа на коленях свою ручную мышку. Разрозненные листки ее записок разбросаны были по квартире. Записей о Модильяни там, к сожалению, не было...

Все это, впрочем, случилось через двадцать семь лет после их с Модильяни разрыва, а пока, в 1914 — встреча с ней принесла ему массу впечатлений, столкнув его с совсем иным, зачастую враждебным идейно и психологически существом.

Познакомил их, кажется, Осип Цадкин. Беатрис вспоминала, что Модильяни показался ей некрасивым, злобным и алчным, когда они встретили его впервые в какой-то молочной. Назавтра он пришел на свидание чисто выбритый, карман его был раздут от «Песен Мольдадора». Он «с изяществом приподнял фуражку и пригласил посмотреть его работы». Она жила на Монмартре, близ площади Тертр, и вскоре он переехал к ней, в ее домик на главной монмартрской улице, на улице Норвэн (дом 13). Работал он теперь и дома (там написал портрет Поля Гийома), и в ателье художника Хэвиленда, и поблизости, в ателье на рю Равиньян, которые снимал для него Поль Гийом. Пил по-прежнему много, по одной версии — это Беатрис спаивала его, по другой — она его удерживала от пьянства. Так или иначе, именно в это время он создает целый мир, населен-

ный совершенно особыми модильяниевскими людьми, создает целую нацию «модильянцев», где все персонажи словно бы схожи (как сходны китайцы на взгляд невнимательного европейца), но каждый несет отпечаток своего характера и неповторимой души. При этом критики никогда не забывали упомянуть о психологизме его портретов, о его гениальных догадках. Чарльз Дуглас (живший в ту пору на Монмартре и часто видевший Модильяни) рассказывает, что когда Модильяни стал писать его портрет, он написал его в шортах, с собакой — этакого белого плантатора. «Но я никогда не рассказывал ему, — изумлялся Дуглас, — что я ведь и правда был когда-то в Африке плантатором». Клод Руа писал, что к Модильяни применимы слова Бодлера, сказанные им об Энгре: «Он считал, что натуру следует исправить... Озабоченный этим... он часто делает модель почти невидимой, надеясь этим придать больший вес контурам». Из приводимого искусствоведами перечня гениев, стилей и направлений, оказавших влияние на Модильяни, можно было бы составить словник для художественной энциклопедии. Но, кажется, никто, если не ошибаюсь, не включил в этот перечень русскую икону. Амедео рассказывал Анне, что ходил на крестный ход в русскую церковь. Она запомнила из этой истории только смешной, какой показалось, анекдот о христосовании. Об иконах (и даже об атмосфере русской пасхальной ночи) она не спросила, может, не поняла толком, почему он об этом рассказал, да и до того ли им было.

Именно в эту пору испуленно работавший Модильяни создает портреты знаменитого мексиканского художника Диего Риверы (того самого, что являлся в «ротонду» в обществе своего приятеля Л. Троцкого), Жана Кокто, Фрэнка Хэвилэнда, замечательного русского художника Льва Бакста (одного из творцов «дягилевского балета»), портрет Жака Липшица и его жены Берты и среди них — портреты главной из своих женщин, Беатрис. Похоже, что именно в эту пору рождается настоящий портретист Модильяни. Растет и его известность, но до настоящей материальной самостоятельности ему еще далеко. Да и потом — сколько должен зарабатывать человек, которого мусорщики поутру

вытаскивают из ящика, где он проспал всю ночь сном младенца, упав туда с вечера мертвецки пьяным. Дуглас вспоминает, как Модильяни выкрикивал строки Рэмбо в кафе папаша Юбера, как они вдвоем попеременно читали Лотреамона на монмартрском кладбище над могилами Гейне, прекрасной княгини-польки Салтыковой-Потоцкой и пушкинского друга Якова Толстого:

«Я увидел перед собою надгробье. Я услышал, как светлячок, громадный, как дом, сказал мне: «Прочти эту надпись, я тебе посвечу. Ты увидишь, что это не я учредил этот высший порядок...» В могиле был юноша, убитый болезнью за то, что не молился усердно».

Де Вламинк вспоминает, как Модильяни делал наброски за столиком «Ротонды» и царственным жестом тут же раздавал их посетителям — точно миллионер, раздающий банкноты. Мы могли бы тут сделать поправку: «пачки банкнот»... Вспоминают, каким он бывал любезным, и щедрым, и тонким, и благородным — пока не достигал определенной степени опьянения, после которой становился и сварливым, и злым, и неприятным. Беатрис недаром говорила, что он «и жемчужина и поросенок» (не потому ли так разозлилась на «циркачку» Ахматова, прочитав об этих ее словах полвека спустя!).

В 1916 они окончательно разошлись с Беатрис. Для Модильяни начались новые скитания. В том же году Кислинг представил ему молодого поэта-изгнанника Леопольда Зборовского, который взял Модильяни под свою опеку, став не просто продавцом его картин (маршаном), но его другом и благодетелем. По некоторым источникам, это жена Фужиты, занявшаяся в то время делами своего мужа, посоветовала Зборовскому (Збо) взять Модильяни под свое крылышко.

Леопольд Зборовский, происходивший из богатой польской семьи, женат был на родовитой польке, чей облик словно создан был для портретов Модильяни. Поэт, эстет и коллекционер Зборовский с 1916 года посвятил себя одному делу — Модильяни. Он не только искал покупателей для его полотен, в которые был влюблен, но также предоставил ему для работы самую боль-

шую комнату в своей квартире на улице Жозеф-Бара близ бульвара Монпарнас и поставлял ему натурщиц высочайшего класса, лучшими из которых были пани Анна Зборовская и утонченная Луния Чеховска.

Трогательным отношениям Амедео со Зборовскими несколько вредила пагубная привязанность Модильяни к его русскому другу Сутину, которого Моди считал гениальным. Модильяни вздумалось написать еще два портрета Хаима, и пани Зборовской пришлось переносить визиты дурно пахнущего местечкового еврея в ее элегантную квартиру на Жозеф-Бара. (Кто знал, что в один прекрасный день Поль Гийом приведет к Сутину американского коллекционера доктора Барнса и тот купит всего Сутина скопом. Впрочем, к тому времени Моди, да, пожалуй, и Леопольда, уже не было в живых, а обедневшая Ахматова распродала «своих Модильяни».)

В «Ротонде» моделями для Амедео были не только экзотические подружки-натурщицы, вроде Кики, или породистые польские аристократки с нежными, тонкими шеями. Была среди них и плотная, приземистая, родом с Украины, студентка художественной Академии Коларосси Ханна Орлова. У нее, похоже, вообще, не было шеи. Наблюдательный портретист Модильяни разглядел олимпийское спокойствие Ханны и даже успел отразить его в кабацком наброске в «Ротонде»<sup>1</sup>.

В 1917 году во время ежегодного карнавала в Академии Коларосси Ханна познакомила Амедео с лучшей своей подружкой-студенткой, прелестной девятнадцатилетней Жанной Эбютерн. Девушка была маленького росточка, и волна ее темно-каштановых волос с рыжеватым отливом так резко контрастировала с белизной ее кожи, что подружки прозвали ее «Кокосовым орешком». Она вовсе не была такой бессловесной и покорной, какой вошла в предания Монпарнаса: знавшие ее ближе отмечали ее горькое чувство юмора. И еще отмечали, что она была талантливой художницей. Встреча с Амедео на веселом студенческом

карнавале была для нее роковой. Она влюбилась в этого ни на кого не похожего человека и пошла за ним — на жизнь и на смерть. Вся беда была в том, что жизни ему оставалось совсем немного.

Вскоре Амедео и Жанна сняли вместе квартиру на рю де ла Гранд Шомьер. Зборовские надеялись, что жизнь Моди войдет теперь в колею. Чтобы подбодрить его, Леопольд осенью 1917 года устроил ему выставку у Берты Вайл. Выставка началась со скандала (о чем может мечтать любой художник): полиция велела снять пять модильяниевских «ню», оскорблявших стыдливость публики. Скандал не помог: ни одна из его работ так и не была на выставке продана. Жанна ждала в это время ребенка, и они решили отправиться на зиму 1918 в Ниццу. Дочку, как и мать, назвали Жанной. Но Жанной Эбютерн, поскольку брак не был зарегистрирован. Как истинный итальянец, он показывал дочь только самым близким из друзей и никогда не брал ее с собой в кафе, а одному из друзей он за стаканом вина говорил: «Эх, женщины, лучший подарок, который им можно сделать, это ребенок. Но здесь надо остановиться. Смотри, чтобы не пошли кувыркком и живопись и все искусство!»

Имя Модильяни к тому времени стало довольно известным среди художников, и старенький Огюст Ренуар, живший в Ницце и никого больше у себя не принимавший, согласился по просьбе Остерлинда повидаться с Модильяни, о котором столько говорят. Ренуар считал, что он должен поощрять молодежь. Остерлинд уговорил Модильяни прийти на свидание трезвым. Разговора об искусстве не получилось: это был диалог глухих. Ренуар послал гостей в свою мастерскую на холме посмотреть его последние ню, взглянув на которые, Модильяни решил сразу уйти домой. Остерлинд с трудом уговорил его вернуться к старику, попрощаться. «Ты пойдешь», — сказал Остерлинд. — Он же старый, он, может, завтра умрет». Модильяни вернулся и угрюмо сел в угол. «Вы видели мои ню?» — спросил Ренуар. «Да». Воцарилось долгое молчание. «Вы видели эти розы? — умоляюще сказал Ренуар. — Эти розовые попки? Как я их выписывал, обхаживал, вылизывал... Целыми днями...» «Я не люблю красивые попки», — мрачно сказал Модильяни и пошел к двери.

<sup>1</sup> У Жака Шаapiro есть эпизод, в котором частый посетитель «Улья» Куприн уговаривает молоденькую «Райку» достать денег и выпить с ним винца, чтобы забыть печаль. Очень похоже, что речь идет о Ханне.

Весной 1919 Амедео вернулся в Париж, а вслед за ним и Жанна с ребенком. Вскоре стало ясно, что Жанна снова забеременела.

Вырвав из тетрадки лист разлинованной бумаги, Амедео написал на нем:

«Сегодня, 7 июля 1919 года, принимаю на себя обязательство жениться на мадемуазель Жанне Эбютерн как только придут бумаги».

Маленькую Жанночку решено было отправить к кормилице на Луару. В ожидании оказии Луния держала ребенка у Зборовских на улице Жозеф-Бара. Амедео, совсем пьяный, звонил иногда у подъезда среди ночи, чтобы спросить, как там его доченька. Луния заклинала его не будить соседей. Он мирно присаживался на ступеньку. Потом исчезал незаметно. Пил он по-прежнему много. Кто-то видел его пьяного под дождем на церковной паперти на площади Алезиа. На Рождество 1919 года одна знакомая видела его в ночном кафе на бульваре Вожирар близ мастерской Марии Васильевой. Он дважды подходил в кафе за бутербродами среди ночи. Поймав удивленный взгляд, он сказал: «Только усиленное питание может меня спасти». Он редко кому говорил о своем туберкулезе, теперь дурные предчувствия не оставляли его. Однажды под вечер он вскарабкался на Монмартр и пошел в гости к Сюзанне Валадон, матери его друга художника Утрилло, к которой Амедео чувствовал почти сыновнюю привязанность. Сюзанна прожила нелегкую жизнь, была циркачкой, потом натурщицей у Ренуара, Тулуз-Лотрека, Дега. Усевшись за стол у Сюзанны, Моды попросил вина, а выпив, стал вдруг плакать и петь какую-то молитву на древнееврейском. Жанна-младшая полагает, что это была поминальная молитва кадиш (других в неверующей семье Модильяни, где выросла потом и Жанна, не знали). Он пел и плакал...

В один из этих дней Ортис де Зарате и Моше Кислинг зашли к Модильяни. В квартирке стоял ледяной холод. Амедео лежал в постели. Жанна (она была на последнем месяце беременности) сидела рядом и писала портрет мужа.

В конце января нелегкая понесла его с друзьями куда-то

на улицу Томб-Иссуар, в гости. Когда дверь подъезда открылась, все поднялись наверх, а он замешкался, присел на скамейку и сразу уснул. Утром его отвезли в больницу. Говорят, что он повторял перед смертью: «Кара Италия! Милая Италия!» Впрочем, если верить монпарнасским легендам, он много чего наговорил перед смертью. Умолял Зборовского заняться его другом Хаимом. Звал за собой Жанну, чтобы в раю у него была натурщица...

Отстранив не преуспевшего Кислинга, профессионал Липшиц снял с него посмертную маску. Пришла Жанна, долго-долго смотрела ему в лицо, не говоря ни слова. Потом отец увел ее домой.

Старший брат Эммануэле Модильяни (тот что был социалист), не достав французской визы, прислал телеграмму, полную горя и тосканского пафоса: «Похороните его как принца». Монпарнас и «Ротонда» устроили шумные похороны своему тосканскому принцу. Вспоминают, как рыдал в те дни в «Ротонде» Хаим Сутин, неопрятный гений из местечка Смилевичи.

Жанна ушла домой, на улицу Амио с родителями. Под утро ее брат Андре услышал, как хлопнула оконная рама. Он бросился к окну, глянул вниз с высоты шестого этажа. Жанна уже ушла за своим Амедео.

## Анна без Амедео

Наша маленькая повесть не кончена, потому что в ней два главных героя — Анна и Амедео. Его мы с вами проводили, совсем еще молодого и не очень знаменитого, на парижское кладбище. Ее же историю мы оборвали на самом важном и интересном месте, ведь Ей суждена была еще долгая жизнь.

В марте 1912 года вышла в свет первая книга стихов 23-летней Анны Ахматовой — «Вечер», благосклонно встреченная критикой и восторженно — читателями. А через небольшое время появилась вторая — «Четки», сделавшая ее знаменитой на всю Россию и выдержавшая множество изданий. Легко представить себе, какой фурор произвело

появление новой (притом молодой и красивой) поэтессы в литературных кругах. Николай Гумилев (ни одна из книг которого не вызывала такого шума) написал полушутя, полужестко, полузавидуя:

Ретроградка иль жоржзандка,  
Все равно теперь ликуй:  
Ты с приданным, гувернантка,  
Плюй на все и торжествуй!

Много позже зрелая, маститая, но все еще живущая отзвуками той славы, Анна Ахматова с высоты нового мастерства и жизненного опыта смотрела словно бы даже с завистью (впрочем, с гордостью тоже) на те годы незабываемого успеха.

«Эти бедные стихи пустейшей девочки, — писала она почти через полвека, — почему-то перепечатываются в тринадцатый раз... Сама девочка (насколько я помню) не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они впервые были напечатаны, «чтобы не расстраиваться».

Надеюсь, что читатель уже привык всякую мемуарную литературу воспринимать не как документ, а как литературу, особенно, если это мемуары писателя. К примеру, поздние, «мемуарные» романы Набокова («Другие берега», например) куда более «романны», чем его первые «целиком придуманные», но вполне автобиографические книги. К тому же, обратите внимание на ее извиняющиеся слова «насколько я помню» (так много ведь написано о спасительном Ахматовском «умении забывать»). Нет, все было иначе. Она сопровождала своего мужа (ставшего мало-помалу и влиятельным критиком, и поэтическим мэтром) на литературные посиделки и ночные сборища богемы, была на них королевой (хотя по временам и казалась испуганной девочкой). Она позировала модным портретистам, откликнулась на зовы новой любви, все еще не приносившей ожидаемого ослепительного счастья, а поклонников и вздыхателей теперь было множество.

Сам Александр Блок, король поэтов, после одного из визитов на «башню» к Иванову делает запись в дневнике:

«В первом часу мы пришли с Любой к Вячеславу. Там уже — собрание большое... А. Ахматова (читала стихи, уже волнует меня; стихи чем дальше, тем лучше)».

Той же весной, когда вышла первая книга, Анна почувствовала, что вскоре она станет матерью. Тогда супруги и решили поехать в Италию. Возможно, надеялись, что второе совместное путешествие (особенно теперь, в ожидании ребенка) поможет им восстановить мир в семье (ведь при всех разочарованиях Гумилев оставался для Анны «ласковым братом», законным ее мужем). А может, все-таки она неслучайно выбрала для поездки страну Амедео, прежде чем расстаться с той любовью окончательно. Так или иначе, и во второй книге ее есть стихи о «любимом», предавшем ее «тоске и удушью Отравительницы любви»:

Я сказала обидчику: «Хитрый, черный,  
Верно, нет у тебя стыда.  
Он тихий, он нежный, он мне покорный,  
Влюбленный в меня навсегда».

Она была смертельно уязвлена Его молчанием, Его «предательством», но оказавшись во Флоренции, она впервые, вероятно, приходит к пониманию того, как многим она обязана этой долгой любви.

В стихотворении, написанном ею в той же Флоренции, читаем:

Помолись о нищей, о потерянной,  
О моей живой душе,  
Ты, в своих путях всегда уверенный,  
Свет узревший в шалаше.  
И тебе, печально-благодарная,  
Я за это расскажу потом,  
Как меня томила ночь угарная,  
Как дышало утро льдом.

В этой жизни я немного видела,  
Только пела и ждала.  
Знаю: брата я не ненавидела  
И сестры не предала.

Отчего же бог меня наказывал  
 Каждый день и каждый час?  
 Или это ангел мне указывал  
 Свет, невидимый для нас?

Осенью того же 1912 года Анна родила сына, которого называли Львом. Рождение сына мало что изменило в жизни супругов и их взаимоотношениях. Ребенок жил у бабушки, которая его и воспитала. Иногда и Анна жила в Слепневе. Незаметно, чтобы в стихах ее ребенок занимал какое-нибудь место. Есть, впрочем, строка в стихотворении о Бежецке (что в четырнадцать верстах от Слепнева): «Там милого сына цветут васильковые очи...» Вот и все.

Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,  
 Я дурная мать.

Иногда в стихах ее как будто можно опознать героев ее новых романов. Один из них явно — Александр Блок. Встреча их была «незначительной», но Анна знает, что ее образ «горько волнует» покой поэта. Серьезным и долгим был роман Анны с молодым прозаиком и критиком Николаем Недоброво. По-настоящему влюблен был только Недоброво, оставивший ради нее жену. В стихах, посвященных ему, Ахматова писала о заветной черте близости, переступить через которую она не может в общении с ним. Недоброво занял место Гумилева (и даже эпитетом, которым Анна раньше награждала мужа, он завладел — «тихий»: «Тихий, тихий, и ласки не просит, Только долго глядит на меня...»)

Гораздо больше затронула Ахматову встреча с другом Недоброво, художником Борисом Анрепом. Она подарила ему черное кольцо в залог любви, но, увы, Анреп уехал в Англию, откуда так и не вернулся, чтоб забрать Анну.

Что до Гумилева, ставшего мэтром поэзии и вечно окруженного влюбленными в него поклонницами, то он с горечью сознавал, что потерял Анну окончательно. В новом своем африканском путешествии, из которого он, как и раньше, посылал жене влюбленные письма, написал он такие строки:

Я знаю, жизнь не удалась... и ты,  
 Ты, для кого искал я на Леванте  
 Нетленный пурпур королевских мантий,  
 Я проиграл тебя, как Дамаянти  
 Когда-то проиграл безумный Наль.

Нет, она еще не ушла, но она была чаще всего не с ним, и ему приходилось отвозить ее на извозчике на какое-нибудь очередное свидание. Они еще вместе появлялись на заседаниях литературных групп, где он верховодил, или в богемном кафе «Бродячая собака». Здесь ее видели многие тогдашние художники и поэты, и, пораженные необычностью ее красоты, писали ее портреты или стихи о ней. Первые могли бы заполнить особую ахматовскую галерею, а вторые — заполнить целую антологию стихов «об Ахматовой». Как не раз отмечала критика, «поэзия жила тогда внушениями живописи, а живопись — поэзии». Портреты Ахматовой пишут Сорин, Альтман, Судейкин, Анненков, Бруни, Делла-Вос-Кардовская, Тырса... Поэты нередко создают ее стихотворные портреты, похожие на скульптурные.

Вполоборота, о печаль,  
 На равнодушных поглядела,  
 Спадая с плеч, окаменела  
 Ложноклассическая шаль...

Так писал ее друг (и, конечно, поклонник) Осип Мандельштам. Ахматова становится символом и мифом петербургской богемы, как Модильяни был мифом и символом богемы монпарнасской.

Сам небожитель Блок посвятил ей в 1913 году знаменитые строки, вторящие хору, воспевавшему ее красоту:

«Красота страшна», — Вам скажут, —  
 Вы накинете лениво  
 Шаль испанскую на плечи...

«Не страшна и не проста я,  
 Я не так страшна, чтоб просто  
 Убивать; не так проста я,  
 Чтoб не знать, как жизнь страшна».

Были, впрочем, поэты (притом из числа женолюбив), которым и стиль этот и красота эта не казались соблазнительными. Таков был, к примеру, Бунин, чье описание богемной примадонны дышит недоброжелательностью:

Большая муфта, бледная щека,  
Прижатая к ней томно и любовно,  
Углом колени, узкая рука...  
Нервна, притворна и бескровна.

Была ли она притворна? Без сомнения, был в ее поведении элемент игры, театральности (как и в поведении Гумилева или Модильяни), была «**jeux de rôle**». Она играла поэтессу, играла даму из общества (как принято было в Царском), играла грешницу и кабацкую богему («Все мы бражники здесь и блудницы...») Все это было ей не чуждо, отсюда органичность исполнения — она проживала эти роли.

Ну, а что несчастный ее муж, ставший «лебедем надменным», как назвала его Анна в одном из стихотворений той поры? Гумилев утешался со своими поклонницами и ученицами и все более вращался в созданный им собственный героический образ. Что же до поэзии, то благозвучные стихи его были достаточно знамениты, иным (вроде его «Капитана») суждена была громкая слава.

Но вот мир их рухнул. Началась война и с ней новый век, «настоящий, не календарный». Кто предвидел, как страшен он окажется?

Гумилев ушел на войну и заслужил там два Георгиевских креста. На войне он думал о сыне, вверяя ему при этом почетную миссию искупления родительских грехов:

Он будет ходить по дорогам  
И будет читать стихи,  
И он искупит перед Богом  
Многие наши грехи.

Если б он знал, на какие муки родили они своего Льва («Львеца» — писал Гумилев с фронта и из Африки), чуть не с первых дней перепорученного заботам бабушки.

В конце войны Гумилев снова оказался в Париже. После его возвращения в Петербург они разошлись с Анной окончательно.

Начались скитания Ахматовой. Она жила одно время у школьной подруги Валерии Срезневской, недолгое время была замужем за ученым-ассирологом Шилейкой, жила у подруги своей, прелестной Ольги Глебовой-Судейкиной, эгерию тогдашних поэтов, художников, композиторов...

Ты в Россию пришла ниоткуда,  
О мое белокурое чудо,  
Коломбина десятых годов, —

так обращалась Ахматова к нежно любимой подруге в «Поэме без героя», не зная, что бедная Оленька только что умерла в Париже.

В ту пору, когда Анна переехала к Судейкиным, у нее, по одним свидетельствам, был роман с новым мужем Ольги, композитором, по другим свидетельствам — с самой Ольгой тоже. Последнее вполне правдоподобно. «Вам хочется на вашем лунном теле следить касанье только женских рук...» — писал тогда Гумилев, ибо еще и первый муж Ольги Судейкин и его друг поэт Кузьмин и другие принесли в этот дом атмосферу некой сексуальной двусмысленности. Это было вполне в духе времени. Дух вседозволенности, превосходства гения над толпой с ее установлениями. Так учили западные властители дум, а Гумилев ведь, как и Модильяни, был поклонником Ницше и д'Аннунцио. Ради высокого искусства дозволен был не только грех, но и самый союз с дьяволом.

Ни в чем не повинен: ни в этом,  
Ни в другом и ни в третьем...  
Поэтам  
Вообще не пристали грехи.

Так она написала в поздней «Поэме без героя». Но это уже, пожалуй, было не о ней, зрелой, это было скорей о настроениях Серебряного Века, о карнавале масок, о Козлоногой Коломбине десятых годов. Ахматова созна-

вала по временам недопустимость подобной вседозволенности, она каялась, но покаявшись, грешила снова. И снова все прощала себе эта «веселая грешница», которую позднее правдолюбка Надя Мандельштам называла «суровой игуменьей». В молодости Анна была безудержна и своевольна. И слаще казались ей слезы раскаянья после греха. И слаще — грех после раскаянья. И смешивались в стихах ее и в жизни «искренность — с хитростью и кокетством... монашеское смирение — со страстью и ревностью». Это отметил один из первых серьезных ее критиков Борис Эйхенбаум, приводивший в подтверждение своих наблюдений ахматовские строки (пригодившиеся потом референтам товарища Жданова):

Но клянусь тебе ангельским садом,  
Чудотворной иконой клянусь  
И ночей наших пламенных чадом...

И еще это:

Моя рука, закапанная воском,  
Дрожала принимая поцелуй,  
И пела кровь: блаженная ликуй!

Раскаяние (и возмездие) пришло позже, в ночах Фонтанного дома («... всю ночь веду переговоры с неукротимой совестью своей»), в резких ее нападках на свои прежние стихи, да и на себя прежнюю:

С той, какою была когда-то...  
Снова встретиться не хочу.

Но все это позже, а пока и Ахматову, и русскую интеллигенцию, и всю Россию ждали тяжкие испытания — провал в пореволюционную разруху, бесконечный страх и, наконец, — разгул насильственной смерти. Среди нищеты и голода, интеллигенция еще продолжала трудиться, люди еще что-то писали, что-то издавали, читали стихи, утешали себя, что в этой нищете и разрухе все стало ясней и дышится легче. Есть такие стихи и у Ахматовой, переживавшей пик своей славы: ее стихами упивались даже

пролетарки в красных косынках, ее стихи о любви защищала от идейных аскетов сама партийная красавица Лариса Рейснер (жена влиятельного Раскольниковова, любовница еще более влиятельного Радека, а одно время поклонница и возлюбленная Гумилева). Милиция не могла сдержать всех рвавшихся на ее вечер. Однако осознание того, что у «диктатуры пролетариата» не может быть «человеческого лица», приходило с каждым новым кровопролитием. Одним из первых пал Гумилев, который в 1921 году был расстрелян в подвале петербургского чека. Он оставил сына, вдову свою Анну Энгельгарт с ребенком, «неофициальную вдову» И. Одоевцеву и по праву долгого брака и совместных мук считавшую себя его настоящей женой Анну Ахматову. В конце того же года умер Блок, и Лариса Рейснер (некоторые полагают, что это ее ревнивый муж Раскольников порадел о включении Гумилева в списки «заговорщиков») писала Анне Ахматовой:

«Теперь, когда его уже нет, Вашего равного, единственного духовного брата, — еще виднее, что Вы есть, что Вы дышите, мучаетесь, ходите, такая прекрасная, через двор с ямами, выдаете какие-то книги каким-то людям — книги гораздо хуже Ваших собственных.

Милый Вы, нежнейший поэт, пишете ли стихи?  
...Ваше искусство — смысл и оправдание всего».

В начале двадцатых годов в каком-то иностранном журнале Анна увидела портрет Модильяни, похоронный крестик, некролог... Она узнала, что он стал великим художником и что его больше нет.

У нее самой было уже в ту пору множество поэтесс-подражательниц, имитировавших ее ритмы, слова, рифмы. Не выдержав этого потока подражательской пошлости, Ахматова написала «эпиграмму», которая кончалась так:

Я научила женщин говорить...  
Но, боже, как их замолчать заставить!

Но примерно к 1925 она смолкла сама.

«...Последовало первое постановление ЦК о категорическом запрещении печатать мои стихи (1924)... — вспоминает

Ахматова, — ...и до 1939 (т.е. 15 лет) ни одна моя строка не появилась в печати».

Она жила (до конца своих дней) в вечной зависимости — от мужей и поклонников, от поклонниц своего таланта, от друзей и подруг. Жила в вечных скитаниях, не имея своего угла... Она получила странное, российское, полудворянское воспитание — не умела ни «зарабатывать на хлеб», ни растопить даже в доме печь.

Новым мужем Ахматовой стал искусствовед Николай Пунин, он привел ее к себе, в Шереметевский дворец на Фонтанке (Фонтанный дом). В красивую квартиру с окнами, выходящими в старинный сад. Туда, где жила его оставленная жена, вся прежняя его семья. Вероятно, больше ему некуда было ее вести. А ей больше некуда было идти. Крыша над головой («жилплощадь») стала недостижимой роскошью в стране, где деревня спасалась от голода и репрессий в переполненных, обнищавших городах.

Легко представить себе, как приняли новую «жилочку» в этой семье.

«Ты уюта захотела,

Знаешь, где он — твой уют?» — писала она об этой жизни в чужом доме, где по ночам за окном

Шереметевские липы...

Переключка домовых...

Ажить становилось все страшней. Друзья исчезали один за другим. Ночью, замирая от страха и прислушиваясь к шагам в подъезде, ждали «гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных». Так написал ее друг Мандельштам. Его самого для начала отправили в ссылку, в Воронеж. Анна навестила его там и написала стихи:

А в комнате опального поэта

Дежурят страх и Муза в свой черед.

И ночь идет,

Которая не ведает рассвета.

Ахматова знала, что она и сама живет как помилованная или как оставленная в заложницы:

И до самого края доведши,  
почему-то оставили там —  
Будя городской сумасшедшей  
по притихшим бродить площадям.

К концу 1940 года она начала работать над большой и сложной «поэмой без героя», которую писала до самой смерти. В одном из черновых вариантов снова было про незабвенного Амедео:

В черноватом Париж тумане,  
И наверно, опять Модильяни  
Незаметно бродил за мной.  
У него печальное свойство  
Даже в сон мой вносить расстройство.

Она собиралась в то время замуж за профессора Гаршина (который, впрочем, не дождался ее возвращения из эвакуации). Ей вообще, можно сказать, не везло в браке, и она оставалась, по собственному выражению, «чужих мужей вернейшая подруга и многих безутешная вдова». Ей шел шестой десяток лет, она стала грузной, величественной, оставаясь по-прежнему красивой.

В тот год, когда в Россию дошла весть об оккупации Парижа фашистами, у нее появилось ощущение, что погибла эпоха. До этого все-таки еще оставался где-то нормальный мир.

Когда погребают эпоху,  
Надгробный псалом не звучит...  
И только могильщики лихо  
Работают. Дело не ждет!  
И тихо, так, господи, тихо,  
Что слышно, как время идет.

А потом была война с Гитлером, была эвакуация, был Ташкент... Она выехала на Восток вместе с другими писателями. В Ташкенте болела, бедствовала — как все. Сам Жданов позвонил однажды из Ленинграда и попросил позаботиться о ее питании: может, было указание, что о писателях надо заботиться. О тех, кого еще не добились

и кто стали таким образом «старейшими работниками литературы».

Надежда Мандельштам цитирует в своих мемуарах отрывок из «Пролога», который Ахматова прочла ей в Ташкенте:

Из-под каких развалин говорю,  
из-под какого я кричу обвала,  
Как в негашеной извести горю  
под сводами вонючего подвала.

В конце войны Ахматова вернулась в уцелевший, выживший, хотя и опустевший после сталинского террора и гитлеровской блокады Ленинград. Это было время патриотического подъема (в такой войне выстоять!) и наивных иллюзий интеллигенции (казалось, что Сталин все же лучше Гитлера). Конец иллюзиям был положен очень скоро. И так случилось, что под первый удар попала именно она, немолодая уже, очень знаменитая русская поэтесса. Возможно, что на прежние ее грехи (вдова, мать «врага», пишет о любви грустно) наложились одна преступная случайность.

На работу в британское посольство приехал в те дни в Россию сэр Исая Берлин, литератор и философ русского происхождения. В США и потом в Лондоне он дружил с подругой Анны, некогда блистательной эгерией русских поэтов Саломеей Андрониковой, ко времени своего знакомства с Берлиным уже бывшей замужем за адвокатом Хальперном. Попав в Ленинград, Исая Берлин отправился на поиски Ахматовой, о которой столько слышал от друзей. Он нашел ее в Фонтанном доме, где ей по возвращении пришлось поселиться в квартире первой семьи Пунина. Полная стареющая дама поднялась ему навстречу, кутаясь в шаль: Анне Андреевне было уже близко к шестидесяти.

Он был Гость Оттуда, первый гость из еще не захваченного коммунистами и оттого сказочно свободного уголка земли («Гость из будущего», — назвала она его позднее в своей поэме). Ей было о чем его расспросить. Он встречал Саломею, он знал многих. А ведь там, где-то в Париже, была и Оленька Судейкина. Их беседе, казалось, не будет конца, и

легко представить себе, сколько топтунов из «наружного наблюдения» с непринужденным видом прогуливались по этому глухому Шереметевскому саду. То, что произошло дальше, во время этой встречи, и вовсе не укладывается ни в какие рамки. В разгар разговора, под окнами Ахматовой появился сын поджигателя войны Уинстона Черчилля Рэндольф Черчилль. Прилетев из Лондона в Ленинград и узнав в консульстве, что Исая отправился на свидание «к какой-то Ахматовой», Рэндольф пошел его искать и, встав под окнами Фонтанного дома (одному богу известно, как он разыскал этот потаенный боковой дворик, укромный сад за семью дворами и переходами), стал орать:

— Исая, где вы? Исая!

Не берусь судить, какую роль сыграл этот эпизод в Ахматовской жизни, но именно она стала первой и главной жертвой погрома. Началось все на самом верху. Лучший друг писателей собрал на «доверительную беседу» редакторов ленинградских журналов. И таким образом был дан клич, после которого с речью выступил главный идеолог Жданов, который полтора часа оглашал погромную резолюцию о журналах «Звезда» и «Ленинград». «Об Ахматовой говорили, как пишет в своем дневнике (очень лояльном — на случай обыска) старый поклонник поэтессы и автор первой восторженной о ней книги Б.М. Эйхенбаум, что она буржуазно-дворянская поэтесса, декадентствующая, пессимистичная: «Одним словом — ... смертный приговор».

Но вот наступает август, и Эйхенбаум, покаянно извинившись, что ему все-таки не все легко «принять» насчет нехудожественности Ахматовой и затем воспевав мудрость ждановской речи, голосует за гражданскую смерть великой поэтессы. Он должен спасти свою незаконченную книгу о Толстом, место завкафедрой, спасти семью.

Незадолго до этого Эйхенбаум встретил Анну Андреевну в гостях и, вернувшись домой, записал:

«Ахматова была простой, веселой, чудной. Читала стихи, пила.

Ржавеет золото и истлевает сталь,  
Крошится мрамор; к смерти все готово.  
Всего прочнее на земле печаль  
И долговечней — царственное слово.

Это конец одного ее нового стихотворения... Ее сборник подписан к печати... Необыкновенная женщина — как Россия. И ни один человек, конечно, ничего не стоит перед ней — прежде всего как человек».

Он ничего не спас, и в том же году потерял место, и не написал книгу, и умерла жена, и сам он был включен в новую группу для битвы вместе с безродными космополитами. «Об А.А. сведения печальные, — пишет он в конце августа, — плохо с сердцем, совсем одна. Я не могу пойти после того, как принимал участие в голосовании». Да он и так не пошел бы. Но кто бросит камень в старого профессора? Ему было страшно. А уж как страшно было ей.

...Вот и я помню этот день — 14 августа 1946 года. Я был маленький, тощий, дочерна загорелый. Мы жили на даче в Загорянке, и я целый день носился по участку в длинных трусах. И еще я очень много читал. Газеты, конечно. И еще книги, если удавалось выклянчить у кого-нибудь. Любые книги, подряд. Иногда мне давал книги один старик, который снимал дачу по соседству. Говорили, что он театральный критик. Он и правда сидел весь день за столом и читал. Или писал. Иногда, впрочем, он ковылял с палочкой по дорожкам — у него был недавно инсульт, и теперь он снова учился ходить. Днем он оставался один — его жена, довольно еще молодая актриса, уезжала в город и возвращалась поздно. В тот день он вдруг подозвал меня к забору. Я думал, что он снова попросит вернуть второй том Блока. Но он просто помахал газетой и спросил, читал ли я сегодня. Я думал, что он интересуется погодой или политикой. Но он показал на постановление.

— Ах это, — сказал я, — конечно, читал. Какой все-таки хулиган Зощенко!

— Но Ахматова... — сказал он с надрывом.

— Да, — сказал я радостно, гордясь своей осведомленностью, — она мечется между иконами и будуаром...

Он смотрел на меня странно и, услышав глас народа, заковылял прочь со своей газетой. Я вспоминал про этот разговор позже, уже в университете, когда газеты объявили этого самого хромавшего по дорожкам Гурвича безродным космополитом. Ему припомнили все, даже то, что он однажды признался (на людях), что с детства любил «Гамлета».

Одинокая Анна Ахматова слышала все это ежедневно — по радио и на улице. «Гость из будущего» Исайя Берлин прислал к ней для моральной поддержки в ее нашпигованный микрофонами дом своих наивных студентов. Она смотрела в пустоту и разумно молчала в их присутствии. В странах «будущего» ее история наделала немало шума. И в души даже самых «неустойчивых» левых интеллектуалов закрались подозрение, что в странах победившего социализма нет абсолютной свободы творчества. Не пошатнулись лишь мажоры. Французские коммунисты называли в те дни улицы парижских предместий именем Андрея Жданова. Эльза Триоле писала, что «нежный садовник Фадеев» вырывает «сорную траву» (Ахматову, Зощенко, «театральных критиков», «космополитов») из плодоносящих грядок литературы. Газета «Летр франсэз», позавидовав Ахматовской судьбе, претендовала на помощь товарища Жданова и его твердую «спасительную руку» («Известно, какую огромную роль он играл для советских интеллигентов, и, наберемся мужества, чтобы признать: эту роль он не может не играть за пределами СССР, в жизни мыслящих и читающих людей... Заходит ли речь об искусстве и литературе, о музыке или живописи... он протягивает спасительную руку, чтобы вывести художников из их противоречий...» — статья «Жданов и мы»).

Блистательная эта кампания добавила к первым двадцати годам страха Анны Ахматовой еще десять лет страха. Снова пошли ночи, полные бессонного ужаса. («Помоги, Господь, эту ночь прожить», — писал друг Осип в пору между ссылкой и лагерем.) К страху за жизнь прибавлялся страх за сына, которого гноили в лагерях.

И только после смерти Сталина стало ясно, что шестидесятичетырехлетней Ахматовой отныне разрешается существовать. Заодно публика выяснила, что она еще жива. Общение с ней больше не было опасным. Напротив, оно стало почетным. Ей повысили пенсию (рубля на четыре) и даже дали крошечную дачку-«будку» в Комарове (в бывшей Финляндии, которая до того была бывшей Россией). Сын Лева вышел из тюрьмы, сделался ученым. Но близости с матерью не получилось. Видно, слишком много у него накопилось обид — на мать, на весь мир. Ему казалось, что она, такая знаменитая, живущая «на воле», ничего не сделала для его спасения.

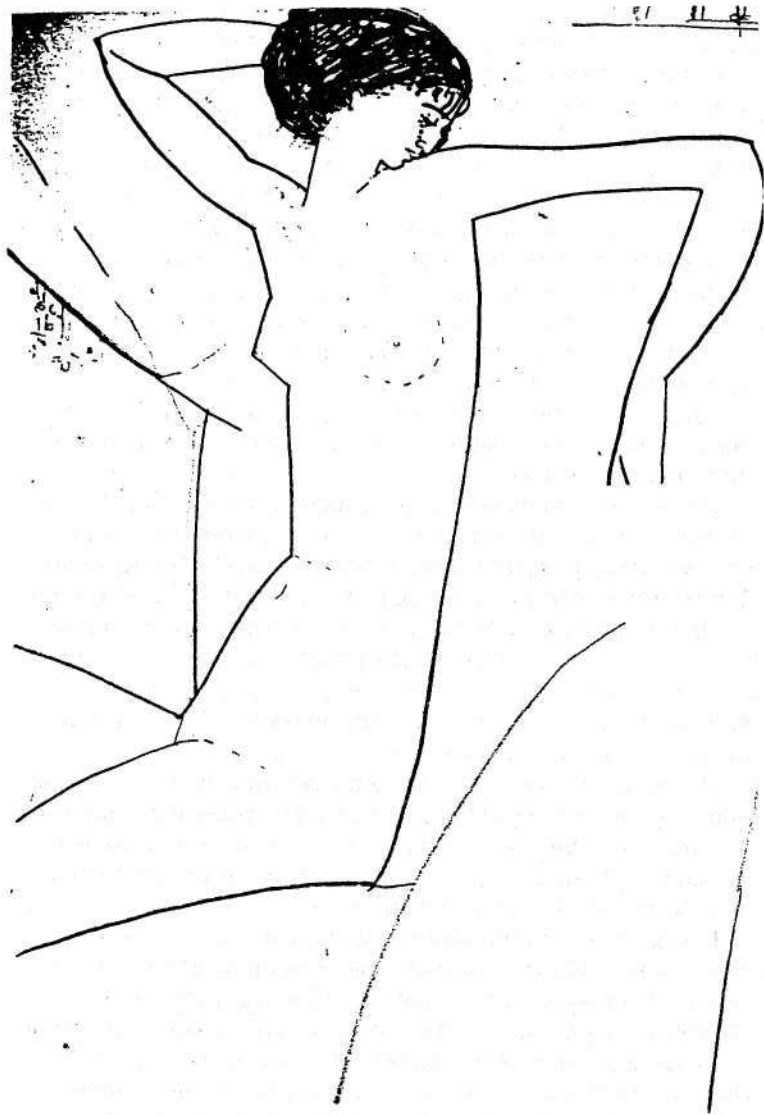
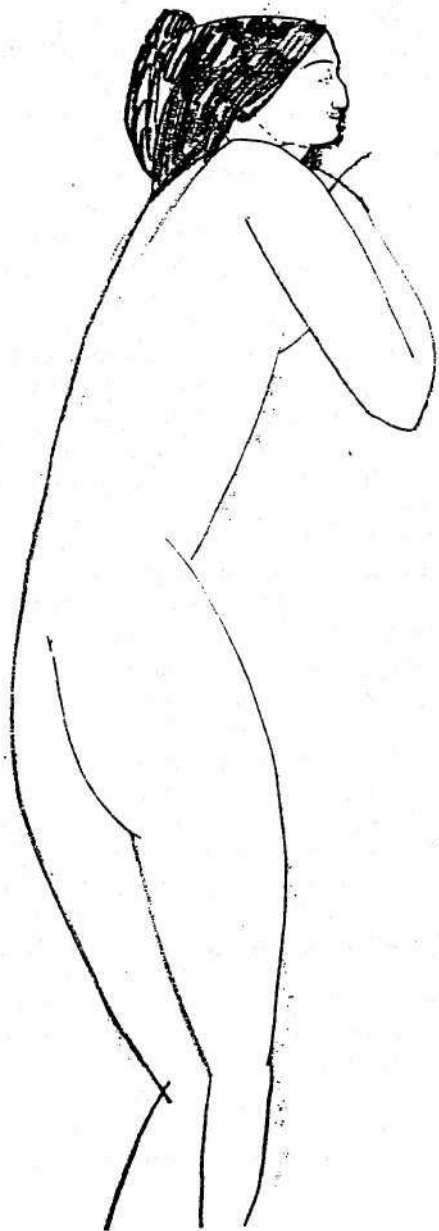
Впрочем, Анна Андреевна не оставалась больше одна. Вокруг собрался кружок молодых поэтов, для которых она была веселой, необыкновенной собеседницей, собутыльницей, гениальной старшей подругой, вестницей из Серебряного Века. И на дворе потеплело. Конечно, еще сажали. И даже убивали время от времени в подъездах. И стукачей вербовали среди хилых ленинградских и московских интеллигентов, жадных до поблажек и привилегий. Но силы у режима были уже не те. Когда после мерзкого судилища отправили в ссылку самого талантливого из ее «мальчишек», Иосифа Бродского (она звала его «рыжим»), Ахматова сказала, что «они делают рыжему настоящую биографию». Она не могла вообразить, конечно, что ее «рыжий» станет Нобелевским лауреатом. Но в принципе прогноз ее оправдался. Надежда Мандельштам так писала об этой новой ахматовской свите:

«Вдруг она вообразила, что снова, как в молодости окружена поэтами и опять заваривается то самое, что было в десятых годах. Ей даже мерещилось, что все в нее влюблены, то есть вернулась болезнь ее молодости... И все же прекрасно, что нашлись мальчишки, искренне любившие безумную, неистовую и блистательную старуху, все зрелые годы прожившую среди чужого племени в чудовищном одиночестве, а на старости обретшую круг друзей, лучшим из которых был Бродский».

Она стала в шестидесятые годы маститой и славной,

неким символом диссидентской России. Осмелевшие итальянцы присудили ей сицилийскую литературную премию Этна-Таормина, она слетала в Катанию, снова побывала в Риме. А по возвращении решила дописать начатый шесть лет назад в подмосковном Болшеве мемуарный очерк о Модильяни. Она сказала как-то в разговоре с Надеждой Мандельштам, что от былых любовных романов ничего не остается ни в душе, ни в памяти. Остается — когда настоящее. С Модильяни было настоящее. Модии прожил рядом с ней все эти тяжкие полвека. Его единственный уцелевший (или единственный ею сохраненный) рисунок все последние годы висел у нее в изголовье. Казалось, что это единственное ее достояние. Однажды, когда ей пришлось с одним из ее «мальчишек» (с А. Найманом) тащиться к нотариусу по поводу завещания о наследстве, она с тоской сказала: «О каком наследстве можно говорить? Взять под мышку рисунок Модии и уйти».

И вот теперь ей оставалось завершить о нем очерк. Работа затягивалась. Проза, вообще, давалась ей тяжело. Крошечные кусочки поэтической прозы, картинки, сны, запахи — еще куда ни шло, но чтоб засесть за что-то настоящее? Сама она мало помнила, а то, что помнила, не годилось для предания широкой гласности. Она теперь была пожилая, всемирно известная дама, и мало ли что могут подумать о ее прошлом, если она углубится в воспоминания. И так уж эти ее ранние стихи выболтали миру Бог знает что! Однажды она сказала в поезде на дороге из Ленинграда в Москву поэту Михаилу Дудину: «Мы, поэты, — люди голые, у нас все видно, поэтому нам надо позаботиться о том, чтобы мы выглядели пристойно». Вот эта «забота» о «пристойности» всем и мешала. Все, что было между нею и Модильяни, в очерке надо было угадывать. И про ее влюбленность («он был совсем непохож ни на кого на свете», «Голос его как-то навсегда остался в памяти»), и про эти их ночи любви на рю Бонапарт, когда он писал ее «ню», воспламенясь все жарче, потом откладывал карандаш, и она вдруг бледнела... Никаких «ню», разве только намеком, про эти ее «остальные» подаренные им рисунки. Никто их не видел в



Петербурге. Да и везла ли она их в Россию? А если нет, кому могла оставить в Париже? Рассказы об их гибели — всегда разные и не слишком правдоподобны. В пропавших рисунках, как она сообщает, в большей степени «предчувствуются его будущие «ню». Почему «будущие»? Модильяни, как сказано в очерке, «рисовал» ее «не с натуры, а у себя дома». А с чего же он их рисовал, эти «ню», с фотографий? Она хорошо помнила известную фразу Модильяни о том, что «начать он должен с модели». Она была хорошей, любимой, волновавшей его моделью, и она передавала в старости слова Модильяни о том, что женщины, которых стоит писать, кажутся неуклюжими в платьях. Я думаю, что слыша в сотый раз эту фразу, любящие ее молодые поэты, вероятно, переглядывались, особенно, когда слышали это невообразимое «не с натуры».

Доктор Поль Александр после одного из сеансов у Модильяни записал в своем дневнике: «Когда он был захвачен какой-нибудь фигурой, он лихорадочно, с необыкновенной быстротой рисовал ее при свете свечи, никогда ничего не исправлял, а по десять раз за вечер начинал заново один и тот же рисунок...» «Изредка он добавлял одну или несколько деталей для создания атмосферы, — продолжает доктор Александр, — люстра, свеча в подсвечнике, кот... картина на стене для горизонтальности»...

Прочитав эту запись коллекционера, одна генуэзская славистка пришла в изумление: именно эти извечные атрибуты можно разглядеть на рисунках Ахматовой — и свеча и кот (кошка?). Так если не с натуры, может, Модильяни приводил доктора к Ахматовой по ночам?

Соображения пристойности требовали, чтобы ее мемуарный очерк оградил Модильяни от обвинений в пьянстве (тут Анна была более строга, чем дочь Жанна): не могла же она, замужняя царскосельская дама иметь дело с пьяным и обкуренным богемным художником. Так что он при ней не пил, «она никогда не видела его пьяным, и от него не пахло вином. И она не пила. Он никогда не рассказывал ей о женщинах и о друзьях тоже не рассказывал («не слышала от него ни одного имени...») на Монмартре, на Монпарнасе, в

«Улье», в «Ситэ Фальгьер». Они говорили о снах, о поэзии, читали стихи, и он постеснялся признаться ей, что пишет стихи. «Он никогда не шутил...» — писала она, видя и в этом его необычность, его неземное благородство. И так, он не знакомил ее со своими друзьями, а она прятала его от своих. (В очерке сказано, что он не хотел, чтобы она подходила к нему на выставке, где были русские.) Вот и получилось, что почти нечего ей рассказать о знакомстве с Модильяни. Ну да, гуляли по Люксембургскому саду, сидели в дождь под его старым зонтом — на бесплатных скамейках, а с Гумилевым сидели на платных железных. И вдруг она оживлялась — когда надо было хоть с кем-то поделиться воспоминаниями о нем, ей, видимо, казалось, поделиться им самим. И тут она обрушивалась на его биографов, даже на таких осведомленных, как Поль Гийом, явно не в силах скрыть раздирающих ее чувств. («Великая ревнивица!» — не могла и здесь не удержаться от комментария Надежда Мандельштам.) И начав, мемуаристка уже не могла остановиться. «Чему там могла его научить, интеллектуала и поэта, какая-то циркачка из Южной Африки, которая позволяла себе называть поросенком великого художника? Кого может просветить подобная невежда? Могу и должна засвидетельствовать, — бушевала 75-летняя Ахматова, — что равно таким же просвещенным Модильяни был задолго до знакомства с Беатрисой Х...» Возможно, это было единственное место, где она дала чувствам волю. Остальное было сдержанно, пристойно и невнятно.

Мемуары эти, конечно, разочаровали ее друзей и поклонников. Тогда же молодой ученый В.В. Иванов (сын писателя Всеволода Иванова, среди друзей и коллег более известный как Кома Иванов), сравнивая стихи Ахматовой и ее устные рассказы с мемуарным очерком, писал так: «Мне жаль, что в мемуарах, которые она дописала чуть позднее, нет этого раскованного озорства, так поражавшего в лучших ее стихах и в поведении с близкими. В прозе больше акмеистического петербургского хорошего тона». А по словам Бродского у Анны Андреевны получились «Ромео и Джульетта» в исполнении особ царствующего дома». Ахма-

товой шутка очень понравилась, и можно представить ее счастливый смех — опять же в кругу таких близких ей молодых людей<sup>1</sup>.

В 1964 году Ахматова отправилась в Англию по приглашению Оксфордского университета, присудившего ей почетную степень доктора. Если бы она приехала на год раньше, то могла бы побывать на лондонской выставке произведений Модильяни и, увидев там выставившийся впервые рисунок «Обнаженная с котом», узнать в обнаженной себя, такую прекрасную, стройную, с той самой ниткой африканских бус, в которых он любил ее рисовать, приговаривая при этом, что «украшения должны быть дикарскими».

Любопытно, что было бы, если бы Анна Андреевна вдруг увидела себя в Лондоне, пожаловав на выставку со старыми друзьями? Неужели стала бы суетиться, уводя своих спутников в дальний конец залы (как это происходило за полвека спустя, кажется, в Парижском Салоне): «Идите сюда, господа, там не на что смотреть... А здесь вот портрет Мод Абрантес, между нами всегда, между прочим, находили сходство...» А может быть, и замерла бы перед рисунком, не в силах оторваться от красоты этого длинного тугого тела: «Неужели это я? Боже Всемогущий, что с нами делает время...»

В Лондоне Ахматову разыскала некая мадам Мок из Парижа, которая писала диссертацию о творчестве Оленьки Глебовой-Судейкиной. «О каком еще творчестве? Она сама была результатом творчества, Творенья... Это ее фотография? Боже, что с ней стало!» «Но у меня диссертация о творчестве, мадам, она ведь вышивала, пела, танцевала, лепила фигурки, переводила Бодлера... Вы знаете, мадам, что она умерла в Париже, как раз в то время, когда вы начали писать ней в своей знаменитой поэме. Она жила в скудости,

<sup>1</sup> Шутка эта очень понравилась генуэзской славистке А. Докуниной-Бобель, которая одной из первых опознала Ахматову на рисунках («ню») из коллекции д-ра П. Александра, выставленных в Венеции в 1993 году. Забавно, что генуэзская славистка приняла остроумную шутку Бродского всерьез, не уловив в ней и тени иронии. Так или иначе, открытие генуэзской славистики может оказаться полезным для искусствоведов, которым так трудно бывает атрибутировать работы Модильяни.

окруженная птицами — много-много птиц. В войну немецкая бомба попала в ее птиц...» Такой вот любопытный был, возможно, диалог.

Из Лондона она поехала в Париж. Париж полвека спустя — без Амедео, без фиакров. Еще жив был, впрочем, Георгий Адамович, некогда участник гумилевского Цеха поэтов. «При первой же встрече, — вспоминал старенький Адамович об этом их парижском свидании, — я предложил ей поехать на следующее утро покататься по Парижу... Она с радостью приняла мое предложение и сразу заговорила о Модильяни, своим юном парижском друге, будущей всемирной знаменитости, никому еще в те годы не ведомом.

...Прежде всего Анне Андреевне хотелось побывать на rue Bonaparte, где она когда-то жила. Дом оказался старый, вероятно восемнадцатого столетия, каких в этом парижском квартале много. Стояли мы перед ним несколько минут. «Вот мое окно, во втором этаже... сколько раз он тут у меня бывал», — тихо сказала Анна Андреевна, опять вспомнив Модильяни и будто силясь скрыть свое волнение».

Анна Андреевна Ахматова умерла в московской больнице год спустя, в 1966. Хоронили ее в Ленинграде. Хоронили как королеву. Непримируемая правдолюбка Надежда Мандельштам писала по этому поводу, что она лишь раз видела «человеческое лицо у социализма», вернее, человеческие лица при социализме:

«Траур носят живые по мертвым, а я только один раз видела живые лица в Петербурге-Ленинграде — в многотысячной толпе, хоронившей Ахматову и оцепившей сплошным кольцом церковь Николы Морского... Толпа была молодая — студенты сорвали занятия и пришли отдать последний долг последнему поэту. Изредка мелькали современницы Ахматовой в кокетливых петербургских отрепьях. Невская вода сохраняет кожу, и у старушек были нежные призрачные лица...»

Похоронили Ахматову в Комарове, где у нее была в годы ее старости дачка-«будка». Теперь вся петербургская элита мечтает быть похороненной на тенистом кладбище в

Комарове — поближе к Ахматовой. Экскурсионные автобусы останавливаются у дачного забора, и экскурсанты, благоговейно смолкая, смотрят на неприглядную казенную дачку.

Ахматова написала когда-то о петербургских аристократах минувшего столетия: «Про их великолепные дворцы и особняки говорят, здесь бывал Пушкин, или: здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому не интересно».

В шереметевском Фонтанном Доме, в бывшей квартире Пуниных, открыли музей Ахматовой. Ее трудно почувствовать в этих пустоватых комнатах роскошной чужой квартиры, где она жила по инерции, и по нужде. Она была бездомная скиталица, вечный бомж. Старушки-дежурные, праздно заполняющие коридор музея, шепчут растерянному посетителю: «А рисунок-то Модильяни видели? Во-от он...» Что ж, Модильяни — тоже ведь был бездомный, поди-ка сыщи в Париже его жилье. В старости она все поняла и, простив все, написала о своем молодом возлюбленном:

Этот тоже довольно горя  
И стыда и лиха хлебнул.

Но что пользы считаться горестями? Господь всех нас рассудит.

1996



Татьяна МУШАТ

## БОГИ ВНЕМЛЮТ

*Маленькие рассказы*

### Величие

Нас познакомил случай. Я пришла к ней в мастерскую и увидела полотно, где было бескрайнее яркое море, желтый корабль и на нем люди заняты своими, совсем будничными, делами — драят палубу, сушат рыбу. Эта картина совпала с навечно впечатанным в меня образом безмерного пространства и крошечного человека в нем, и все зазвенело воспоминаниями — горы, снежные пики вокруг и я, маленькая черточка почти на краю карниза. И только здесь, у нее в мастерской стало понятно, что это со стороны ты маленький, а море большое и горы громадные. А когда ты сам по себе и нет никого со стороны, то и ты большой и почти соизмерим с этой горой, которую хочешь покорить.

Да, ты большой и сильный. И чтобы узнать это, стоит идти в горы и в море.

## Шаман

Костер оживал и замирал по взмаху его руки. Искры казались глазами кого-то летящего. Стая то взмывала столбом, то пряталась в пламени. Шаман плясал. Может, он и не был настоящим шаманом. В наше время их трудно найти на Алтае. Скорей всего, он просто накурился травки или напился водки, чтобы помочь своей душе пообщаться с богами. Но боги явно внимали ему, потому что все вокруг было чудесно, жутко и значимо.

Он молил долго и неистово, а потом силы оставили его, и он упал. Костер погас почти тотчас. Ночная тишина придавила поляну.

## Уходящее время

От Новосибирска до Бийска, столицы Алтая, ночь езды поездом или день машиной. Мы ехали на машине до Бийска, а потом еще несколько часов по Чуйскому тракту до поселка. Там жил один интересный человек. Он месяца два как вышел из тюрьмы, отсидев три года не за кражу, нет, а за бригадный подряд. Было такое начинание. Оно показалось властям крамольным, хотя не имело в виду ничего, кроме маленькой самостоятельности, скорее, видимости самостоятельности на самой низшей ступени сложной экономической иерархии, подчиняющейся партийным законам. Потому и показалось. Потому и посадили. Но почему-то, все-таки, выпустили.

Автор этого начинания был очень милый, скромный человек. Его большой, светлый дом стоял излишне просторным — дочь за время отсутствия отца уехала жить в город, сын ушел в армию. Красота так и ломилась в дом. Внизу глухо ворчала Катунь.

Это было какое-то особенное место. Алтай, вообще, особенное место, там обостренно чувствуется покой, красота, вечность. И этот милый человек, конечно, чувствовал покой, красоту, вечность, но еще более остро он чувствовал уходящее время. Он боялся не успеть претворить свой

замысел, здраво прикинув, что если у него отнимут еще пару-тройку лет жизни, то можно и не успеть.

## Красное и черное

Пурпурный закат полыхал. Маковки церквей приглушенно сияли. Праздник-то был или не был? Может, и был, но постепенно вся эта красота затягивалась дымкой, затягивалась все сильнее от картины к картине. Он почуял опасность, как чуют ее звери. Она была растворена вокруг и к нему явилась в образе запретов и рекомендаций — этого писать нельзя, так писать нельзя, писать можно искрящегося радостью рабочего, в крайнем случае, колхозницу.

Писать картины с петлей на шее или не писать их с петлей на шее — одинаково опасно. Опасно стало жить. Неудержимо захотелось покончить с этим. Теперь десяток врачей и санбратьев услужливо боролись с двумя его желаниями — покончить с жизнью или продолжать жить, творя чудо.

Однажды к вечеру он кончил картину, где красно-черная мгла делила мир поровну. Красный был даже страшнее, чем черный. В черном могла бы спрятаться надежда. И выбросился из окна.

## Могущество

Он любил рисовать свою мастерскую. Мастерская днем, мастерская вечером, на закате, на восходе. Нет, мастерской на восходе не было, наверное, это было бы тусклое зрелище — огромные окна выходили на северо-запад. Его любимый цвет был красный. Он умел находить столько оттенков красного, что получалось от красного победного через красное спокойное к красному унылому. Он не мог изменить себе даже в картинах, которые делал «на панель» — в картине по заказу железнодорожников поезд только угадывался на изумление зрителей в красном клубящемся спрессованном воздухе.

Он был прекрасным представителем сибирской школы художников, далекой от признанных авторитетов. Картины покупались редко, вернее, никогда. Они плотно, рама к раме, стояли на полке вдоль всей мастерской, занавешенные белой шторой. Белый цвет здесь казался диссонансом. Он, будто, делил мир на живой и упокоенный. За шторой таилась светлая, светящаяся тишина. Картины стояли тихо, спокойно, сознавая свое могущество и собирая силы к тому, верно угаданному, моменту, когда настанет пора завоевывать мир.

### Под стук колес

Поезд изгибался, как собака, играющая со своим хвостом. Мы ехали в Саяны всего на два дня, просто покататься на лыжах в снежных горах. Наконец, после вокзальной неразберихи все нашли своих детей, сумки, лыжи, друг друга. Женщины в купе уже хлопотали с едой, которой оказалось столько, что можно было бы и не тратить время на катание, а только есть и есть, никуда не выходя. Мужчины оживленно хлопотали с бутылками. О! Этот прекрасный бесконечный ужин под стук колес. Часа через два-три оказалось, что в вагоне холодно. Вагон не отапливался. В нем была печка, уголь, но не было проводника. Забыли укомплектовать. Мамы закутывали детей, закутывались сами. Предстояла холодная ночь.

И только мой друг догадался, что надо делать. Он затопил печь. И топил всю ночь, подбрасывая уголь через каждый час. К семи утра поезд подкрался и встал в блестящем горном снежном царстве. В теплом вагоне все блаженно спали.

### Постамент

Это горное алтайское озеро называлось Ая. И озеро соответствовало своему имени — оно было таким же замкнутым совершенством. Мы приехали сюда накануне длинного четырехдневного майского праздника. Все склоны

сияли разноцветными подснежниками, в ложбинах еще лежал ярко-белый снег, а озеро изумрудно светилось.

На утро выпал свежий снег, переключив все вокруг и слегка изменив наши планы. Ближайшая деревня, в которую мы отправились, была тихой и мокрой. Дома стояли вольно, далеко друг от друга, огороды спускались к реке, везде было пусто. Мы вошли в первый понравившийся дом. Мокрая деревянная дверь надсадно зашкрякала, впуская. Хозяин едва приподнял голову от стола, за которым сидел и на котором стояла только миска с медом и сильно початая бутылка самогона. Из расковыренного меда торчало несколько деревянных ложек, видно, гости только что ушли. Деревня глухо гуляла. Впереди было еще три дня.

В последний праздничный день мы сидели на ступеньках чайной на главном тракте Алтая и ждали, безо всякой надежды на успех, какой-нибудь попутной машины. Старая, добрая, ничейная собака лежала рядом и лениво жевала беззубой пастью брошенные ей окаменелые конфеты, купленные в чайной. До нашего поезда оставалось меньше трех часов и больше двухсот километров. Вдруг сразу откуда-то появились мотоцикл с коляской и москвичонок. Впопыхах в коляску уложили женщину, которая почему-то боялась мотоциклов, закрыли ее чехлом, и мотоцикл рванул с места. Остальные шестеро разместились в машине. Через сотню километров машина въехала на дорожную развязку с громадной статуей Ленина в центре. На постаменте, между пудовыми ногами вождя стояла наша подруга, беспокойно озираясь вокруг и привлекая всеобщее внимание к необычной композиции. Оказывается, она выпала из коляски и теперь поджидала нас, точно не зная, с какой стороны ждать.

Как ни странно, поезд шел по расписанию. Но мы успели.

### Охотничий домик

Вертолет осторожно спускался. Поляна в тайге была небольшой, но удобной для посадки. Охотничий домик

стоял с краю. Из вертолета вышли трое и летчик. Летчик выгрузил груз, занес в дом — всевозможная одежда для охоты, еда, вино, пиво, оружие. Всего этого могло хватить на добрую дюжину на месяц житья. Три партийных босса, вдыхая медленно и смачно хвойный воздух и разминая ноги, прошли в дом. Охотничий домик был обшит полированным деревом, большое зеркало украшало лестницу на второй этаж. На полированном столе стояла солонка и блюдо с караваем черного хлеба. Дрова в печке и камине уже лежали, оставалось только поднести спичку. Летчик сделал это и, переминаясь у порога, ждал. Трое перекинулись быстрыми фразами, и один, повернувшись к нему, дал указание быть здесь через неделю в это же время дня. Летчик вышел и осторожно прикрыл за собой дверь. Тайга глухо шумела.

Через неделю вертолет вернулся. Охотничье снаряжение было собрано, стояло у двери домика и поверх всего лежали две олени головы с прекрасными рогами, большая и поменьше. Глаза их остекленело отражали последний миг жизни. Тайга шумела зловеще. Ветер усиливался. Летчик очень спешил.

## Две королевы

Он был большой начальник, а она — его самая большая любовь и жена. Ее дед был из разночинцев, интеллигент, учитель. Он принял революцию и продолжал учить детей все тем же вечным понятиям добра и зла, не замечая, насколько изменились эти понятия в новой жизни. В собственной семье его воспринимала только внучка, как-то очень удачно сочетая внушенные дедом понятия чести с реальными земными потребностями. Выйдя замуж, она спокойно взяла верх над мужем, и он с удовольствием подчинился ей.

Все богатства Сибири были брошены к ее ногам — горы и озера, драгоценные камни и дорогие меха. У дверей городского дома стояла служебная машина с шофером на случай, если ей захочется куда-то поехать. В маленькой бухточке рядом с летним двухэтажным домом стояла яхта. Они были

богаче любого миллионера, потому что государство платило за все. В этих бесчестных правилах они были честны.

Все сломалось вмиг. Другая женщина захотела иметь все это. И она увела его, получив в придачу горы и озера, драгоценные камни и дорогие меха. Она была честна в этих бесчестных правилах. Она и не знала, что есть какие-то другие. Она была моложе. И сирота.

## За крепостной стеной

Красноярские столбы — это горы. Идешь, идешь по плоскому полю и вдруг — скала высотой метров в шестьдесят, потом еще одна и еще, всего их не больше нескольких десятков. Наверное, устал в этот момент творения Бог и не было у него определенной идеи, что делать с этими глыбами. Так и остались они лежать в художественном беспорядке, украшая землю и развлекая туристов. Самую большую скалу называли Крепостью. Не верится, что ее естественные бойницы, стены, башни пустовали всегда. Так и кажется, что стоит залезть внутрь, как засвистят стрелы, а, может, пули, а может, все вместе, — и грянет бой. Но никогда не горел здесь бой. Сибири повезло, здесь было немного боев, только борьба за выживание.

Тишина и покой заливали пустые глазницы бойниц, и можно было сидеть часами за толстыми стенами крепости, отгородившись от повседневности. Мы сидели вместе с местным обходчиком, который работал недавно и еще не привык к красоте. До этого он и его жена прослужили лет десять на химическом заводе, теперь у нее была астма, а у него туберкулез. Сюда они приехали работать и лечиться воздухом и красотой. Красоты и воздуха было полно, не было еды. Мы встретились в мае. Самое время копать огород, сажать картошку. А он, как пацан, сидел в крепости, готовый защищаться от воображаемых врагов, и харкал кровью.

## Шеф

Погода была ужасная, настроение было прекрасное, по крайней мере, по двум причинам: кончался предпраздничный день перед Первым Мая, и наш начальник вернулся из командировки. Женщины и даже мужчины чистили свои рабочие столы, заросшие всякими бумагами, бумажками, заметками, справками, хранящимися со времен последней предновогодней чистки. Шефа ждали. Он появился в дверях с огромной охапкой красных тюльпанов, осторожно и торжественно держа их в объятиях. «Шеф, Вы оголили Казахскую Землю!» «Ну, нет, я себе никогда не позволю этого сделать!»

Он освободился от цветов и начал рассказывать о делах там, далеко на полигоне.

Гора тюльпанов лежала на столе. Слышно было, как раскрывались бутоны.

Он говорил, какой неудачный был пробный запуск ракеты, как она не подчинилась командам и развернулась в противоположном направлении, и все испугались, что она может упасть на командный пункт, но все обошлось, потому что они успели расстрелять ракету. Они успели расстрелять. Наверное, взорванная земля смешалась с красными тюльпанами.

Тюльпаны на столе были, как в огне, и несколько лепестков уже лежали на полу, догорая.

## Источник

Из существующих современных средств передвижения на длинные дистанции я бы выбрала поезд. Может, эта привязанность еще из детства, когда время казалось безграничным. А может, поезд и вправду хорошо, потому что достаточно медленно, чтобы рассмотреть красоту, и достаточно быстро, чтобы не разглядывать безобразия. И вот поезд везет нас по новой транссибирской магистрали — БАМу на Байкал. Конечно, уже нет в станционных буфетах омуля и кедровых орехов, и значительно меньше на полустанках приветливых женщин, торгующих малосольными

огурчиками, варенцом и пирожками с капустой, но все-таки поезд идет, и только лес, лес, лес вокруг, и можно постараться не замечать, как он обезображен.

Поездом, а потом катером мы добрались туда, куда почему-то хотели. Влекли подземные горячие ключи с целебной водой. Сказочная живая вода помогала от бесчисленных болезней, от любви и от других напастей. Испокон веков ее берегли, как последнюю надежду. Когда новая дорога подошла довольно близко, на месте этого воркующего источника пробурили скважину, и хлынувшая фонтаном вода смыла всякие надежды на спасение от чего бы то ни было в этом жадном, беспокойном мире. Первородный источник почти потерялся в образовавшемся грязном, заболоченном озерце и только иногда вдруг взбухал большими горячими пузырями, как будто страстно хотел внушить что-то не слушающим его людям.

## Бартер

Омуль водится только на Байкале. Эта рыба такая нежная, что даже до ближайшего потребителя всегда доходит с душком. Так вот омуль с душком — это деликатес на Байкале так же, как форель, только уж безо всякого душка, где-нибудь на озере Рица на Кавказе или алтайский таймень на Телецком озере. Рыба эта водилась в Байкале испокон веков и кормила весь регион. Даже современная цивилизация не окончательно вытравила ее, хотя значительно сократила уловы.

Стоило нам разбить палатки на берегу, как старая-престарая плоскодонка с навесным чихающим мотором приткнулась неподалеку. Двое коричневых от солнца и ветра мужчин терпеливо ждали заинтересованных. Полный мешок еще живого омуля шевелился на дне лодки. Рыба не продавалась. Только обменивалась. Бартер был правилом в этом краю, где деньги теряли свою цивилизованную номинальную стоимость.

Нынче рыба обменивалась на водку.

Не жизнь за жизнь, не жизнь за золото и не жизнь за веру, а рыба за водку. Весь мешок Отдавали за бутылку.

## Сны молодых

Сибирь звала к себе молодых проникновенным голосом любимой певицы.

Не то, что Сибири нужны были эти молодые, и не то, что молодым оченьуж нужна была именно Сибирь, а то, что ее несметные богатства казались властям такими доступными, что грех было их не взять. А брать необходимо руками молодых, тех, которым еще ничего не снится в их богатырских снах, а если и снится, то не Москва или Париж, а бог его знает что — какие-то голубые города, у которых и названия-то нет.

Вот тогда и появилась на шумном уголке нашего микрорайона жаровня, где день и вечер жарились шашлыки, распространяя пронзительный запах дыма, мяса, уксуса и лука. Сибирь приехали осваивать молодые армяне. Купола их голубых городов вздымались над крышами домов моего города на каждом рассвете и расплывались в багровых лучах заката, чтобы возникнуть завтра. До Ангары, куда их звали, было еще очень далеко. Ребята и не подозревали, что Сибирь такая большая. Да и зачем ехать куда-то еще, если и здесь много девушек, которым снится трудное счастье? Хорошо, что девушек предупредили, и они без иллюзий. Готовы к трудностям. В голубом ли городе, не в голубом...

А песни без устали все звали куда-то... навстречу утренней заре... вроде бы...

## Бригантина

Вы видели байкальские кораллы? Они похожи на капли густой запекшейся кровидикого животного.

В этом маленьком прибайкальском городке на новой железнодорожной трассе, куда нас забросила туристская судьба, был музей. Деревянное, довольно большое здание музея выделялось среди моря вагончиков-временок, которые постоянно стояли здесь с начала стройки. Кораллов в музее не оказалось, посетителей тоже. Там было тихо,

пахло свежевывмытыми деревянными полами и свеженарисованными картинами. Экскурсовод скучала непроходящей скукой от того, что нет посетителей, и вчера не было, и завтра не будет. И от того еще, что живет она в таком же вот вагончике с дочкой и старой матерью. И давно уж растаяла туманная мечта о какой-то новой жизни на берегу сказочного озера.

Пришла сюда дорога, оставила на обочине маленький городок, недостроенный и неприспособленный к жизни, лысый лес, вокзал и ушла дальше. Вокзал встречал и провожал, обещаю счастье. Он стоял, как Бригантина с поднятыми парусами, на фоне бескрайнего сурового озера с несметными богатствами. И казалось, что тащит эта Бригантина весь городок с вагончиками-временками и центральной улицей Ленина к обещанному светлому будущему, но нет попутного ветра, и команда устала, и люди изверились.

## Власть

Толпа напирала. Голова очереди протискивалась в двери магазина, ее тугие плечи подпирали стену, а хвост тянулся на квартал. В хвосте стояли только безнадежные оптимисты. Милиция отдыхала в безопасных местах, сдвинула свою работу, — она вписала эту стихию в русло. Возбуждение было так велико, что вдруг, когда двери магазина очередной раз откусили голову очереди, кто-то забрался на плечи соседа и побежал по плечам и головам как по земле.

В это время к магазину подъехала черная Волга. Из нее вышли двое, зашли в магазин через служебную дверь, затем вышли с двумя ящиками водки, на виду у всех поставили их в машину, развернулись и уехали.

Толпа не отреагировала на это никак. Только один старый дед с костылем, который, на всякий случай, стоял на некотором расстоянии и от толпы, и от машины, сочувственно сказал: «Ишь, тоже горло пересохло. Промочить надо-ть!»

## Разность культур

Джип стремительно вез нас по долине Ингури. Гравийная дорога петляла, как могла, иногда утолщаясь на случай, если кому-то вдруг захочется пропустить встречную машину. Назад лучше было не смотреть, потому что заднее правое колесо нашей машины катилось по самому краю, сбрасывая камушки в пропасть. Вперед тоже лучше было не смотреть, потому что шофер-кавказец был в очень хорошем настроении — он громко пел, отбивая такт одной рукой по ветровому стеклу или по крыше, а иногда даже выпрыгивал из машины, не отпуская при этом руля, как наездник поведов.

Мы добрались до турбазы в Местиа — форпоста европейских взаимоотношений полов на братской кавказской земле, окатились холодным душем, построенном на площадке над игривым потоком Ингури, только потом заметив, что из всех щелей торчат глаза подрастающих кавказцев, и провалились в сон.

Утро было необыкновенно. Прямоугольные сванские башни высотой метров десять-двенадцать, казалось, составляли город. Глаз ловил только их, опуская все остальное. Эти башни неприступно стояли так несколько веков и никогда бы никому не сдались, если бы дело было только в них. Поджарые пятнистые серые свиньи носились по узким улочкам, как собаки, и, казалось, ели камни.

Мы забрели в какую-то столовую. Еды не было, только истекающие соком помидоры и полусладкое кавказское вино Саэро. За стеной пел непередаваемо прекрасный мужской грузинский хор. Наши мужчины стали подпевать, восточное гостеприимство одарило нас двумя бутылками Саэро, потом еще передали от их стола нашему столу, и еще, и еще. Потом компании соединились, и когда надо было вставать и уходить, выяснилось, что ноги не идут. Нас довели до турбазы, меня — до двери женской спальни.

Плохо соображая, я все-таки поняла, что на турбазе чп. Две изнасилованные девушки, доставленные скорой помощью, лежали навзничь на белоснежных кроватях и с подушками между ног. Их пригласили, они согласились и поехали

на шашлык куда-то неподалеку. Виноватых трудно было найти, даже если бы их и искали. Но у наших новых знакомых было алиби — они всю вторую половину дня и весь вечер пели вместе с нами. Невозможно же так прекрасно петь и насиловать. Или возможно? Или это не насилие, а разность культур?

## Мужские игры

Пассажирский самолет Москва-Ташкент шел без посадок. Двое, вооруженных, вошли в кабину самолета, когда он летел над Уралом, и предъявили ультиматум. Еще двое были в салонах. Они требовали, чтобы на посадке в Ташкенте им дали валюту в обмен на жизни пассажиров и разрешили лететь дальше. Радист все передал на землю. До посадки оставалось около двух часов.

Интеллектуальный центр службы безопасности авиации работал с интенсивностью хорошей ЭВМ. За оставшееся время надо было разработать вариант и отрепетировать его с отрядом особого назначения. Командир корабля получил приказ — сказать террористам, что требования будут удовлетворены и, сверх этого, самолет дозаправят горючим. Условия были приняты обеими сторонами.

Самолет сел. Одинокая заправочная машина с горючим не быстро катила к самолету. Она шла точно в лоб, по той линии, с которой ее можно было видеть только из кабины летчика, причем видеть только ее нос. Вся группа захвата сидела сзади. Машина вошла под брюхо самолета, в «мертвую зону». В это же время двое, в штатском, четким военным шагом на виду у всех пересекали летное поле, направляясь к двери первого салона, как было договорено. Они несли деньги. Подошли. Дверь приоткрылась. И в эту же секунду брошенные снизу железные крючья с тросами вонзились в пол. Группа захвата действовала молниеносно. Стрельбы почти не было. Не понадобились бронезилеты, одетые под штатские костюмы парламентариев. Всего лишь одну женщину ранило, да еще двое-трое впали в истерику. Женщины всегда все портят в мужских играх.

### Альпинистка

Раиса никогда и не собиралась в альплагерь. Просто в профкоме ей выделили горящую путевку в какой-то Варзоб на Памире, уверенные, что предлагают курорт. И вообще все считали, что ей крупно повезло — бесплатно на курорт, да еще на Памире, вот уж где будет много мужиков-азиатов, может, и она кого найдет.

Она поняла, что ошиблась, как приехала. Только горы, горы вокруг, казавшиеся особенно мрачными там, где стоял лагерь. И ни тебе ни музыки, ни песен, ни массовика-затейника. Выдали ей туристские ботинки с триконями и штормовой костюм, под который она надела платице похуже, потому что в ее громадном фанерном, наверно, бабушкином чемодане, набитом нарядами, спортивного белья не было, и начались ее страдания.

Раннее хмурое утро обернулось снегопадом. Туча накрыла склон. Каждый очередной спускающийся вспарывал ее снова и снова. Снег валил, не переставая. Где был конец склона — неизвестно, начало — прямо здесь, у тебя под ногами. Надо было прыгать в тучу, как парашютисту, и вниз, вниз, с бешеной скоростью вниз. Группа отработывала скоростной глассерный спуск — спуск на ногах и на ледорубе. Опираешься на ледоруб — и можно управлять движением, можно остановиться при необходимости, быстро вытащив его из снега и, развернув другим концом, врубить в снег лопаточкой.

— Зарубайся!!! — заорал инструктор, увидев Раису на исходном рубеже прямо перед собой. — Зарубайся, мать твою...!!!

Обезумевшая Раиса подняла обеими руками ледоруб и плашмя свалилась на склон. Ледоруб просвистел над ухом инструктора. Тот отскочил и понесся вниз, страхуя покатившееся безвольное Раисино тело. Все остальные ринулись вниз со свистом и гиканьем, будто стихия пробудила в каждом вольную волю и спавшую удаль.

### Лекарь Бутейко

Он учил не дышать. Не то, чтобы совсем не дышать, а почти совсем. И еще не есть. Не то, чтобы совсем, а не есть

животных белков. Это был его научно обоснованный метод лечения астмы, а попутно еще десятка болезней. Метод лечения был так прост и казался настолько парадоксальным, что официальная медицина последнего десятилетия двадцатого века предпочла его запретить. Его куда-то не сослали, он и так жил в Сибири. А работы лишили. Но люди шли и шли к нему. И слава о нем шла и шла.

Однажды к нему на лечение из Москвы приехала жена высокопоставленного мужа. Он лечил ее, как и других, вполне успешно. Через неделю она вернулась домой практически здоровой, но привычная домашняя роскошь и министерский холодильник, набитый рыбой и мясом, совратили ее. Она заболела опять, обвинив в этом лекаря — Бутейко. Громы и молнии бесновались у него над головой. Но что можно взять у человека, если у него нет ничего? Жизнь? Ну, на это никто не решился. Все-таки, последнее десятилетие двадцатого века.

### Безалкогольная свадьба

Свадьба гуляла. Длинный стол буквой П был завален снедью. Всевозможные салаты, мясо, всякие пироги, яблоки и много-много графинов с красным, вероятно, клюквенным соком плотно стояли вдоль стола. Свадьба была объявлена безалкогольной. По этому поводу на свадьбу приехало ТВ. Но, наверно, именно потому, что свадьба была задумана, как безалкогольная, все гости подстраховались и принесли с собой по паре бутылочек. В общем, к тому моменту, когда ТВ расположилось вести репортаж, в зале не было ни одного трезвого. Маленький оркестрик играл громко и весело, но вместо танцев получилась драка. Вызвали дружину общественного порядка. Ктому времени, когда приехали дружинники, потерялась невеста. Жених тщетно искал ее.

Невеста нашлась примерно через час в подвале дома с другим парнем. Ее подвенечное белое платье было безукоризненно чистым, только фата валялась в грязном темном углу.

Эта ситуация выходила за рамки обязанностей дружинников, и они ушли, прихватив с собой парня и оставив новую семью разбираться со своими проблемами.

Праздник близился к концу.

## Мумие

Азиатский базар сверкал красками, звенел голосами, дурманил запахами. Наверное, только он один сидел неподвижно, с застывшим во всем облике чувством наивысочайшего собственного достоинства. Он продавал мумие.

Мумие — это не товар, не продукт, это — сгусток фантазии, это — голоса предков, дошедшие до нас в таком материализованном виде, это их воля к жизни, спрессованная в вещество.

Именно поэтому оно помогает людям. Помогает не только излечиваться от недугов, оно заряжает их вечным желанием жить.

Старый продавец знал это. Он, вообще, не торговал. Он даровал людям силу. Правда, за деньги.

## Толпа

Толпа молчала. Молчание было не угрюмое и не безразличное, скорее, насмешливое. Яркий майский день обещал радость. Ораторы, в который уж раз, доказывали вину евреям. Вожди — и Ленин, и Сталин — евреи. Вся разница в том, что мать Ленина — выкrest и приняла католичество, а Сталин — чистый грузинский еврей, и уже за одно за это их надо было давно уничтожить. Революцию сделали евреи, и за одно это она ненавистна. В магазинах ничего нет, потому что евреи со складов все растащили по домам. Надо бы проследить, где эти дома, и навести там порядок.

Толпа внимала тихо, но ее настроение ощутимо менялось. И правда, в магазине пусто. Чтобы достать хоть что-нибудь,

надо столько сил потратить, перекупить, перепродать, угождать. Да, правда, стоят в этой цепочке и евреи... и не евреи... Если убрать евреев, может... А оратор уж и адреса говорит, где евреи живут... да и близко отсюда... Вот если бы всем миром пойти...

Толпа волновалась. Но следующий оратор опять начал про то, что Ленин — масон и что в магазинах пусто. Толпа ждала запала. Блестел яркий майский день, и неподалеку играл духовой оркестр. Следующим утром я смыла с двери появившуюся за ночь шестиконечную звезду.

## Беседа

В этом здании я была впервые. Как-то бог миловал. Сейчас меня вызвали по поводу инцидента в нашей тургруппе. Группа должна была лететь в Югославию ночным рейсом из московского аэропорта. Оставалось полтора часа до вылета, час — а заказанного и оплаченного автобуса в аэропорт не было, 45 минут, 40. Наконец! Появляется автобус, шофер объявляет: «Имейте в виду, трешка с носа!» В тот момент он мог просить и пятерку — выбора не было. Я думаю, что об этом в КГБ узнали не от осведомителя, который был в нашей группе, как и в любой другой, отъезжающей за границу. Шофер не опасался осведомителя, наверное, эти финансовые операции были заранее оговорены. В группе нашелся борец за правду. Он написал жалобу. Теперь ее проверяли.

Кабинет был обычный, небольшой. Приятный молодой человек в штатском. Приятная беседа — как трудно учиться, особенно работать и учиться, да и учить, наверное, трудно вечерами, как приятно, что такие интересные преподаватели работают со взрослыми студентами, студенты могут так много почерпнуть. А кстати, о чем преподаватели предпочитают говорить со студентами? О нет, не только на лекциях... Прийти послушать? О, Вы и экономические трудности обсуждаете? А скажите, ... И в это время как-то очень громко щелкнул выключатель потайного магнитофона — беседа непредвиденно затянута.

## Умер Сталин

Рыдала медь, стонали скрипки. Бессловесный плач затопил страну. Умер, умер, умер... Что же дальше делать? Как жить?

Почему день и солнце? Не надо солнца — Он умер! Зачем в доме готовят еду? Как они могут думать о еде, когда умер Он! Как же врачи допустили это? Может, опять врачи-вредители? Правда, недавно один парень сказал мне под строгим секретом, что не было врачей-вредителей, а были врачи-евреи, и если бы мы жили не в Сибири, а в Москве, например, то мою мать уже давно бы забрали, потому что она врач и еврейка. Он заставил меня поклясться под салютом всех вождей, что я никогда никому этого не скажу. Не верю я ему. Все равно, кто-то же не доглядел? А вдруг теперь опять война? Ведь только Он мог держать границы на замке. А как же с искусством? Вдруг оно все станет космополитическим?

Он умер. Нет на земле счастья. Никто не вечен, даже вожди. А может, Он, все-таки, не умер? Может, его сердце разбилось на миллионы осколков и проникло в каждого из нас, заставляя каждого помнить о Нем до скончания своего века? Как Снежная Королева из сказки Андерсена заставила Кая помнить вечно только ее. Как же мне не стыдно так думать? Снежная Королева — это же воплощение зла.

Что же теперь с нами будет?

## Ночные страсти

На тускло освещенной площади перед метро толпа будто пульсировала. Она то набухала, то таяла, втягиваясь в темные колодцы улиц. Фонари не горели — в городе третий или четвертый месяц шел месячник по экономии электроэнергии.

Я возвращалась с вечерней работы. Мои каблучки слишком громко цокали по асфальту, и я невольно приостанавливалась перед каждым деревом, чтобы прислушаться, — стоит за ним кто-то или нет. Я не сразу обратила внимание

на то, что сбоку от меня, почти рядом, по стенам домов идет моя тень. Тень была очень симпатичная. Она перепрыгивала с дома на дом, ложась на дальние деревья между домами и вырастая тогда до гигантских размеров, так мы шли не меньше квартала, пока я сообразила, что с другого боку, по дороге, с моей скоростью движется многотонный МАЗ — я притормаживаю, притормаживает он, я убыстряю шаг — он набирает скорость. Так. Спокойно. Пока шофер в машине — он мне не страшен. На всякий случай, я сняла туфли. Так мы прошли еще квартал. Теперь, чтобы попасть домой, мне надо было пересечь улицу. И я пошла. Машина затормозила, безжалостно осветив меня в упор, помедлила, будто сообщая, затем быстро, со стоном развернулась на пустой ночной дороге и рванула обратно. Непрошенное эскортирование закончилось благополучно.

## Жизненные ритмы

Растопыренные ветви обледеневших деревьев царапались в окна. Большие черные окна тянулись вдоль широкого длинного ярко-белого коридора, отделяя белый ночной мир от остального, черного. В белом было тепло. В черном — холодно, тревожно и беспредельно. Там, в нем, что-то происходило — там трещал мороз, дул ветер, жили миллионы людей, летал первый спутник, подмигивая красным, да мало ли что еще... Этот ночной многоликий мир мохнатым неуклюжим зверем лежал за окном, плотно прижимаясь к стеклу одним из своих любопытно-безразличных ликом.

Но здесь, в коридоре, никого нет, кроме меня, и смотреть нечего. Потому и окна не закрашены. Они только в родилке закрашены наполовину, чтобы даже самые высокие любопытные не смогли бы ничего подглядеть. Да пусть глядят, если интересно.

Вот уж и гимн кончился. Смолкло безустально руководящее радио. Наступила стеклянная тишина, готовая треснуть от любого крика.

— Ой, как больно... Ой, а-а-а... Я уже рожаю?

— Кричи, милая, кричи... рожаешь... Помогай ребеночку, красавица, помогай... Видишь, он в мир просится...

— А-а-а-а....

— А смотри-ка ты, какую девочку сделала! Не девочка — конфетка.

Тишина пришла внутрь меня. Теперь она была мягкая и баюкающая. Правда, холодно сверху и мокро под спиной. Это моя кровь.

Где-то глухо радио снова заиграло гимн. Ночь прошла. Скоро рассвет и дочкин день рождения.

### Одиночки

Берите, берите все, что хотите! Вишню, сливу, грушу, да все, что хотите! Мне теперь ничего не жалко. Может, вам удастся сохранить. Берите!

Мы стояли в весеннем, почти райском саду, и большой добрый дядя, старый садовод-селекционер раздавал свои богатства и плакал. Его дед, отец, брат, он сам растили этот сад в зоне рискованного земледелия на Алтае, в долине Катуня. Горы, фиолетовые от цветущего багульника, бережно хранили вверенное им богатство. Катунь, шаловливо играя пудовыми камнями, ласково поила каждое деревце. Сад благодарно плодоносил.

Где-то наверху, в каких-то кабинетах было решено строить гидростанцию на Катуня. Вода, по плану, должна была затопить сад и еще тысячи километров земли и красоты. Зачем? Чтобы люди имели работу, деньги. А что покупать на деньги? Где хлеб, яблоки, гармония? Затоплены. И кто же будет оплакивать их? Алтайцы? О, нет, алтайцев давно споили, извели, рассеяли. Кто же? Пришлые? Нет, им не жалко. Кто же тогда? Одиночки?

Да, одиночки. И не оплакивать — спасать. Бороться с противником, который в кабинете, и который рядом, и который в тебе самом. Союзников почти нет. Ты сам себе противник. Говорят, побеждает сильнейший.

### Ах, этот плеск черной волны...

Южная кавказская майская ночь заливалась цикадами.

Мириады светлячков делали ее фантастической. Море ласково лизало ноги и шуршало галькой, откатываясь. Свидание на берегу явно затягивалось. А все ночь — волшебница. Женщина поздно поняла, что свидание это перешагнуло за тучерту, за которой опасно. Время от времени по морю и по берегу шарил пограничный прожектор, и попасть в их свет тоже было опасно. Неподалеку высился, скорее, угадывался в темноте забор дачи Хрущева. Может, к нему? К забору? А вдруг там просто начнут стрелять? Или собаки?

Парень-кавказец злился все сильнее. Женщина вела себя не так, как надо бы. Когда, казалось, все было переговорено, и настало время переходить от слов к делу, она заартачилась. Он знал ее довольно долго, почти неделю, и она ему нравилась, ну так что из того? Не отпускать же ее просто так, не солоно хлебавши.

А женщина заупрямилась не на шутку. Он так устал с ней, что всякое желание прошло, зато злости прибавилось. Ну, погоди...

— Послушай, — дрожащим шепотом заговорила она опять, — вот будет у тебя дочь, вырастет, станет красивой, и однажды мужчина захочет ее, уведет, изнасилует, бросит... Ты хочешь такого?

Рука кавказца медленно разжалась.

— Иди отсюда. Никогда не ходи ни с кем по ночам. И никому не говори, что я отпустил тебя. Поняла? Никогда никому. Дура, куда идешь? — почти в полный голос крикнул он и тут же зашептал, — там же гебешники. Вот они-то не отпустят, точно.

Она разбудила в нем жалость, мужскую жалость. Теперь он заботился о том, чтобы чужая бесчувственная грубость не перечеркнула его поступок.

### Осенний сезон в Сочи

В Сочи стоял золотой сентябрьский сезон. В санаторий она попала впервые. Лечить ей было, слава Богу, нечего, и

врач прописал греблю, массаж, кислородный коктейль и прогулки. Она недоуменно держала стакан с кислородным коктейлем, не зная, что делать с этой белой воздушной безвкусной массой, когда он подошел к ней с кроссвордом и с вопросом:

— Вы не знаете, как пишется Руссо по-французски?

Она тут же оценила вопрос — ни отказать, ни ответить. Так завязалось знакомство, тип курортного романа с цветами, луной, ресторанами, разговорами, разговорами, явным взаимным интересом и симпатией.

— Ты как-то не признаешь силу секса. Хочешь — не хочешь, а он уже действует и диктует. Совсем не важно, дошло или нет до этой его наиболее известной стадии. Ну пусть, нет. Ты же все равно уже изменила мысленно...

— Это не измена. Есть границы... Кто-то внушил их мне... нам...

— Вот тебе бы разочек посмотреть, что делается на дачах Брежнева...

— А ты как там очутился?

— С космонавтами. Их у нас уважают...

— И что там?

— Да не плохо. Перворазрядный бардак. После этого хочется в церковь, отмолиться за всех...

— Скажи, в синагогу...

— Нет, в синагогу бесполезно. Там грехи не замолишь, согрешил — живи с этим, в общем, сам думай, как выкрутиться. А в церкви покаешься, Бог, может, и простит. И чтоб еще хор — басы и тенора. Чтоб дух работал, пока плоть отдыхает. Но вот в церковь-то мне ни по каким статьям нельзя. А право, жаль...

## На сеновале

Любовь качала его на своих качелях. Она не оставила в голове ни одной мысли, не оставила в теле ни одного желания, кроме желания делать любовь. Когда-то, давно, он слышал, что любовь, вроде бы, правит миром, но никогда не предполагал, что это может относиться лично к нему. Он

считал себя стойким парнем и был уверен, что и в этот раз ничего бы не случилось, если бы его направили в другой колхоз или ее — в другой. Но заводское начальство направило в один и тот же. И страсть, вспыхнувшая под покровом серых колхозных буден, опалила их.

Они встречались на сеновале, до верху набитом свежим пахучим сеном. Сено пружинило и сильно кололось под их телами, возвращая из небытия к реальным ощущениям.

Любовь не долго была секретом. Первым о ней узнал владелец сеновала. Начал кричать, позорить, требовать возместить убытки. Быстро проскочил дождливый сентябрь. Они вернулись в город. У него в городе была жена, у нее — муж. И у обоих теперь — возбужденная их любовью общест-венность.

— Можете не верить, конечно, но мне как-то сразу показало-сь, что тут кое-что созревает...

— Так что ж вы их в один колхоз отправили?

— Ну, знаете ли. Я выполнял разнарядку.

## Очередь

Люди двигались строго в порядке живой очереди.

Лица, серые в утреннем свете, стояли безмолвно и отрешенно. В основном, стояли пожилые — бабушки и дедушки, которые отстояли свое двадцать-двадцать пять лет назад и верили, что такое не повторится. Вот. Повторилось. Опять их поставили к стенке в очередь за хлебом. По булке в руки и по полкило манки на ребенка.

Что ж происходит? Со всех трибун говорят, что страна начала битву за новый урожай. Где ж урожай? Потеряли в битве? Вчера еще было изобилие, а сегодня почти голод. Первая очередь, неожиданная для нас, набухла погожим сентябрьским утром у тихого углового хлебного магазинчика, пропахшего хлебной корочкой, и появлялась потом каждое утро в течение полугода.

— Да забыли они про урожай. Власть делят.

— Да что ты, милоч. Не серди свое сердце. Власть есть власть. Грех жаловаться-то. Это еще не голод. Вон на

производстве муки по три кило в руки дают. Можно оладушек напечь. А вот раньше-то и вправду голод был, — вспоминал раздумчиво кто-нибудь из стариков, вгоняя мысль в порочный круг, из которого, казалось, нет выхода. Так было, так будет. Бог терпел и нам велел.

## Памир

Ферганская долина распласталась под палящим солнцем. Маленький автобус с пассажирами из Самарканда карабкался вверх по долине. Он шел со скоростью 15—20 километров в час, громяхая всем, чем можно. Капот машины был открыт, и шофер заливал воду в радиатор при всяком удобном случае. Вода мгновенно испарялась. Часа в три-четыре, когда жара стала нестерпимой, автобус сердито расчихался и остановился. Он, похоже, встал, как лошадь, привыкшая к своему месту.

Придорожная чайная-чайхана показалась раем. Резная тень от нескольких акаций. Клетки с птицами, висящие на деревьях и прикрытые цветными темными платками, чтоб птицы могли спокойно петь, не стесняясь посетителей. Ручей, а может, арык, где вода почти стояла, но все-таки помаленьку текла и слегка шевелила шерсть на хвосте собаки, которая плашмя неподвижно лежала в воде, как мертвая. Мы получили по заварному чайнику с крышкой, привязанной веревочкой к ручке, с въевшимся в его стенки травным пахучим настоем, и казалось, ничего больше от жизни не надо. Уже все забыли, что чайханщик не помыл пиалы перед тем, как дать их нам, а просто побултыхал туда-сюда в тазу с коричневой водой. Уже никто не обращал внимания на собаку в ручье, из которого чайханщик время от времени черпал воду на чай. Чай был божественный. Пот тек по спине, по животу, повсюду, а пить хотелось еще и еще.

Мы просидели часа полтора. Все вокруг будто погрузились в сон. Собака, правда, раз или два подняла морду, да наряд милиции проверил наш багаж в автобусе на случай, не везем ли мы опиумного мака.

## Нерушимый союз

Эта маленькая речка была притоком Оби, и там, где она втекала, ровно сто лет назад возник город, а силу набрал уж после войны. И всегда крутые берега речки были густо заселены. Дома стояли террасами, и туалеты верхних домов почти висели над двориками нижестоящих. Городское начальство распорядилось проделать громадную работу — завести речку в трубу и замывать песком русло. Народ постепенно переселяли. Речку одевали в металл и гранит. Насос днем и ночью сосал песок со дна Оби и выплевывал в речкино русло. Затем привезли рабочих — целый лагерь заключенных, огородили в несколько рядов проволокой, поставили по углам ограды вышки с часовыми. Началась стройка.

Начали с Обкома Партии. На отделку дома шел прекрасный, бесценный алтайский мрамор. Дом был восемь этажей вверх и почти столько же вниз, под землю. Правда, о подземных мало кто знал. Затем, почти напротив, окна в окна, выросло здание КГБ. Пять этажей вверх было видно, про подземные этажи никто не спрашивал и никто не рассказывал. В каждом из нас круглосуточно нес службу свой собственный часовой.



Григорий МАРК

## РИФМАМИ ОСТРИЖЕННЫЕ СТРОЧКИ

### Пульсирующий Петербург

Много лет назад один знакомый безумец брался по сочетанию имени и фамилии и в соответствии со своей теорией сказать о человеке буквально все. Поскольку сам он промышлял как поэт и живописец, то определял, в основном, художественные перспективы человека. Вот попался бы ему автор сборника стихов «Среди вещей и голосов» Григорий Марк...

Евангелие от Марка, но это ради красного словца, а на самом деле — по соседствующему с Евангелием и по образам, толпящимся в книге, — Откровение, где проступающий небесный Петербург или явление Зверя прямо указывает на апокалипсис... И впрямь — имперский город, багрово-граненый, конь и змея, кони и змеи, кони, в грозных ассоциациях забредающие в Откровение — «Так видел я в видении коней и на них

всадников...», и змеи, мирно сползающие на аптечные вывески...

То есть, помимо вневременного, точнее — всевременного Города, — конкретно пульсирующий Петербург-Ленинград-Петербург, с физиологией, просвечивающей сквозь ребра решеток, город ампул белого света метро, труб и отверстий в земле, из которых выбредают люди, страшноватые, филоновские, черно-желтой, в электрическом сиянии воды, заскорюзный, саднящий, с интенсивным и ядовитым пейзажем...

Григорий Марк — сквозь черепную коробку и позвоночный столб пропускает этот город.

Горечь, арки, гремучая смесь, гремучая и горемычная... Гравер в прошлом (первая книга «Гравер»), ныне скорее каменщик, гранильщик, скульптор слова, по его собственному похвальному, но несправедливому определению — бумагомарака Григорий Марк, — вполне вписывается в теорию моего безумца, более того — оправдывает ее как теорию вполне здравую, если ею воспользоваться вышеприведенным образом.

*Владимир Гандельсман*

На тоненьких шпилях текучих  
Висят над Невой корабли.  
Как жук, на поверхности тучи  
Спит Бронзовый Всадник вдали.

Собор Атеизма Казанский  
По купол закутался в сон.  
Ритмичная тяжесть пространства  
Спит в чередованьи колонн.

На красном столпе черной тенью  
Спит ангел, сошедший с небес,  
Спасением от наважденья  
Над площадью выставив крест.

Под пленкою слизи Балтийской  
Уснули машины в дворах.  
В бескрайней равнине российской  
Спит город святого Петра.

Спят эки, начальники, судьи,  
Дивизии русских солдат,  
Смертельно уставшие люди  
На жестких кроватях храпят.

Как будто бы в анабиозе  
Спят вот уже семьдесят лет  
Живые личинки в морозной  
Покинутой Богом земле.

*19-20 янв. 1993*

Над каналом храм языческий  
Весь в пупырышках дождя.  
Спит в сиянии электрическом  
Черно-желтая вода.

Тряпкой пестрою, кровавою,  
Обмотав кресты свои,  
Над водою желтой плавает  
Церковь Спаса-на-Крови.

Купола висят в прострации,  
Чуть качаясь на ветру.  
Льется с неба радиация  
Сквозь озонную дыру.

Кто-то спит на мокрых ящиках,  
Кто-то кается в грехах.  
И гуляет в рваном плащике  
Автор этого стиха.

*Янв. 1993*

Прокручивая сны свои назад,  
я заставаю в кадре, где луна  
сквозь дырку в туче освещает сад.  
И женщина внизу у края сна  
качаясь, в позе лотоса сидит.  
Пять пальцев одинаковой длины  
как белый веер на ее груди  
шевелятся в сиянии луны.

Из раковин ушных ручьи текут  
живого пота, разъедая кожу.  
Под шеей слившись в волокнистый жгут,  
уходят в треугольное межножье...  
Подрагивают брови на сосках,  
напудренных толчеными костями.  
Глубокий шрам пробора в волосах,  
пульсирует неровными толчками.

Кусок луны над головой ее  
обернут в тучу, словно в черный саван.  
Она на древнем языке поет,  
воздевши к нему оба глаза правых.  
И не уйти... как будто у меня  
все тело распадается на части.  
Я знаю: женщина у края сна  
чудовищною обладает властью.

*18-19 янв. 1995*

«Чудище обло, озорно,  
стозевно и лаяй»  
Третьяковский, «Телемахида»

Колонны дворцов изогнулись  
и стали похожими сразу  
на ребра огромных рептилий...  
Сквозь мясо пригревшихся улиц  
ростками живых метастазов  
трамвайные рельсы змеились...

Заштопывал рваные тучи  
сияющими проводами  
над крышами ветер со свистом...  
Рептилии улицтягучих  
под солнцем свивались клубками  
и кожей дрожали пятнистой...

Толпа ожидала покорно  
в приемной тюрьмы на Шпалерной,  
как очередь в кассу вокзала...  
И чудище обло, озорно,  
и лай к тому же стозевно,  
живьем человечков глотало.

*18 мая, 1995*

Стихи мои как витражей кусочки  
сияют только отраженным светом,  
дробятся на колючие предметы,  
на сотни фраз, срифмованных неточно,  
осколки строчек, мыслей, разговоров...

А в том стихотвореньи, на котором  
стоит весь мир, всего четыре строчки.

*20 мая 1995*

## Иерусалим

Лохмотья крикливых базаров  
и запах лимонов прогнивших  
разбросаны по тротуарам.  
Горячие, плоские крыши,  
текущие солнцем и потом,  
прорезали лысые горы.  
Царица евреев Суббота  
вступает в сияющий город.

Все небо сгибается плавно  
как свод синагоги, и снова  
под ним в колыбели из камня  
качается Божие слово.

*13 июня 1995*

Чужая изба под Москвою.  
На бревнах узоры из влаги.  
Я сплю за столом, с головою  
зарывшись в листочки бумаги.

В окошке над облаком белым  
Луна сторожит мое тело.

К утру, перед самым рассветом  
стук двери, как выстрел над ухом  
игрушечного пистолета.  
Взлетают багровые мухи,  
и сон появляется сразу  
в тельняшке, забрызганной грязью.

Сияя пустыми зрачками,  
ко мне он подходит вплотную,  
заносит топор над стихами...  
И буквы бегут врассыпную.

Так чуткое стадо животных  
оттени бежит самолетной.

Чернильная струйка живая  
течет из виска по листочкам,  
бесшумно в стихах расплываясь.  
Боль входит сквозь столб позвоночный.  
И я просыпаюсь. Несмело  
душа возвращается в тело.  
Петух разрывает завесу  
из слипшихся звезд и рассвета  
над зубчатым контуром леса.  
Окно наполняется светом.

Изба оживает. Спросонок  
кричит за стеною ребенок.  
Хозяин, весь солнцем пронизан,  
в тельняшке идет через двор.  
Куриною кровью забрызган  
наточенный остро топор.  
И мухи багровые роем  
кружат над его головою.

*Июль 1995*

...И все меньше, и меньше  
людей различаю.  
Иногда лишь пространство  
вдруг вспучится новым  
говорящим лицом.  
Я впопад отвечаю.  
Повторяю готовые  
фразы и снова  
собеседник мой чувствует:  
что-то неладно.  
Через пару минут  
наступает молчанье.  
И лицо его медленно  
тонет в тумане  
как в плохом кинофильме  
последние кадры.

Я не знаю, когда  
это было со мною,  
год назад или завтра...  
Да мне и неважно.  
Все затянуто скользкою  
пленкой сплошною.  
Только звук остается  
щемящий, протяжный.

*24 августа, 1995*

Как мост над одиночеством — стихи.  
Жизнь превратилась в буквы на листочках,  
в словах овеществленные грехи  
И рифмами остриженные строчки.

В чужую жизнь овеществленных слов  
мой карандаш ныряет наудачу...  
Я написал уже пятьсот стихов,  
когда вдруг вспомнил, что писать не начал.

*13-14 сентября, 1995*

Городок на окраине мира. Больница.  
Отражение мое за оконным стеклом.  
В нем бесшумно сквозь волосы время струится,  
анолируя голову мне серебром.

Весьсоставлен лекарствами маленький столик.  
Белизна расплзается по простыням.  
Белый цвет хорошо помогает от боли.  
Видно, тело мое забывает меня.

*26 сентября, 1995*

Я иду рано утром со свечкой по льду.  
Шапка мокрого снега на голову давит.  
Залепило очки и примерзли к оправе  
две надбровных дуги. Я упрямо бреду  
сквозь кружение снежинок, пропитанных кровью.  
И чужие слова бормочу на ходу,  
коченея от холода в белом бреду.

*11 ноября, 1995*

## Памяти Великой Коммуналки

На кухне шла дуэль на сковородках.  
Сражались молча. В адской темноте  
звенел металл, мелькали папилютки,  
огонь конфорок бился между тел.  
А за стеной соседи пили водку.  
И мыслящий камыш вовсю шумел.

По коридору шастали старухи,  
расталкивали потных мужиков.  
И матерок, пропахший русским духом  
рыгалий праздничных, осипших голосов,  
перетекал ко мне в воронку уха  
настырную мелодией без слов.

Наполненные вещной теплотою,  
брели по дому запахи гуськом,  
родной кораблик плавал на обоях...  
все это повторялось день за днем.  
Среди жильцов, обиженных судьбою,  
тянулось детство длинное мое.

По всей земле в таких же вот квартирах  
ютились те же люди. Мы росли  
все вместе в тесной коммуналке мира.  
И квартуполномоченный Земли,  
усатый человек в простом мундире  
распределял дежурства и рубли.

5 декабря, 1995



*Владимир ДОБИН*

## ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ СЛЫШУ ГОЛОСА

### Россия

Взгляд осторожный,  
искоса,  
острожный...  
Доколе мне считать ее своей?  
Не хватит ли?  
Я там полжизни прожил,  
еще полжизни мне прощаться с ней?

Как пасынок, хотя бы и любимый,  
я вглядывался в милое лицо.  
Как, разве эта рознь непобедима?  
Как, разве рук не сцеплено кольцо?  
И как же все, что я считал родимым  
(ну пусть не я, а тот, другой, еврей)  
для нас вдруг обернулось черным дымом  
и багажом, и хлопаньем дверей?

И вот она — разлука: без рыданий,  
а даже с завистью (мы снова на коне,  
мы снова учим азбуку прощаний,  
нам снова вслед — о мщенье, о вине).

Не хватит ли?  
Отгородимся взглядом —  
острожным,  
осторожным...  
В этот миг  
мы — у себя, и нам уже не надо  
 всю жизнь свою писать, как черновик

*10 июля 1994 г.*

### **Полдень**

Этот полдень все краски смешал  
на песчаной палитре пустыни.  
Красный цвет стал вдруг огненно ал —  
я такого не видел доньне.

Желтизна финикийских шаров  
там, где пальмы смыкаются с небом, —  
из ярчайших ван-гоговских снов —  
стала цвета горчичного хлеба.

Только зелень кустов и травы  
не зависит от времени года.  
И все те же поверх головы  
семь волшебных слоев небосвода.

*6 августа 1995 г.*

\* \* \*

Вот в рубище идет израильтянка.  
Как смоль, чернеют волосы до пят.  
И пахнет тело лавром и орехом.

Вот голос, уходящий в небеса,  
о чем-то молит, но в ответ — молчанье,  
лишь музыка негромкая слышна.

Вот красно-белый панцирь олеандра,  
кувшинки распустившихся магнолий  
и серебристый проливень олив.

Вот в этом всем, как в зеркале, увижу  
тебя, Израиль, и случится чудо —  
останусь вдруг с тобой наедине.

*18 декабря 1994 г.*

\* \* \*

Раввина плач,  
стенанье муэдзина,  
по-христиански скорбное «Аминь!»  
и среди гор вечерних различаю  
ушедших тени, шелест их одежд,  
как будто это полотно Рембрандта,  
а не Израиль на исходе века.

Так постепенно, двигаясь по кругу,  
лучами с неба землю пересекая,  
я выхожу на запад, прямо к морю,  
и тут земля кончается,  
и волны,  
накатываясь мощно,  
обретают  
такую силу, что ее напрасно  
когда-то Одиссей преодолеть  
пытался в годы давние, и ныне  
не обрести тут страннику покоя,  
не заслужить души успокоенья  
и совести своей не заглушить.  
Не оттого ли этот древний край  
так молод?

Все, что надобно, — случится,  
 что предназначено — произойдет.  
 А, стало быть, все только впереди.  
 И у меня, и у страны моей...

18 декабря 1994 г.

\* \* \*

Куда ты зовешь меня,  
 голос из черного ящика?  
 Что тебе не спится?  
 А тут, у нас, солнечный день,  
 и можно шагать по улице  
 и запускать в глубокое небо шары,  
 и, задрав голову, глядеть,  
 как в вышине  
 медленно тает еще одно — синее — солнце.

1994 г.

### Радуга

Розовый, синий цветок, бирюзовый,  
 желтый, зеленый, пронизанный светом...  
 Словно бы радуга — жизни основа  
 в мире, который придуман поэтом.

Мир, что ушел, не забыт, но — отброшен,  
 хоть и осталось немало зацепок.  
 Высох цветок, что навеки заложен  
 между листов и записок и скрепок.

Этот же, тутошний, благоуханный,  
 светоразлитый,  
 водой напоенный,  
 розовый,  
                   желтый,  
                           белый,  
                                   зеленый,

странный,  
                           чудной,  
 но навеки желанный...

20 июля 1994 г.

### Сонет

Как будто кто-то разомкнул уста  
 и разом душу выпустил на волю.  
 Какая ширь — прибрежное раздолье!  
 Какая даль — не видно ни черта!

Ночная тьма меня берет в полон.  
 Льют серебро над дюнами оливы.  
 И наши тени — робки и пугливы.  
 И духота одолевает сон.

Зачем же мне Господь разверз уста?  
 Кому мешали эти немота  
 и страх — двойник галутного еврея?

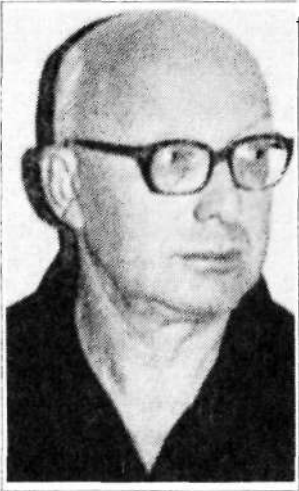
Кромешна тьма.  
 Просторна даль полей,  
 И здесь я тоже — Вечный жид, еврей.  
 Но не боюсь и не немею.

23 июля 1994 г.

Когда я вернусь...  
 Александр Галич

Когда я вернулся,  
 на небо я купол сменял...  
 Пусть вышний полет над Кремлем вознесенного звона  
 торжествен по-прежнему,  
 только уже без меня:  
 по горло державой я сыт,  
 глотнуть бы хоть малость озона.





Владимир ШЛЯПЕНТОХ

## СТРАХИ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНИНА

Заметки социолога

### Общество с низким рангом порядка

Одна из важных черт современной России — это пессимистическое настроение большинства ее населения. В конечном счете, кажется, именно это обстоятельство отражает возникновение в стране новой социальной системы, институты которой не в состоянии обеспечить даже относительный порядок в обществе, его стабильность в ближайшее десятилетие. Отсутствие порядка, порождающее неуверенность в завтрашнем дне (а не абсолютный уровень благосостояния большинства), является главной причиной подавленного настроения, которое нередко приводит к катастрофизму сознания россиян.

В стабильном обществе, как бы не был низок его материальный уровень, механизм адаптации ослабляет пессимизм и создает новые критерии для оценки жизни. Это нам, в

частности, показал солженицынский Иван Денисович, сумевший сохранить оптимистический настрой даже в бесконечно тяжелых условиях сталинского лагеря.

В чем же причина нестабильности российского общества? По-видимому, таких причин много. Но одна из главных — в том, что мы не видим в стране подлинной координации частных и общественных интересов, а, напротив, видим отсутствие границ между «частным» и «общественным», все более тесное слияние власти, бизнеса и преступности. Эта комбинация различных социальных элементов была типичной для раннего феодального общества в прошлом. Она типична и для многих современных обществ с низким рангом порядка.

Следует отметить, что низкий уровень порядка является результатом отсутствия в стране консенсуса по большинству ценностей, а это, в свою очередь, вызвано тем, что отсутствует сильное государство, пользующееся авторитетом у общества как выразитель его непосредственных интересов.

Было бы неверно, с моей точки зрения, рассматривать нынешнее российское общество как переходное. В том виде как мы его видим теперь, оно будет существовать многие годы, пока не сможет существенно изменить многие фундаментальные черты. Напомним, что советская система сформировалась в 1918—1920 годы и впоследствии оставалась такой же вплоть до 1989.

### Роль катастрофизма в обществе

Настроение народа и его восприятие будущего играют важную роль в любом обществе, даже в таком стабильном, как Соединенные Штаты. Это отчетливо видно из избирательных кампаний 1994 и 1996 годов. А роль настроений людей в таком нестабильном обществе как Россия просто огромна.

Кстати, оценка роли страха в жизни человека и общества — не такая простая вещь, как это может показаться на первый взгляд. Известно, например, что на полях сражения

в годы Великой Отечественной войны особую отвагу проявляли отправленные на передовую солдаты штрафных рот. За их спиной, с винтовками наперевес, шли, как известно, энкаведисты-смершесцы, и возможность получить пулю в спину не оставляла им выхода кроме как идти грудью на врага. Страх гнал их вперед. Нечто подобное происходит и в обществе — в частности в переживающей перманентную нестабильность России. Не страх ли наступления массового голода 1992—93 года способствовал мобилизации граждан на поиск путей для своего спасения? Одним из таких путей стало широкое участие россиян в создании приусадебных участков, частных и коллективных огородов, которые во многом облегчили решение пищевой проблемы тех лет.

Но, с другой стороны страхи, порождаемые нестабильностью, боязнь катаклизмов личной жизни и жизни общества снижает привлекательность любой деятельности, которая не приносит немедленных результатов, об этом мы еще будем говорить ниже. Те же обстоятельства толкают людей к эмиграции, кутежке научных умов за рубеж. Не говоря уже о том, что страхи, бытующие в обществе, влияют на его жизнь и своими неожиданными экономическими и социально-психологическими последствиями. Например, боязнь очередного витка инфляции может действительно породить его, если люди начнут активно покупать товары, страшась предстоящего повышения цен. Но, конечно, наиболее опасно использование страхов, особенно катастрофических, в качестве инструмента политической борьбы. Это неизбежно приводит к рождению и расширению политических неврозов, которые в нестабильном обществе чреватые самыми непредсказуемыми последствиями.

### **Катастрофизм в политической борьбе**

Политическая борьба в России идет во многих социальных сферах и на многих уровнях. Широко известно, какие острые баталии проходят за места в думе, за портфели в правительстве, как упорно борются различные партии за расширение своего экономического влияния.

Наряду со всем этим объектом политической борьбы все более становится сознание российских граждан. Это особенно отчетливо видно в предвыборные дни, и в частности, в том, насколько полярно противоположными становятся оценки российского сознания со стороны различных партий и политических групп. Всякий раз выступая перед избирателями, Ельцин не устает подчеркивать оптимистическое настроение большинства россиян, их веру в завтрашний день, их приверженность реформам и рыночному хозяйству. Но достаточно было послушать оценки коммунистических руководителей, как создавалось впечатление, что в своих выступлениях они вообще говорят о другом обществе. По их словам, граждане России поголовно голодают, бедствуют, они всеми фибрами души ненавидят капитализм и рынок и подведены к последней грани терпения. Такое большое различие современников в оценках и характеристике страны, в которой они живут, поразительно. Последнее заставляет нас еще раз задуматься над тем, как трудно понять общество, не только отстоящее от нас на тысячи лет назад, а даже и то, в котором мы живем.

Здесь я хочу предложить мое представление о российском сознании в настоящее время, главным образом, делая акцент на его отношении к будущему. Но прежде надо определить главный субъект нашего анализа. Это — «российский избиратель», тот, кто оказывает в современной России огромное влияние на политический процесс.

### **Каковы «действительные» взгляды россиян на будущее**

Социологические данные свидетельствуют о том, что основная масса российских избирателей в 1992—1996 настроена достаточно мрачно по отношению к будущему. Согласно данным ВЦИОМа (данные этой организации будут основной информацией для нас), подобное настроение отличает не менее 2/3 российского населения. Соотношение оптимистов и пессимистов во взгляде на будущее, согласно разным оценкам, выражается пропорцией 1:5 и 1:3. Отвечая

на вопрос в конце 1994 г: «Тяжелые времена в прошлом или будущем», 9% сказали, что в прошлом и 52% — в будущем. В другом исследовании ВЦИОМа (1995) 55% русских характеризовали «нынешнюю обстановку в России как напряженную» и 37% как «взрывоопасную» и рассматривают нынешнюю ситуацию как чреватую кризисом и взрывами. Таковы же данные Института социологии Ядова. В марте 1995 каждый из 45% россиян согласился с мнением, что «я постоянно испытываю тревогу, думая о будущем: если не война, то экономические катастрофы, социальные потрясения — не вижу просвета».

Российский избиратель мало верит в радикальное улучшение жизни в стране. Согласно данным Института социально-политических исследований (1994), только 6% верили, что в ближайшем будущем наступят изменения «к лучшему» в борьбе с преступностью, 7% — в экономике, 8% — в культуре, 11% — в защите русских в ближнем зарубежье.

Пессимизм российских граждан проявляется не только в общей негативной оценке будущего, но и в том, что они переполнены различными страхами и верят в возможность разных катастроф. В среднем 10—30% россиян опасаются той или иной конкретной катастрофы. В их список входят: дезинтеграция России, превращение России в полуколонию или колонию Запада, захват власти в стране мафией, полномасштабная гражданская война, крушение российской экономики, технологические катастрофы чернобыльского масштаба, потеря российских культурных и моральных ценностей и некоторые другие<sup>1</sup>. Поразительно, что даже возможность большой войны с внешними врагами рассматривается как правдоподобная российским населением.

Серьезным свидетельством катастрофизма в сознании является и стремление многих россиян — и отнюдь не только евреев — эмигрировать, переждать тяжелое время за рубе-

<sup>1</sup> Согласно данным фонда Эберта, 64% россиян верят, что в ближайшие два года будут иметь место: катастрофы на ядерных электростанциях, 63 — диктатура, 29 — военный переворот, 27 — военные столкновения с бывшими советскими республиками. Даже дезинтеграция России допускается 17% россиян (Осипов, 1994, с. 356).

жом, или по крайней мере, иметь счет в иностранном банке и еще лучше — зеленую карту. И если такие планы реалистичны только для элиты и преуспевающих «новых русских», то мечтает о них и значительная часть молодежи, особенно студенческой.

### Правдоподобны ли эти данные?

Некоторые социологи склонны подвергать сомнению эти данные. Борис Грушин, например, рассматривая политиков, интеллигенцию и средства массовой информации как сеятелей «катастрофизма», утверждает, что широкие массы населения, за редчайшим исключением, напротив, не выступают в подобной роли, хотя немало его собственных данных говорят о прямо противоположном. В своих публикациях, где он приводит цифры, свидетельствующие о противоположном, Грушин интерпретирует свои собственные данные весьма своеобразным способом. Он утверждает, например, что не менее 50% населения России смотрят в будущее с грустью и что эта цифра опровергает «чернуху». И что не менее 50% населения смотрят на будущее иначе, давая этим понять, что унылое настроение половины населения страны не является фундаментальным фактом. Нечто похожее мы находим и в книге, изданной Геннадием Осиповым, который находится на противоположном политическом полюсе, чем Грушин. Подчеркивая, что 14% населения «не видят смысла в своей жизни», 11 — «чувствуют себя одинокими», 22 — «ни на что не надеются», 35 — «считают жизнь очень тяжелой», авторы этой книги утверждают тут же, что «главной чертой социально-психологического самочувствия россиян все же оставалось ощущение осмысленности, наполненности своей жизни».

### Является ли Welt Schmerz национальной чертой русского народа!

Не отрицая тяжелого настроения русских, некоторые авторы склонны полагать, что пессимистичность, как и

терпение, есть вообще черта национального русского характера — в отличие, конечно, от американского, с их любимым ответом на все вопросы «fine» и верой в возможность решить любую проблему. И это утверждение имеет некоторое основание. Действительно, в российской (да, пожалуй, и европейской) культуре, не принято, а то и неприлично выглядеть всегда самодовольным и удовлетворенным жизнью — последнее опять-таки характерно для американцев. Среди героев дореволюционной русской литературы, начиная с плеяды «лишних людей» и кончая героями Чехова и Леонида Андреева, вряд ли можно разыскать людей, довольных жизнью и смело глядящих в будущее.

Но не следует преувеличивать пессимизм российского национального характера. Можно привести немало примеров, что в советский период, несмотря на многие катастрофические события, значительная часть российского населения, особенно молодые и образованные люди, смотрели в будущее с чувством уверенности и надежды. Это остается справедливым даже для середины и второй половины 30-х годов, в разгар трагических сталинских чисток. Причем я не согласен с утверждением, что оптимизм советского времени, существовавший в условиях страха и давления монополистической идеологии, был нарочитым, показным и, скажем, знаменитые песни Исаака Дунаевского на слова Лебедева-Кумача не отражали духа эпохи. Каково бы не было происхождение этого оптимизма, он был естественным и искренним, и герои социалистического реализма, типа Павки Корчагина или Алексея Маресьева, и даже герои «Счастья» Павленко, не говоря о героях Эренбурга или Катаева, в 30-х годах в значительной степени отражали оптимистический настрой в стране, глубокую веру значительной части населения и большинства молодежи в «сияющее будущее» (в эти, вообще-то говоря, страшные годы).

Но более того, в последний период, в 60—70-е годы, когда страхи населения и эффективность идеологии существенно снизились, степень спокойствия в стране была достаточно

высокой. Население опасалось только новой мировой войны и, при всей критике недостатков каждодневной жизни и презрении к руководителям государства, в будущем оно не ожидало никаких катастроф типа развала экономики, дезинтеграции страны, этнических конфликтов, или, скажем, катастроф технологических. Даже критически настроенная интеллигенция, будь то либералы или русофилы, хоть и была во многом пессимистична, но и она впереди не видела никаких глобальных катастроф.

Если не считать известного беспокойства об экологических опасностях (вспомним Распутина «Прощание с Матерой», или дискуссии вокруг Байкала), русская интеллигенция не шла в будущее со страхом. В знаменитом тексте Сахарова 69 года мы не найдем никаких страшных прогнозов для России. Исключение, пожалуй, составлял только Андрей Амальрик, однако и его книга касалась, главным образом, лишь будущей войны между Китаем и СССР. Даже, несмотря на события 69 года на Дальнем Востоке (конфликт на о. Даманский), большого страха перед китайской опасностью не было.

В целом, в 1985 году, накануне прихода Горбачева к власти, страна была спокойна и, вопреки теориям, которые связывают перестройку с неудовольствием населения, большинство жителей были удовлетворены своей жизнью.

Таким образом, советский период вряд ли подтверждает концепцию, что глубокий пессимизм, который мы наблюдаем сейчас, всегда был характерен для русской психики.

## Теория об интеллигентах-нытиках

Корни нынешнего пессимизма активно обсуждались на организованной мной панели «Катастрофическое сознание в России» в ноябре 1995 г, на конференции Американской ассоциации славяноведов. Видные участники этой панели — Юрий Левада, Борис Грушин и Владимир Ядов, Нелли Матрошилова (все имена хорошо известны и в

России и за рубежом) утверждали, что российский пессимизм навязан российскому народу интеллектуальной пресой, либеральной и коммунистической, которые по различным причинам заинтересованы в нагнетании ужасов в стране.

Наиболее обстоятельно теорию о «ненародном источнике» катастрофизма разработал Борис Грушин. Он пишет о «главных персонажах, продуцирующих или активно муссирующих образы гибели». Это, по его мнению, руководители исполнительной власти в центре и на местах, политики высшего эшелона из кругов оппозиции, средства массовой информации, «особенно те, кто специализируется на тотальной критике руководства страны», «многоликие «друзья народа», включая традиционных российских кликуш и юродивых из числа интеллигенции и полуинтеллигенции. Буквально этими же словами плюс некоторые другие (истерики и т.п.) бранил интеллигенцию своего времени В.И. Ленин.

Примечательно, что в своем анализе источников катастрофизма Грушин практически даже не упоминает объективные негативные процессы, происходящие в стране, а в своих рекомендациях «о способах преодоления существующей эсхатологической мифологии» он не приводит никаких действий, которые могли бы объективно изменить существующее положение.

Интересны аргументы Бориса Грушина, утверждающего, что оппозиция, политические партии и даже партии у власти заинтересованы в запугивании населения с тем, чтобы потом выступить в роли его спасителя, если они будут победителями на выборах. И это утверждение не лишено известных оснований. Катастрофизм, как инструмент политической борьбы, применялся во всех обществах и во все времена. В современной Америке, равно, как и в Германии, Англии, Франции оппозиция активно использует это средство во времена предвыборных кампаний. В современной России лидеры всех партий — коммунистической, националистических, демократических, и даже руководители государства не устают грозить народу разными бедствиями,

если он останется равнодушен к их призывам. Но возникает вопрос о причинно-следственных связях, о «курице» и «яйце». Отражают ли эти политические группы и их призывы страхи населения, или, напротив, страхи порождаются политиками? С моей точки зрения первая гипотеза является более справедливой. Страхи населения, вызванные ситуацией в стране, являются первоисточником напряженности. Но, конечно, взаимодействие этих двух факторов не следует отрицать.

### Теория иррационализма

Некоторые политики и исследователи приписывают катастрофизм, по крайней мере, в значительной мере иррациональному характеру современного сознания в России. Ядов, например, считает, что «рациональные модели поведения» в России «в ближайшем будущем не просматриваются». Левада приводит довольно интересное соображение о том, что россияне оценивают, как правило, свою личную ситуацию лучше, чем ситуацию в их регионе или в стране. Согласно данным ВЦИОМа, 46% жителей страны оценивают свою жизнь теперь как «среднюю» или «лучше, чем раньше». В то же время так же оценивают жизнь в своем городе или деревне только 29% и лишь 12% подобным образом оценивают жизнь в стране в целом.

Существует и еще аргумент в пользу иррациональности массового сознания. Это получившие распространение разного рода теории заговора (заговор Запада против России, заговор сионистов и масонов и т.д.). В самом деле трудно отрицать роль иррациональных факторов в формировании катастрофизма, особенно в обществе, находящемся в таком нестабильном состоянии, как нынешняя Россия, в которой иррационализм, всевозможные антинаучные взгляды получают трибуну даже в такой солидной газете, как «Известия».

Интересно, что абсурдная идея заговора Запада против экономического подъема России находит поддержку бук-

вально во всех слоях общества. Согласно данным ВЦИОМа, в начале 1995 г. 59% россиян соглашались с утверждением, что «западные государства хотят превратить Россию в колонию», а 55% — «привести Россию к обнищанию».

Но в целом народное сознание, как видим, весьма эклектично. И это справедливо для любой страны, включая Америку и Западную Европу. Иррациональные постулаты вполне уживаются с прагматизмом и рациональностью. Поэтому, с моей точки зрения, тревожность и катастрофизм, который наблюдается сейчас в России, отражают прежде всего драматичные объективные процессы.

### **Россиянин — вполне рациональное существо**

Само собой разумеется, что катастрофизм в народном сознании зависит от целого ряда факторов. Среди них известную роль играют те, которые были упомянуты выше, в частности, интересы политиков, использующих средства массовой информации, умонастроения интеллигенции и наряду с этим элементы иррациональности в массовом сознании.

В связи с этим становится очень важным выяснить, каков же вес каждого фактора, влияющего на уровень катастрофизма.

Разделяя в принципе модель рационального поведения людей, я полагаю, что этот уровень прежде всего зависит от того, как люди оценивают нынешнее положение в обществе. То есть фактически они экстраполируют современность на будущее, не отличаясь в этом отношении от ученых, которые, как правило, базируют свои прогнозы на линейной экстраполяции нынешнего положения вещей. Исходя из принципа, что завтра погода будет такой же, как сегодня, они приходят к правильным выводам. При этом надо учесть, что россияне в своих прогнозах оказались под воздействием не только низкого уровня жизни в их восприятии, но и объективно резкого его снижения. Все это, конечно, сказалось на их настроении. Иначе говоря, они потеряли уверенность в ста-

бильности своей жизни, в которую верили на протяжении всего послевоенного периода.

### **Восприятие уровня жизни населением**

Существуют разные точки зрения на уровень жизни населения в России в 1993—95 гг. Либералы, коммунисты и националисты резко расходятся в оценках этого показателя, ибо интерпретируют статистические данные самым различным образом. Но, каковы бы ни были объективные факты, существует консенсус о том, что большинство россиян оценивают свой уровень жизни как весьма низкий. Согласно ВЦИОМским данным, 50—70% населения считает, что в прошлом уровень жизни был выше. Опрос Фонда Общественного Мнения в феврале 1995 г. показал, что 56% предпочли бы жить в брежневские времена. Близкие к этим данные получил центр ВЦИОМа, отвечая на вопрос «Согласны ли вы с тем, что было бы лучше, если бы было так, как до 1985 года», — 43% ответили да, 41% — нет.

Согласно другим данным ВЦИОМа, за 1995-96 годы не более 10% населения расценивают свою жизнь, как хорошую, примерно 40% как «среднюю» и около 50% как «плохую» или «очень плохую», почти невыносимую. В тех же опросах ВЦИОМа 10% считают, что «все не так плохо и жить можно», 46% — «жить трудно, но можно терпеть» и 37% — «терпеть наше бедственное положение уже невозможно».

Критики этих данных утверждают, что они отражают не столько реальное положение вещей, сколько «неоправданные» ожидания россиян, возбужденных новыми возможностями рыночного общества, в частности, отсутствием очередей и изобилием товаров, о которых они не смели мечтать в прошлом. Однако, эта критика иррелевантна к нашей проблеме. Ведь люди во все времена действовали не под влиянием «объективных» фактов жизни, а под влиянием восприятия этих фактов. К тому же, как мне кажется, уровень жизни большинства населения действительно ухудшается, если иметь в виду потребление продуктов, здравоохране-

ние, общественный транспорт, отпуска, учреждения для детей и, конечно, уровень преступности. Но не только восприятие жизненного уровня толкает людей к катастрофизации мышления. Разнообразными страхами наполняют сознание россиян и многие другие явления. Среди них — резкий рост преступности и всеобщая коррумпированность, рост алкоголизма, негативные демографические процессы, этнические конфликты, в которых гибнут российские солдаты и мирное население. Граждан России не может не тревожить огромная диаспора русских, оставшихся в новых независимых государствах, господство иностранных товаров на российских рынках и превращение России в сырьевой придаток мировой экономики, неплатежи заработной платы, ослабление дисциплины и боеспособности российской армии, эмиграция талантливых людей из страны. Только сторонники иррациональной модели россиянина могут утверждать, что все эти процессы, которые потенциально чреват масштабными катастрофами, не оказывают воздействия на сознание народа.

## Историческая память

Хорошо известно, что память — и индивидуальная и социальная — оказывает серьезное влияние на восприятие действительности и взглядов на будущее. Конечно, обе эти памяти весьма избирательны и сами находятся под влиянием нынешнего положения вещей и идеологии, которую разделяли личность и общество.

Необходимо различать, если использовать компьютерный язык, память, как бы записанную на «флорпи диск» и на «хард диск».

В каждой конкретный период народ переводит в свою «оперативную» память те события, которые связаны с его текущей жизнью. Что касается «долговременной» памяти, то на нее огромное воздействие оказывают господствующие идеологии, которые помогают или мешают обращаться людям к тем или иным событиям прошлого. Причем часто

воспринимаются эти события по-разному, вплоть до возникновения ощущения, что можно, вообще, стереть из своей памяти определенные события и эпохи.

История России в 20 веке в самом деле полна исторических катастроф: Первая мировая война, Гражданская война, голод в 20-е годы, коллективизация, голод 30-х годов, массовые репрессии, Вторая мировая война.

На упомянутой мной конференции, между прочим, была жаркая дискуссия о том, в какой степени эти «объективные» катастрофы прошлого влияют на сознание россиян в настоящее время. Ю. Левада и В. Ядов утверждали, что историческая память россиян не только не удерживает в сознании столь далекие события, как гражданская война и коллективизация, но и куда более близкие, как, например, расстрел парламента в октябре 1993 г. Верны ли эти утверждения? Конечно, индивидуальная память человека мало похожа на энциклопедическую, и трансляция трагических событий от поколения к поколению процесс сложный и противоречивый. Особенно, если система образования, литература и средства массовой информации не обращаются к этим событиям. Действительно, что граждане современной России читали достоверное о голоде 20-х годов или о голоде 30-х годов? Даже о коллективизации и массовых репрессиях почти не существует по-настоящему реалистических книг и кинолент. И все-таки, несмотря на это, в драматические периоды народ и прежде всего интеллигенция воскрешают образы прошлого. Например, в 92—94 годы такие, казалось бы, отдаленные события, как феодальные междоусобицы на Руси и Смутное время вновь возникли в общественном сознании в связи с угрозой дезинтеграции России. Что же касается гражданской войны в 1918—20 гг., то этот период вошел в число ведущих символов, которым стали оперировать не только интеллигенция, но и рядовые люди. И еще более важна память о голоде, которая всегда, впрочем, была «оперативной», то есть никогда не исчезала из сознания масс.

С другой стороны и память жизни в брежневской России

весьма жива в народе, хотя разные группы населения акцентируют внимание на разных ее сторонах<sup>1</sup>.

Так что трагическое прошлое страны несомненно способствует существованию пессимистического унастроения в народе. И не удивительно, что страх перед наступающим массовым голодом так легко распространился в России в 92 г. То же самое можно сказать и о массовых репрессиях. Страх перед ними, конечно, наиболее силен среди образованной части населения страны. Однако, как показывают опросы, он также живет в сознании значительной части населения страны.

### **Есть ли выход из современного кризиса!**

Глубинные корни нынешнего пессимизма связаны с ощущением того, что эффективного решения российских проблем вообще нет.

Трудно предположить, что какая-либо партия или лидер в состоянии в ближайший исторический период существенно повысить жизненный уровень населения, или что верхи способны преодолеть деморализацию, коррупцию и преступность в обществе, или что им под силу смягчить этнические конфликты, стабилизировать отношения между центрами и регионами, ослабить опасность технологических и экологических катастроф. Ни одна политическая партия и ни один лидер не могут представить на этот счет реалистической программы, тем более в срок, приемлемый для народа. Так же как трудно поверить, что можно достаточно быстро создать эффективный механизм, способный подчинить частные интересы людей, особенно элиты, «общему делу». Или можно резко ослабить преступность и коррупцию, поднять сельское хозяйство, ускорить технологический прогресс, резко уменьшить долю иностранных товаров на рынке.

Неудивительно, что большая часть народа не верит в эффективность никаких социальных и политических институтов. Не более 10—20% населения (а часто намного меньше)

вообще доверяют президенту, парламенту, региональным лидерам, СМК, суду, прокуратуре.

Большинство народа не хочет примыкать ни к какой политической партии, не верит в эффективность ни демократических, ни авторитарных способов преодоления российского кризиса. Не более четверти стоят за «железную диктатуру», но и немного больше видят выход в дальнейшем развитии демократии и рынка.

Формула о том, что гражданам России надо постоянно выбирать меньшее из зол глубоко проникло в массовое сознание. Население так скептически по отношению к политическим силам, действующим в стране, что ни один политический лидер не может добиться доверия и уважения больше чем у 10—12% населения (не следует смешивать эти данные с избирательными предпочтениями россиян, выбирающих часто осознанно меньшее из зол). Сегодня народ настолько пессимистичен, что самый изощренный демагог не имеет шансов даже на время завоевать его доверие. Более того, население не видит и в прошлом лидеров, которые могли бы «поднять Россию из кризиса». На первое место в опросе летом 1995 года вышел Петр Великий, получивший только 14% голосов. Отсутствие сколь-нибудь успешного решения российских проблем является одним из главных факторов, формирующих пессимистический взгляд на будущее.

Как уже отмечалось, существуют достаточно мощные средства, противодействующие нарастанию страхов в индивидуальном и общественном сознании. Эти средства в значительной степени основаны на способности человека адаптироваться к негативным ситуациям. Немецкая пословица — «Besser dass schreckliche Ende als der Schreck onhe dass End» — говорит о том, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Человек и общество борются с собственными страхами и нередко в состоянии их смягчить незначительное время, если только данная ситуация является относительно стабильной и не возникают новые условия, которые подпитывают существующие страхи.

Действительно, в период с 91—95 гг. мы наблюдаем, в

<sup>1</sup> см. ВЦИОМ 2, 1995, с.7.

известном смысле, циклические процессы усиления или ослабления тех или иных страхов. Российские граждане с их огромной традицией приспособляемости к катастрофам и негативным условиям в 20 веке (да и в более ранние времена) проявили чудеса адаптации к новым, тяжелым условиям жизни.

### **Вместо заключения**

Естественно, что страхи людей перед возможными катастрофами, их надежды на будущее во многом определяются их социальным статусом, их культурой и образованием, возрастом, этнической принадлежностью, местом жительства. При этом в условиях сегодняшней России возможно решающую роль приобретает их экономическое положение, то есть на простом языке, наличие у них средств, которые могут быть использованы для избежания последствий возможных катастроф. Это особенно справедливо для новой российской элиты, представители которой, опять же в зависимости от своего экономического статуса, имеют разные возможности найти себе убежище на Западе.

Впрочем, дело не только в обретении убежища. Наличие средств для предотвращения последствий катастроф, в принципе, влияет на психологию и поведение людей. Как правило те, которые такими средствами располагают, склонны быть большими пессимистами в оценке будущего. И, напротив, те, у которых их нет, не имеют других выходов, кроме приспособления к возможному развитию событий и, благодаря механизму адаптации, стараются верить, что будущее является не столь угрожающим, как думают другие.

Ну а те, кто покинул Россию, как выглядят их оценки событий на их бывшей родине? Интересно, что существует глубокое различие в характеристике российской ситуации теми, кто живет в России и эмигрантами, осевшими за ее пределами. Парадоксальным образом последние, находящиеся в условиях абсолютной безопасности и в зоне абсолютной недостижимости катастрофических событий, видят

будущее страны в более мрачных тонах, чем оставшиеся в России. Из-за этого по сути исчезло взаимопонимание между российской интеллигенцией, осевшей в эмиграции, и российской интеллигенцией, живущей в метрополии. Эмигранты упрекают жителей России в том, что они ждут катастроф в стране, чтобы лишний раз доказать себе, насколько разумен был их отъезд.

Только на первый взгляд может показаться, что уровень страхов не так уж сильно влияет на все стороны жизни общества. И де не столь важно, исполнены ли его граждане верой в будущее или перманентно пребывают в состоянии пессимизма.

В этом смысле надо отдать должное бывшим советским правителям, которые проявили себя большими мастерами по части насаждения в стране оптимизма. Даже, если не говорить об их несмолкающих разговорах о светлом будущем, и о бесконечном оптимизме, внедряемом буквально во все поры советского общества, — характерно, что режим не гнушался прибегать даже к использованию таких экзотических средств влияния на настроение людей, как например запрет на обсуждение вопросов гибели вселенной через миллиарды лет.

Как уже сказано, при катастрофизме сознания люди не могут успешно заниматься деятельностью, результаты которой должны наступить в будущем, особенно, в более или менее отдаленном будущем. Трудно ожидать от предпринимателя-пессимиста инвестиций в строительство заводов, которые принесут прибыль лишь через 5—6 лет. Зато становится совершенно понятно, почему такой предприниматель будет отправлять свои капиталы за рубеж. Трудно ожидать от молодых людей, живущих в России, интереса к науке и многолетним исследованиям, если им кажется, что будущее является нестабильным и опасным. Трудно ожидать от политических деятелей-пессимистов глубокой вовлеченности в национальные интересы страны. Так же, как трудно предполагать, что в условиях разочарования и депрессий, эмигрантские настроения не станут органической частью психологии новых поколений.

Возникает и другой вопрос: в каком направлении воздействует существование современного Запада на рождение депрессивных настроений в России. Тут интересно сравнить состояние умов сегодня и в начале 20 века. Тогда возможность решения своих проблем путем отъезда на Запад была совершенно нетипичным явлением для русской интеллигенции, и энергия людей была направлена на действия в стране. Сейчас, когда есть возможность уехать на Запад, пессимизм гораздо больше деморализует общество и прежде всего его элиту. Это обстоятельство довольно хорошо осознается российскими коммунистами, националистами, которые стремятся использовать эту связь (пессимизм плюс Запад) как эффективное доказательство порочности ельцинского режима в стране и всей социально-экономической структуры с этим режимом связанной.

Как это ни странно, в конечном счете, судьбы катастрофизма в России определяются почти в духе вульгарного марксизма. Если бы российская экономика начала успешно развиваться, в стране произошло бы резкое изменение настроения, и пессимизм населения резко бы снизился. Такое вряд ли может произойти в коммунистическом, постельцинском режиме. Надежда состоит в том, чтобы эта задача была решена либералами.



*Андрей ГРИЦМАН*

## «ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ»

*или два письма на русскую тему*

Дорогой Андрей! Случайно узнал, что ты вернулся из Москвы. Это немного странно звучит, но я тебе завидую. Я, американец, завидую тебе русскому, совершившему путешествие на родину. Может быть, забытую родину? Ты ведь здесь, в Америке, сколько уже живешь, больше пятнадцати лет? Как поживает «моя» Россия? После перестройки, к сожалению, так и не удалось ни разу побывать. В памяти остались только обрывочные туманные воспоминания: зима, улица Горького (ваш московский Бродвей), Институт русского языка Пушкина, бородатые «пророки»-диссиденты с глубокими семитскими глазами (теперь, говорят, многие из них принимают христианство), холодная война и, конечно, Наташа. И почему-то, троллейбусы. Может быть потому, что на последнем троллейбусе я обычно и провожал свою Наташу до ее остановки где-то у Речного вокзала. Наташу, на самом деле, впрочем звали типично по-московски, Леной, и была

она изящной еврейской женщиной (этакая, слегка порочная еврейская принцесса), которая писала стихи и вела в Доме Культуры литературный кружок. Я тогда понял, что была она, в какой-то степени, московским прототипом наших «джапих» (JAP<sup>1</sup>) теперь тебе хорошо известных! Она была замужем, фиктивно, почему-то за австралийцем, что мне тогда очень не нравилось. О деталях как-нибудь в другой раз, при встрече, за «Абсолютом».

Расскажи о московской жизни, только, пожалуйста, не про Ельцина или коммунистов, а лучше о московских девочках. Существует ли еще это чудесное племя, по-моему лучшее в мире? Звонят ли они по-прежнему маме в одиннадцать вечера, сообщая, что остаются ночевать у подруги. У моей Лены была, правда, маленькая кооперативная квартира, купленная родителями, но, тем не менее, неизменно, в самый ответственный момент соседка, директор школы, звонила в дверь и просила почитать «Вечерку». Я до сих пор об этом со своим психотерапевтом разговариваю.

Что произошло с вашим кругом, со всеми этими философами, математиками, поэтами, оккультистами? Много времени я провел тогда на ваших кухнях, выслушивая сбивчивые и горячие объяснения и страшные истории о КГБ и слушая, по-видимому, прекрасные, но непонятные стихи, несколько утомляющие своим скандирующим, ритмичным звучанием, сильно напоминающим английские баллады. Я и теперь продолжаю почитать русскую поэзию, в основном, в переводах. Русские стихи кажутся мне мелодраматически раздутыми, сверх драматизированными, особенно у Вознесенского. У ваших современных поэтов это исходит, видимо, от вечной русской традиции: всех и всегда поучать, поза, высокая цель, предназначение, историческое видение и т.д. Большинство американских стихов отличаются тем, что они более направлены «внутрь», более домашние и личные.

Как прошла таможня? Так ли это строго, как было в мое время? Помню кольцо моей подруги удалось провезти между кредитными карточками (они тогда только появились). А русские книжки, купленные в Москве, таможенник проколол

насквозь длинной спицей. Они до сих пор у меня стоят «простреленные» наверху, в кабинете. Впрочем, ты ведь у нас еще не был, с тех пор как я получил постоянную позицию на факультете (по-вашему «тенуру»), и мы смогли вложить средства в дом и сделали пристройку.

Не помню, рассказывал ли я тебе, что на обратном пути при пересадке в Париже, я встретил Высоцкого. Мы сидели рядом в зале ожидания аэропорта Орли. Он как-то потеплел, когда понял, что перед ним не российский человек. Моего русского и его смеси французского с английским хватило на то, чтобы разговориться и друг другу понравиться. Он ждал друзей своей жены-парижанки. Они должны были за ним заехать, чтобы помочь ему скоротать ночь, катаясь по Парижу. Высоцкий предложил взять меня с собой и поужинать вместе. Мы ели патэ, пили кальвадос (он все приговаривал, «как Ремарка»), посмеивались над французами, а они над нами. Мы развлекались, изображая Голливудских кинопродюсеров. Можешь себе представить меня в этой роли. Я ему все толковал о Томе Уэйтсе и Бобе Дилане. Много лет спустя, особенно после разговоров с тобой, я по-настоящему понял, с каким человеком я провел вечер.

Напиши, как теперь выглядит Москва, а, главное, люди? В мое время в Москве решительно некуда было пойти вечером, только на кухню к знакомым. Я помню как интеллигентия, в основном, говорила о том, что готовится к трехсот-летнему «царству» социализма. Никто не предполагал, во что превратится это «царство». Что ты чувствовал, когда после стольких лет попал в места, где вырос? Для нас, американцев моего поколения и пару поколений старше, все что произошло с Россией совершенно меняет стереотип русских людей, сложившийся в пятидесятые-шестидесятые годы.

Я вырос на Среднем Западе. В моем детстве мы жили под знаком вашей коммунистической угрозы. Страшное фиаско с заливом Свиной на Кубе положило начало новой эры страха. Помню, как нас отпускали домой из школы на случай возможной ядерной бомбардировки русскими. По телевизору показывали карты, изображающие траектории советских ракет при возможном нападении. Наш штат, в самом центре

<sup>1</sup> JAP — Jewish American Princess.

страны, почему-то считался возможной мишенью для нападения. Кому были бы нужны наши кукурузные поля, фермы, городки и моя школа в миле от большой реки, непонятно. На случай войны отец построил семейное бомбоубежище на заднем дворе. Это была какая-то странная землянка, с туалетом, душем и откидными койками. Родители заполнили убежище консервированными продуктами и строго-настрого запретили кому-либо об этом рассказывать. Считалось, что это нужно держать в секрете, так как в случае нападения, в убежище на всех соседей не хватит места и мы их все равно спасти не сможем.

В пятидесятые годы была популярна русская песенка на пластинке 45 оборотов, которая, кажется, называлась «Полночь в Москве». Песня, по-видимому, была ужасно пошлая, но каким-то странным образом создавала ощущение реального места, населенного людьми, а не только усеянного боеголовками. Редкие черно-белые фотографии, попадавшие в наши руки, подтверждали это успокаивающее ощущение.

Как идет твоя медицинская практика? С трудом представляю, как ты сочетаешь ее с литературой на двух разных языках.

Обо мне ты более или менее знаешь. Вспоминаю о России с теплотой, как о романтическом военном прошлом, особенно когда пытаюсь заниматься медитацией в своем кабинете в университете или на длинных факультетских совещаниях. Почему-то эти мысли переплетаются с сексуальными фантазиями. Наверное, опять из-за московских девочек. Фантазии развиваются на мой собственный сюжет, но нередко вплетаются московские эротические истории, которые ты мне рассказывал: странные места свиданий и любви, ваши вечеринки, танцы при погашенном свете и т.д. А мы-то росли в полной уверенности, что Россия пуританская страна, мужчины носят какие-то дикие синие майки, а женщины страшные лиловые трусы до колена, а вся сексуальная энергия уходит на игру в хоккей. Все собираюсь поговорить с моим психотерапевтом об этой ситуации с «оживлением» твоих российских эротических историй. Я полагаю, что это связано с моей чрезмерной

зависимостью от матери (ее родители приехали в начале века из России), естественно, взаимной. Это типично для еврейских семей моего круга! Честно говоря, принадлежность к среднему классу оказалась весьма комфортабельной. Когда появляется стабильность, начинает теплится мысль, что здравый смысл все-таки существует, все идет по какому-то плану, если только свыкнуться с чувством вины перед меньшинствами. Что, на самом деле, является неразрешимой проблемой. Не улыбайся, вы, русские, все неисправимые расисты и правые. Как тебе только удастся прятать свое истинное лицо? Наверное, многолетняя выучка. Но я тебя все равно помню и люблю и жду письма. Только, пожалуйста, поменьше политики и побольше о жизни.

*Твой Джордж.*  
Анн Арбор, Мичиган.

Дорогой Джордж! Честно говоря, твое письмо для меня приятная неожиданность. После столь долгого перерыва в переписке, я уж думал ты навсегда затерялся среди своих кукурузных полей, торговых центров и кампусов. Поздравляю с получением долгожданного места в университете, дающего пресловутую «вашу» («нашу») «стабильность». Мы, переселенцы, внешние и внутренние эмигранты воспринимаем происходящее не рационально, а фатально, а если кто-то и «устроился», то только в виду представившейся возможности.

Согласен с тобой: политики, культурологии и социологии не нужно. Хотя без некоторой социопатологии не обойтись. Я и сам, как человек, который пишет стихи, сюжета не долюбиваю. Так что извини, если получается какой-то «сюр»: запахи, мозаика зрения, старые банки и бутылки на дне подмосковного пруда в ясный день, когда вода тиха и нет лучшего занятия, чем глядеть в воду.

Начну с главного: московские девочки, как особая порода, все еще существуют, вырастают, созревают,

исчезают, на смену приходят другие, стареют, пьют, курят больше, голос делается хриплым, но новое поколение снова выпархивает из дверей школ, обрамленных белым весенним цветом. Эти девочки превращаются в поколения российских женщин, не знакомых с понятием оргазм, не «натренированных» как американки ремеслу самокопания. Они по-прежнему проводят свои лучшие часы в подъездах на пыльных подоконниках или у продавленной сетки лифта под лязгающий аккомпанемент цепи в шахте. Вот тебе и социальная сексопатология: у моего друга была знакомая, которая умудрялась испытывать все доступные женщине наслаждения на этой самой сетке в подъезде (о московские подъезды!) под выстрелы хлопающих дверей. А вот когда в июне ее родители уехали в Коктебель и квартира оказалась в их распоряжении, у них странным образом ничего не получилось, отчего он очень страдал по молодости и по нашей российской мужской псевдогордости.

Вы, в свою очередь, со вздохом вспоминаете времена, проведенные на заднем сиденье родительского «Бьюика», в drive-in кинотеатре, когда на «Бонни и Клайд» уже никто не обращает внимания. Где-то я читал, что в вашем поколении около пятидесяти процентов американок теряли девственность в автомобиле, на огромных, заполненных машинами площадках открытых кино. Может быть, этим объясняется наркотическая привязанность американцев к кино? А может, это был хорошо продуманный заговор Голливуда? Мы в это время сражались с зимними одеждами наших любимых в подъезде под приглушенный голос Зыкиной из соседних квартир, когда «общественник» ЖЭКа, отставной майор в синей майке Нечушкин неусыпно стоял на вахте у двери своей квартиры, прислушиваясь к нашим тщетным попыткам самоутверждения. Кто не изведал этих свиданий в подъездах, не знает «истории любви» нашего поколения!

Откуда берутся новые поколения москвичек? Из каких волн обновления выплывают? Я помню, как в Москве весной на улице появлялось еще больше интересных женщин. Решительно шагающих к метро в туфлях-платформах, в мини-

юбках, отводящих глаза при случайных встречах, подстроенных эскалатором метро. Но и в мимолетном отводе глаз существовало прикосновение кажущегося обещания. Американки в ответ на ваш взгляд иногда тоже обещающе улыбаются (своими белозубыми, дантистски безупречными улыбками), но при этом совершенно ничего не имея в виду. Все разложено по полочкам, все имеет свое время и место. Не обижайся, все есть «бизнес», и сходить с траектории дневных дел и наезженной жизни нельзя и опасно. Однако, и здесь, в Америке, они есть, эти чудные характеры, с почти российским бескорыстием ждущие и ищущие тех, кто им не может дать того, чего они ждут и ищут.

Новые поколения москвичек говорят по-русски все с тем же акцентом, поющим, мяукающим, слегка аффектированным московским выговором. Московский стиль близок к стилю нью-йоркских женщин, уверенных, резковатых, независимых, с быстрой походкой, в расстегнутом длинном плаще, на ногах — модные кеды (туфли, рядом с «Нью-Йорк Таймс», — в сумке, которая прижата к животу, чтобы не срезали), во рту — сигарета, и — кинжальный бросок через траффик за желтым такси. В коренных москвичках нет ничего провинциального. Как и жительницы Нью-Йорка, они — в центре всего происходящего. О Москве вернее сказать не «происходящего», а «того, что могло бы произойти, если бы все пошло по-другому». Это чисто московское ощущение, что где-то что-то происходит, возможно, в данный момент, но ты, как всегда, оказался не там, где надо. Этим объясняется типичный московский стиль кочевания с бутылками из одной квартиры друзей в другую. Кстати, этим психопатическим синдромом продолжают страдать русские, уже многие годы живущие в Нью-Йорке.

В Москве на протяжении нескольких поколений происходит дарвиновский жесткий отбор женщин: иногородние, которые лучше выглядят и личностно сильнее, как-то задерживаются, выходят замуж, получают работу, остаются при мужчине или меняют на другого, рожают коренных московских детей. Результаты этого «биологического» отбора видны на улицах. В Москве больше интересных женщин, чем где бы то ни было. Одно географическое

попадание в этот город давало шанс на возможность «почеловечески» устроить жизнь. Так было. Так остается и сегодня.

Оказавшись в Москве, я пошел к своей школе, и увидел, как стайка десятиклассниц выпорхнула на улицу. Они болтали, смеялись, закуривали, но самое главное — болтали. Я отвык от такой массовости родного говора улиц и дворов, где мы росли.

В Америке, при подавляющем численном перевесе «южной» эмиграции редко услышишь несколько московских женских голосов сразу. Не удивляйся, мой друг, это не сантименты неисправимого романтика Гумберта Гумберта. Это чувство более общее, и потому более необратимое.

Несмотря на сходство московских и нью-йоркских женщин, есть между ними существенные различия. Москвички более однородны. Как, впрочем, и парижанки и другие обитательницы западноевропейских городов. Нет этой невероятной нью-йоркской смеси: прямоносенькие, веснушчатые, рыжеватые ирландки; расселившиеся вдоль побережья ново-английские «воспики» (WASP<sup>1</sup>), с жестким взглядом, с загаром с Кейп Кода, в безупречных хлопковых брюках и льняных блузках из «Анн Тэйлор»; смуглые итальяночки из Квинсас длиннющими накладными ногтями; лонгайлендские ленивые, но хваткие, волоокие «джапихи», побрякивающие аляповатыми украшениями; скуластые больше ротые негритянки; изящные, обманчиво послушные, улыбающиеся корейки и, конечно же, несравненные богемные официантки в Сохо и Вилледже: хрустящие кожанки, металл, тяжелые ботинки, прекрасные усталые глаза, бледные лица, темная, почти черная, помада — все они поэтессы, актрисы, драматурги, танцовщицы, эссеистки. Только в Нью-Йорке на улице, за столиком ресторана у Линкольн-центра можно вдруг увидеть редкую жемчужину средневропейской породы (кто она — герцогиня, наследница престола исчезнувшей монархии?). Она вполне может оказаться княжной Монако или, скажем, Люксембурга. А, вероятнее всего, просто высококлассной проституткой на гастролях в Нью-Йорке.

<sup>1</sup>WASP — White Anglo-Saxon Protestant.

Я уже слышу твой голос: сойди со своей любимой темы, какова ситуация в России сейчас?! Что тебе на это ответить? Основные издания — «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер», «Нью-Йоркское Книжное Обозрение» — заполнены статьями ведущих экспертов — Дэвида Ремника, Шмемана, Джейми Гэмбрел, иногда — Татьяны Толстой и других. Все это попытки дать объективную информацию с позиций либерального американского центризма не многого стоят. Проблема заключается в том, что объективной информации не существует. Никто не знает, что произойдет в будущем, где каждый участник событий будет находиться и что будет с каждой социальной группой.

В Москве на зданиях другие вывески, флаги сменились. Но, внутри зданий, за столами, типы все те же, «начальники». Повсюду тлеет знакомая ментальность лагеря, тюрьмы, железнодорожной пересадки, — ментальность «совка». Удивительно, что многие теперешние персонажи узнаются даже и не по советским временам, а вытекают из прошлого, — например, из «Бесов», столь чтимого и читаемого вами Достоевского, или типажи вам неизвестного Салтыкова-Щедрина.

В Москве, да и в Нью-Йорке, мне довелось встречаться с молодыми журналистами, функционерами от литературы, широко печатающимися и в России, и в эмигрантской прессе, с так называемыми, «либералами-демократами». О чем и во имя чего писать неважно, лишь бы создать себе репутацию «глашатаев эпохи». Отличительные признаки: быстрота схватывания ситуации, толковость, хлесткое перо, вкус к скандальчику и естественная беспринципность. Эти ребята очень любят оперировать понятиями «мы», Россия, Запад, современность и т.д. Первое ощущение — это желание держаться от них подальше и не быть в числе этих «мы». Какой-то есть на них подозрительный семинаристский налет, холодное тление в глубине глаз напоминает, что появившись этот «демократ» где-то в начале века в студенческой среде, он скорее всего, впоследствии, стал бы следователем ЧК или функционером РАППА, а потом сам сгинул бы в смертельной воронке того времени. Эти новые типы вылетели из системы советских социальных сот и быстро

угнездились в новой затвердевающей системе смутного времени.

Свободно размножается, почти что прямым делением, модный теперь тип зубастеньких культурных девочек (опять я о них, но это другая разновидность), выступающих в обтягивающих рейтузах или коротких юбках, легко перемещающихся в пространстве и времени, и цепляющихся на Западе за все, до чего достанут их коготки. Многие из них хорошо знают иностранный язык и весьма социально адаптированы. Висит, однако, над ними кислое облачко вокзала, эвакуации и очереди. Вспоминается «Хлеб ранних лет» Белля, где герой танцует с одной из этих послевоенных девочек, и ему вдруг кажется, что у нее отрастают клыки.

Западные люди в целом, но американцы в особенности, не «секут» все эти российские типы и верят, верят. Происходит это из-за традиционной изолированности американской культуры («страна непуганных идиотов»). Средства коммуникации вызвали, конечно, коренной перелом, превратив мир в арену вечерних новостей. Но и сейчас кожей чувствуется, что многие средние американцы все еще в глубине души подозревают, что весь этот заокеанский мир, не что иное, как телевизионная выдумка лысоватых еврейских журналистов из крупных радиотелевизионных корпораций с обоих побережий Америки, придуманный для того, чтобы заполнить эфирное время между периодами футбола или бейсбола.

В наши дни любопытно наблюдать, как всплывают на поверхность старые российскетипы, которые были скрыты охранительной мимикрией среди фауны советского периода: «купцы», «батюшки», «конокрады», «юродивые» «кликуши», «мещане-выжиги» и т.д. Все они, конечно, существовали и каким-то странным образом были вплетены в советскую жизнь.

На жирной почве «дикого запада» России наливается соками тип «новых бизнесменов», а, на самом деле, не новых, а просто перекарасившаяся, давно знакомая личность политического функционера. Вместо того, чтобы становиться секретарями комитета комсомола института или завода, они теперь становятся активистами одной из партий или

флагманами бизнеса. На самом деле, не важно какой партии или какой индустрии.

Как ни парадоксально, местный вариант этих функционеров плодится и на современной американской почве. Посмотри на весь выводок наших «Клинтонов», функционеров, почти обязательно проходящих вместо «школы комсомольских и партийных органов», адвокатские факультеты университетов, а затем горнило предвыборных кампаний на местном или национальном уровне. Если помнишь, это те личности, которые по Беллю («Бильярд в половине десятого») «приняли причастие буйвола», т.е. активные конформисты. Этим неважно, где и когда жить. Больше всего их выдает язык. Достаточно проследить стиль всех этих расплодившихся меморандумов, бесконечных правил и распорядков в Америке девяностых годов. Они-то, в основном, и нагнетают анкетно-учетное давление, которое чем-то напоминает славные времена с вопросом: «служили ли вы в белой армии?» Каждый год, возобновляя лицензию для работы в лаборатории, я должен отвечать на стандартный вопрос «19с», нахожусь ли я под наблюдением врача по поводу диагностированного эксгибиционизма, педофилии и вуайеризма. Я уж не говорю об истерии с пресловутым «сексуальным харассментом» (нанесение оскорбления, несущего сексуальный оттенок). Заходя в различные учреждения в Москве, я почувствовал, что женщины и мужчины смотрят друг на друга с выражением, прямо показывающим, что они имеют в виду, и с полным сознанием того, что рядом с ними находятся существа другого пола. Я тотчас понял, что никто из них не прошел через семинары по «сексуальной дисциплине» по месту работы, которые приравниваются к нашим политзанятиям.

Заметны в Москве и совсем новые лица, в основном, молодые, те, кем, наверное, были бы мы, если бы родились позже и не эмигрировали. В них — сочетание интеллекта и предприимчивости. Эти ребята лишены нашего вечного диссидентского отпечатка: мол, родились и умрем при тысячелетнем царстве социализма. Сегодняшняя молодая интеллигенция выросла в мутном, но в более свободном, открытом, во всяком случае, обществе. Основное отличие от нас

заключается в том, что они, по-видимому, в состоянии создать и поддерживать свой мир, не уходя в глухое духовное подполье и не проходя с детства школу внутреннего эмигранта. Большинство нашего поколения были, и, как это ни странно, остаются этими внутренними эмигрантами. Когда-то это был единственный способ жить в своем внутреннем мире. Парадокс сегодняшнего дня в том, что многие из нас продолжают оставаться внутренними эмигрантами, пришельцами или, скорее, «транзитными пассажирами», где бы мы ни оказались.

Многие мои ровесники, люди шестидесятых-семидесятых годов, оставшиеся в России (почти все явные или скрытые диссиденты), психологически, а многие и материально, «зависли». Как это ни парадоксально, привычная, душная, герметичная банка открыта, а вот расти из нее некуда. Кроме как в себя. Что впрочем было и раньше. Для многих это оказалось все равно не «своя» страна. Вот так всю жизнь мы и живем не в «своих» странах.

В ситуации расползания общества среди молодых происходит жесточайшее разделение. Нужно или иметь сильную волю, продолжать быть самим собой и делать свое дело вне зависимости от окружающего шума или иметь подходящие данные, чтобы влиться в толпу золотоискателей российского Клондайка, за столбить свою территорию. Появляется свой, новый стиль у этих «крутых ребят». Один из близких мне людей в Москве с горьковатой усмешкой рассказывал, как к его двадцатитрехлетней дочери зашли повидаться несколько одноклассников из новых русских. Кто-то из них в строительном бизнесе, а кто-то служит на таможне! Ребята принесли дорогую текилу для себя (они пьют только текилу!), для девочек — французское шампанское и орхидеи.

Что касается культуры Москвы сегодня, то никакие фотографии не могут передать степень безвкусицы, которая повсеместна и поражает все шесть органов чувств. Москва превратилась в гигантский, ползущий широким фронтом, Брайтон-Бич. Не «Москва на Гудзоне, а «Брайтон-Бич на Москва-реке»: киоски, вывески, морды и отовсюду вопящая, рокошущая, мяукающая российская поп-музыка.

Женские варианты популярных песен, в основном, представляют собой мешанину из эстрады соцстран семидесятых и восьмидесятых с вульгаризованным вариантом Мадонны (если вульгаризация Мадонны вообще возможна).

В мужских вариантах песен, беспомощно подражающих твоему попутчику Высоцкому, слышны слишком знакомые отголоски блатной вокзально-ресторанной лирики, причем в дешевом варианте: загубленная молодость, «падлы», «начальнички», вокзалы. Эта сторона жизни совсем не является следствием только сталинских времен. Этим раствором испокон века пропитана жизнь любой русской деревни, фабрики и особенно фабричного городка, все той же слободы, с ее свинцовым пьянством и субботней поножовщиной на танцах. А теперь, наверное, и с перестрелкой.

Ты меня спрашивал, что произошло с моим социальным кругом. Я пишу, в основном, о себе и «своих». «Свои» — это Москва-Ленинград, интеллигенция, по понятным причинам, с сильным еврейским оттенком. Мы — хрущевское поколение. Годы формации прошли для нас в старших классах школы, когда «Один день Ивана Денисовича» и другие вещи пошли по рукам. Это было время, когда на уроках истории мы терзали нашу преподавательницу истории, толковую и образованную еврейку, Римму Яковлевну, секретаря партбюро школы. Бедняжка принадлежала к поколению наших родителей, «мрачных позитивистов», по выражению Н.Я. Мандельштам. Историчка пыталась привить нам хоть какой-то идеализм. Мы же хотели быть циничными, свободными и смелыми. Процесс Синявского и Даниеля и особенно град парашютистов Особой Воздушно-десантной Дивизии, выпавший на Прагу в 1968 году, шестидневная война, быстро нас убедили, что оставаться циничным — вполне нормально, а вот за смелость приходится платить! А жить по-человечески большинству хотелось. В общем-то, существовал выбор. Если хватало мозгов и маневренности, можно было даже и карьеру сделать, не очень замаравшись. Плата за гражданскую смелость в эти времена была уже не смертельной, хотя и вполне серьезной — нищета, изоляция от общества, нудная, грязная, порой, тяжелая работа — все

эти котельные, сторожа на кладбищах и необходимость состоять на учете в психдиспансере. Так вот и сложилось наше поколение порядочного (от слова «порядочность») частичного компромисса.

Все мы хорошо помним брежневские времена, времена дряблой, но еще чудовищной автократии. Это было удушающе и тоскливо. Но уже не так т р а ш н о. Начало массового отъезда и было началом конца режима. Подать заявление в охранку на измену родине и не сгинуть, а наоборот начать присылать глянцевые цветные фотографии преступников, сидящих за столом, уставленным иностранными пивными банками, вместе с инопланетянами, идиотски улыбающимися непонятно чему — это геологический сдвиг. Уже можно было найти свою нишу и прятаться там с еще несколькими, тебе подобными. Но цинизм, здоровый и нездоровый, уже созрел. Потому перестройка и прошла по российским понятиям сравнительно быстро.

Теперь «мой круг», о котором ты спрашиваешь, раскидан по всему миру: Восточное и Западное побережье Америки, Канада, Израиль, кое-кто по-прежнему в России. Прошли те времена, когда некоторые из наших принципиально оставались в России, не приноравливаясь к советской жизни и считая наш отъезд поступком безвкусным и суетливым. Но получилось так, что те, кому было предназначено душевно остаться вместе, — сошлись опять, но уже на другом витке жизни, после открытия границ. Немногие. Но оказалось, что настоящая общность сильнее переселения на другую планету. А все же жаль всего этого. Такое расслоение единой культурно-духовной общности неестественно. Это у всех нас оставило ощущение расщепленности. Ты скажешь: ну а как же нормальные американцы, американская рутинка — переезды в колледжи, университеты, смены работ, разводы — динамика современной профессиональной Америки. Это верно, но росли-то вы с начальной школы с понятием «я», а не «мы». Мы выросли с ощущением, что окружающий мир враждебен и не собирается давать нам возможности ступить шаг в сторону. «Мы» — тесно связанная духовной общностью группа и создавшаяся не только для предоставления друг другу ночлега и передачи киселя и бульона в

больницу, но и для духовного, порой неосознанного противостояния обезличивающей системе-энтропии.

Когда я присмотрелся к жизни в Москве, оказалось, что «круг», в том виде, в котором мы его знали, почти не существует. Многие разъехались, кого-то судьба развела. Что-то добавила безжалостная стратификация современной российской жизни. Обстоятельства разделяют духовно близких людей. Но все же наши встречи в Москве не были подобны американским встречам университетских друзей, как в знаменитом фильме «Big Chill». Там друзья по колледжу собираются из разных городов по поводу смерти (покончившего с собой) друга и погружаются в горьковато-приятные ностальгические воспоминания. На самом деле, они больше всего заняты собой и своими делами или, во всяком случае, собственным психопатологическим пейзажем. Они принадлежат к известному поколению «baby boomers», что, в общем-то, благополучный средний класс, являющийся хребтом общества. Встречи людей нашего круга, разбросанных по разным странам, городам, а в одном городе по разным жизням, несут совсем другой смысл. Они центростремительны, снаружи внутрь, с попыткой додумать и договорить, порой довольно лихорадочно, то, о чем не договорено, о «главном», может быть, не существующем, главном, а не только о том, как у кого идут дела.

Язык наших интеллигентских кругов — это язык некоего «ордена». Это семейная символика, со своими легендами, иронией, игрой на исторических реминисценциях, с естественным вплетением поэтических строчек, и неизменно упоминаемое имя Мандельштама, присутствующее тенью и в периоды молчания.

Я не пытаюсь романтизировать былые московско-ленинградские времена, но не могу не заметить, что культура разговора, увы, в большой степени подверглась эрозии. Когда-то мы умели слушать друг друга, передавать прочитанное. В настоящую эпоху, в основном, из-за расчленения, разъезда нашего круга эта культуры беседы, городского семейного фольклора почти потеряна.

С этим процессом связан и тот печальный факт, что

теперь мало кто читает стихи, да и, вообще, всерьез читает. В Америке всем некогда, в России — тоже, поп-культура забивает оба уха. Есть другие способы поразвлечься, так что недо «устных пророков». Русскоязычная поэзия начинает приобретать знакомые черты американской поэзии — закрытой, богемно-элитной формы искусства. А может, так и надо? Может быть, это и есть нормальная форма социального существования поэзии. Вы, американцы, часто смешиваете ошеломляющий стадионный успех русской поэзии шестидесятых со свойствами этой поэзии. А это неправильно. Времена были другие и у людей не было особого выбора. Слушать Бродского или Бобышева толпы не собирались, да если бы они и стали читать на площади, их бы немедленно в милицию отволокли. Хотя внешне их поэзия и была менее социально заряжена, чем у Вознесенского и Евтушенко. Эстетика была другая, а секретная полиция иногда бывает очень тонким ценителем искусства.

Итак, что же произошло с нами, мальчиками и девочками шестидесятых-семидесятых годов, как расслоилось поколение внутренних эмигрантов? Те, кто уплыли с третьей волной, уплыли в два потока до начала восьмидесятых, как бы, настоящие эмигранты, и послеперестроечная очень пестрая волна — от старых отказников до вполне советских людей.

Однако, все мы проходили через фазу «разбитого зеркала». Собственный образ каждого из нас в большой степени складывался из отражения в глазах привычного окружения. При переезде, этом втором рождении, зеркало разбивается, американцы не могут точно понять, кто перед ними, а часто им и наплевать на это. «Свои» в новых условиях стремительно изменились, да и сами, оказавшись в сходном положении, потерянно озираются. Образ свой постепенно восстанавливается из разбросанных осколков и заново найденных кусочков другого восприятия мира и языка.

При перемещении за океан возможность перехода из одного круга обитания в другой была утеряна, возможность передохнуть среди своих почти исчезла и давление пошло внутрь: в себя и в семью. Такая замкнутая семейная жизнь

непривычна для российского человека. Отсюда частые разлады и разводы у людей средних лет, поставленных перед необходимостью жить по-американски.

Многие из нас, переселенцев, устроились, неплохо знают язык и социально адаптированы. Но органического слияния с американской культурой не происходит. Так же, как и не происходит отката обратно, в открытую Россию. Большинство из нас прижилось на Западе, а главное не к чему возвращаться. Кто же мы, переехавшие сюда насовсем, создающие свою культуру и уже не ждущие возвращения? Мы — это некая новая формация, что становится особенно ясно, когда приезжаешь в Россию.

Полное вживание в новую культуру занимает примерно пять-шесть лет при чувстве подспудного страха, что в случае отторжения, попадаешь в формалиновую банку жизни. Формирование новой культуры, освоение в новой среде занимает, примерно, лет двадцать-двадцать пять. Недавно это происходило с латино-американцами, в прошлом было с итальянцами и евреями, а теперь происходит с нашей волной эмиграции. Стало появляться ощущение, что мы ж и в е м здесь, а не только устраиваем жизнь. Наши дети вырастают и ездят в летние лагеря на побережье Атлантики и на пенсильванские озера. Здешняя политика перестает быть пустым набором слов и имен по радио. Но, по-настоящему земля становится своей, не тогда, когда любовно ухаживаешь за газоном при своем доме (принадлежащем местному банку), а когда в нее ложатся родные и друзья. Зеленые, аккуратные холмы непривычных американских кладбищ и становятся нашим подлинным «видом на жительство», истинной «грин-картой».

По-настоящему новая языковая культура делается своей, когда *sensibility* человека адаптируется к новому миру. *Sensibility* — плохо переводимое, но очень важное в американской ментальности слово, означающее комплекс чувств восприятия мира, если угодно, способность человека психологически воспринимать этот мир. Понятие это также плохо переводимо, как и стихи. У некоторых, людей внешне вполне устроенных, этот комплекс не пластичен и никогда не меняется, даже после десятков лет жизни в новой стране.

У других, у меня, например, психо-эмоциональный слой адаптирован к новым условиям и на этом уровне сознания я живу полноценной жизнью. Однако — даже мы, адаптированные, в глубинном слое остаемся тайными агентами других держав, сквозными людьми, внутренними эмигрантами, в общем-то, по отношению к миру, и запутавшимися детьми мировой культуры, с той только оговоркой, что этого мира не существует.

Пора заканчивать. Вот напоследок стишок, написанный мной в Шереметьево в «Irish Bar», в ожидании обратного полета:

Так широка страна моя родная,  
что залегла тревога в сердце мгlistом,  
транзитна, многолика и легка.  
Тверская вспыхивает и погасает,  
такая разная: военная, морская;  
и истекает в мерзлые поля.  
Там, где скелет немецкого мотоциклиста  
лежит, как экспонат ВДНХ.

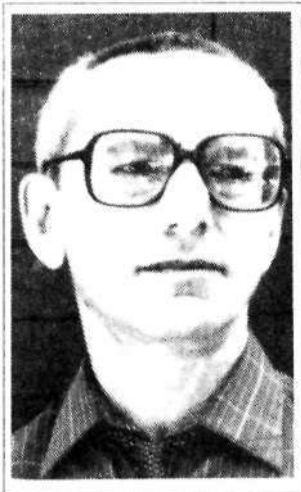
За ним молчит ничейная земля,  
в аэродромной гари светят бары,  
печальных сел огни, КАМАЗов фары,  
плывущие по грани февраля,  
туда, где нас уж нет.  
И слава Богу. Пройдя рентген,  
я выпью на дорогу  
с британским бизнесменом молодым.  
В последний раз взгляну на вечный дым  
нагого пограничного пейзажа,  
где к черно-белой утренней гуаши  
рассвет уже подмешивает синь.

Хотелось бы еще о многом поговорить, но дописываю в машине по дороге на работу, исповедуясь в портативный диктофон прямо на хайвэе. Да и пленка кончается... Утро красит нежным светом пригородный пейзаж северного Нью-Джерси: дорожный ресторан «Дайнер 17-го хайвэя», банк

«Пригородного доверия», поворот на городок «Справедливый газон», стремительно заселенный наступающими русскими, открывшими магазинчики с красной и белой жирной рыбкой, с грибочками, с газетой «Печатный орган» и польским земляничным вареньем на прилавках. Недалеко от моего съезда — отель «Праздничная гостиница», один из тех, где еще сохранился институт дешевых дневных цен за комнату, снимаемую на несколько часов для тайного свидания, стареющими, последними могиканами апдайковской сексуальной революции 60—70-х годов, которые по инерции продолжают заниматься внебрачным сексом.

Это то, что на сцене, а что происходит у меня, за кулисами, я попытался описать. В наши времена даже объем и ритм писем диктуются пригородным пейзажем, длиной магнитофонной пленки и временем, проведенным в машине.

Нью-Йорк-Москва-Нью-Йорк,  
1995-1996 гг.



МОМЕНТ  
ИСТИНЫ

Миша ГОФМАН

## АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА. ЦЕНА УСПЕХА

Публикуется в порядке обсуждения

### От автора

Прожив в Америке 19 лет, половину своей сознательной жизни, став во многом американцем, я тем не менее продолжаю видеть мир через призму русских культурных ценностей.

Как и большинству иммигрантов, мне пришлось начинать с самого начала. Начал как посудомойщик в ресторане, но в своей карьере смог подняться только до басбоя — уборщика столов. Все двери в этой стране открывает образование, и я пошел в Колумбийский университет, получил один диплом магистра в русско-английском двуязычном образовании и второй в обработке информации, прожив три года в общежитии Колумбийского кампуса.

Из вакуума университетской жизни легко и безболезненно я перешел к профессиональной работе в Институте Еврейских Исследований, где в течение 3 лет занимался сбором фото и киноматериалов об истории

русского еврейства, которая завершилась документальным фильмом и огромной выставкой в Еврейском музее.

Все последующие годы работы в различных организациях, занимающихся культурной и профессиональной адаптацией русских иммигрантов, свели меня с сотнями россиян и с не меньшим количеством американских коллег и волонтеров, помогавших иммигрантам на первых порах приспособиться к новой и непонятной жизни.

Узнавая о том, как складывается жизнь многих иммигрантов, бросалась в глаза определенная закономерность. Чем успешнее складывалась профессиональная судьба, дававшаяся, как правило, огромным трудом и полной отдачей делу, тем более проблематичными становились для них отношения с людьми.

Психолог с мировым именем, получая в университете стотысячную зарплату, купив дом за полмиллиона и обставив его антиквариатом, остался в своем доме один.

Программист высокого класса, сделавший блестящую карьеру и зарабатывающий 150 тысяч в год, имеющий дом в престижном сабёрбе и проклинающий бессмысленность и пустоту жизни, в которой нет ничего кроме работы, меняющий одного психоаналитика за другим и несколько лет сидящий на прозаке.

Популярный врач, работающий без выходных, зарабатывающий до полумиллиона и выдающий спасение в том, чтобы зарабатывать миллион, а затем открыть собственную картинную галерею, где можно забыть об эффективности и продуктивности рабочих часов и можно поговорить с людьми просто так, за искусство.

Смысл жизни в русской среде когда-то был главным предметом и темой дискуссий. В иммигрантской среде эта дискуссия завершена. Ответ найден. Смысл жизни в успехе. Достижение Американской Мечты о материальном благосостоянии и есть ответ на все вопросы. Понадобилось 12 лет для того, чтобы собрать из сотен кусочков достаточно мозаичную картину. В результате сложилась антология, в которую вошли выдержки из более чем ста работ психологов, социологов и культурологов, американских, европейских и русских авторов об американском и русском менталитете.

В предлагаемой статье, в которой я воспользовался материалами из антологии и помимо нее, сделана попытка обобщения многочисленных и разнообразных мнений, процеженных через опыт механизмов общественной жизни, формирующих повседневную психологию и образ мыслей среднего американца.

## Сабёрб

Сабёрб, в переводе на русский, означает пригород. Но сабёрб это не только понятие географическое, это также образ жизни, стиль жизни, характерный только для Америки. Он воплощает в себе то, что связано с материальным успехом и стилем жизни среднего класса.

Сабёрб — это реализованная американская мечта о близости к природе. Здесь в естественных условиях можно вести комфортабельное существование вдали от загрязненной атмосферы и высокой преступности городов, где отдельный человек неразличим в огромных толпах, где темп жизни делает человеческие контакты поверхностными и семейные ценности подвергаются постоянной атаке.

В Европе определение среднего класса близко к российскому пониманию интеллигентности. Кроме уровня зарплаты средний класс в Европе отличает качество образования, уровень и качество культурных потребностей, философия и стиль жизни.

В Америке, средний класс определяется лишь одной количественной категорией — уровнем зарплаты. Качественные категории, не переводимые в цифры, как правило, не принимаются во внимание. К среднему классу относят семьи, имеющие доход от 24 до 72 тысячи долларов после налогов. Это 45% населения страны. К среднему классу принадлежит хозяин бензоколонки и редактор научного журнала, водитель трака и профессор университета.

Средний класс, как правило, живет в пригороде и работает в городе. Значительную часть своей жизни житель американского пригорода проводит в машине. Сабёрбы недаром называют спальнями городов. В течение недели житель пригорода, тратя каждый день от 2 до 4 часов на поездки на работу и обратно, проводит дома только ночь.

Жителей сабёрбов можно отличить по походке — ходьба для них непривычное занятие. Единственное место, где они могут ходить, — это клуб здоровья (health club). Улицы американского пригорода не для ходьбы. По ним двигаются только на машине, поэтому одинокий прохожий сразу привлекает внимание полицейского патруля, который чаще все-

го предлагает подвезти до дома, если прохожий живет в том же районе, если же нет, то ему придется отвечать на целый ряд вопросов в полицейском участке.

Внешний вид дома и газона демонстрирует статус владельца. Поддержание их в порядке владелец считает своим общественным долгом. Плохо ухоженный газон и ветшающий фасад дома снижает стоимость всех домов в данном районе. Престижный вид газона перед домом, в сознании американца, так же обязателен, как выглаженный костюм для появления в офисе. Стерильность жизни сабёрба с его идеально подстриженными газонами и отсутствием постороннего шума является неперенным условием высокой стоимости недвижимости.

Жизнь американца основана на культе семьи и собственного дома. Семья — это микрокосм, внутри которой житель Америки может проявлять свою индивидуальность, реализовывать подавленные эмоции, устанавливать человеческие связи. Семейная жизнь концентрируется вокруг дома. Покупка дома — центральное событие жизни.

Приобретение его в рассрочку, хотя и принято называть «покупкой дома», не является покупкой в прямом смысле слова. Система кредитов на 30 лет, введенная в 60-х годах, позволила покупать дома даже людям со средним уровнем достатка. Поставленный на продажу дом, стоящий 100000 долларов, в конечном счете обходится покупателю, выплачивающему его стоимость вместе с процентами на кредит в течение 30 лет, в сумму в 3-4 раза превышающую номинальную стоимость, т.е. не менее 350-400 тысяч долларов. Владельцем дома покупатель становится только к моменту когда сумеет выплатить всю сумму долга, и на это нередко уходит вся жизнь.

Гость из России, побывав у родственников в Америке и имеющих «свой дом», за который они должны выплатить долг в несколько сотен тысяч долларов банку (моргэдж), две машины (как правило тоже в кредит), вернувшись домой, рассказывает как богато они живут. «Свой дом, в гараже две машины, и в банке несколько сотен тысяч».

Владение домом дает статус уважаемого члена общества и, одновременно, накладывает обязательство удерживать

достаточный уровень дохода, даже если необходимо работать по 10-12 часов в день.

Владелец дома постоянно находится в круге проблем, связанных с поддержанием дома в нормальном состоянии. Решение практических вопросов по ремонту и содержанию дома, выплаты по счетам и кредитам, переписка с банком, со страховыми компаниями нередко отнимает у владельца дома все его свободное от работы время.

Дом, это не только и не столько жилье — это прежде всего символ достигнутого успеха. Эффектный ухоженный фасад, размер дома, количество комнат и ванн, декоративность окружающей природы формируют стоимость дома и статус, престиж владельца. Потеряв хорошо оплачиваемую работу, человек как правило теряет дом, а вместе с ним и общественный статус. Поэтому, даже хорошо обеспеченные и имеющие престижные профессии представители среднего класса так тяжело переживают потерю работы — нарушается весь экономический цикл их жизни, сконцентрированный вокруг выплат долга за дом.

## Virtual Reality Иллюзия реальности

Американец хочет жить внутри картинки, изображающей счастливую жизнь. Картинность богатых пригородов при первом впечатлении, действительно, поражает воображение. Ощущение, которое возникает после некоторого пребывания внутри этого мира воплощенной мечты, что эта жизнь нереальна и все это не более чем декорации.

**Это заметил Чарльз Диккенс в своих «Американских Записках», написанных в середине прошлого века: «Все здания выглядят так, как будто они построены и покрашены сегодня утром, и могут убраны на завтра без каких-либо проблем. Их впечатляющие фасады, сделанные из картона, деревянных планок и покрытые штукатуркой, имеют не большую перспективу чем рисунки домиков на чайных чашках и в такой же степени приспособлены для реальной жизни...»**

Создание декораций, искусственных имитаций жизни, которые выглядят эффектнее, чем реальная жизнь — огром-

ная, разветвленная индустрия, создающая иллюзию богатой жизни.

Офисы крупных корпораций, демонстрируя свое богатство, украшаются полированными «деревянными» панелями, отлитыми из пластика, толстыми «шерстяными» коврами из синтетических материалов, богатыми «кожаными» креслами из винила, роскошными букетами фабричного производства из бумаги, проволоки и пластмассы.

Тенденция заменять реалии мира «улучшенными» образцами возникла не сегодня. Пуритане говорили о том, что человек должен подчинить себе природу, сделать жизнь независимой от ее стихий. В контексте индустриальной экономики эта идея была реализована в экономически выгодном строительстве стандартизированной среды обитания, в которой природе придаются желательные для человека черты. Идея пуритан, в процессе своего воплощения и развития индустриального общества, привела к созданию искусственной среды, оторванной от естественной жизни природы.

При создании новых жилых районов, для экономии строительства, бульдозеры снимают верхний слой земли вместе с деревьями, кустарниками, травой — то есть органическую среду, которая формировалась многие годы и связывала эту часть ландшафта со всей окружающей природой. Затем завозится качественная земля, сажаются более эффектно выглядящие деревья и кусты, выросшие на другой земле и в других условиях. Декорация великолепной природы вытесняет естественные формы жизни, нарушая экологический баланс, создававшийся веками. Ампутируется физически неизмеримый элемент — «душа природы».

«Enriched human environment» (обогащенная среда) создается по тому же принципу, что и «enriched food» (обогащенные продукты питания), которые проходят химическую обработку на «улучшение», и, в результате, продукт приобретает более «товарный вид и вкус», но утрачивает необходимые для организма органические элементы.

Нарушение экологического баланса в новостройках приводит к психологическому дискомфорту. Жители таких районов не могут объяснить причин возникновения ощущения

опустошенности, внезапных страхов и ощущения бессмыслицы жизни. Все внешние, физические компоненты, должные создавать комфорт, присутствуют, а реального чувства комфорта нет.

Писатель Джон Чивер, которого называют поэтом сабёрба, пишет о доме своих героев — воплощении мечты американцев среднего класса — Бэббитов. «Дом Бэббитов — стандартный. В нем жили и любили, но он не имел никакого отношения к людям. У дома Бэббитов был один недостаток — он не был домом». Дом Бэббитов не был домом в том смысле, что он не впитывал эмоции, чувства тех, кто в нем жил — он так и не стал обжитым. Он не был домом — просто сооружение из бетона, фанеры, картона и стекла.

Искусственность многих форм американской жизни при всей тщательности отделки фасадов, декораций, прикрывающих реальность, не могут скрыть от европейцев их иллюзорность, поддельность, которую американцы, в своем большинстве, практически не ощущают.

Маяковского, побывавшего в Америке в 1925 году, поразила лихорадка создания все новых и новых богатств и в то же время бессмысленность достижений этого огромного труда, в котором важен не результат — обогащение человеческой жизни, а лишь сам процесс безостановочного движения, роста богатств.

Экономика требует немедленного показателя успеха — прибыли. Цели бизнеса краткосрочны. Постоянно меняющиеся условия рынка не позволяют смотреть в далекую перспективу. Экономика, диктуя свои условия, делает временность всех аспектов общественной жизни обязательным качеством. Временность всего, что составляет среду жизни, лишает ее той полноценности и объемности, многомерности, которую внесла в нее складывавшаяся веками европейская культура.

Новая цивилизация существует, в конечном счете, не для человека, а для безостановочного развития и усовершенствования огромной индустриальной машины. Общественное мнение не может принять реальность в ее очевидности, так как сама идея, что интересы человека вторичны по отношению к интересам машины производства и потребления, слишком дискомфортна.

«Американцы обладают уникальной способностью не видеть разницы между реальностью и имитацией реальности. Подлинность, достоверность большая редкость в американской жизни и бесценна как редкие, драгоценные камни». Английский писатель Мэтью Арнольд. «Цивилизация в США». 1888 год.

Александр Генис, русский иммигрант, журналист: «Когда смотришь на Америку со стороны, особенно из России, она кажется прекрасной. Но вблизи, в непосредственном контакте, американская жизнь представляется упрощенной, выхолощенной. Она сродни гигиенической и безвкусной здешней кулинарии.

Американцы часто кажутся нам существами одномерными, как персонажи мультфильмов или как силуэты американских городов, которые ведь тоже похожи на театральные декорации».

Картина жизни-мечты настолько мастерски сделана, что тот, кто живет внутри нее всю жизнь и не знает ничего другого, принимает ее за реальность. Лишь те, кто жил в несовершенном, но в реальном мире, при попытке войти в картину, осознают что это лишь рисунок. Это те, у кого, как у Буратино, длинный, любопытный нос. Буратино пытался войти в картину прекрасной жизни, но каждый раз протыкал носом бумагу, на которой она была нарисована.

## Американский бизнес

Европейская философия жизни, построенная на идее, что материальная культура, материальное богатство создает фундамент для полноценной, достойной человека жизни, в американских условиях трансформировалась в идею, что богатство, его увеличение и есть само содержание жизни.

Для того, чтобы сделать процесс создания и увеличения богатства неостановимым, была необходима система воспитания, в которой человек добровольно, без внешнего давления, примет идею, что он существует для того, чтобы производить, что его жизнь должна быть посвящена беспрепятственному росту материального богатства.

**Горький, воспевавший в своих произведениях облагораживающее влияние созидательного, творческого**

труда, тем не менее, увидел в американской форме отношения к труду, определяющему все содержание жизни, силу, разрушающую сами основы и смысл человеческого существования:

**«Везде труд. Все охвачено его бурей. Все стонет, скрежещет и повинуетя воле какой-то тайной силы, враждебной человеку и природе».**

Это качество американской жизни увидел и Шолом-Алейхем, проживший в Нью-Йорке два года, и похороненный на кладбище «Old Carmel Cemetery» в Квинсе в 1916 году. Жизнь американцев напоминала ему существование пассажиров на огромной транзитной железнодорожной станции. «Люди здесь не живут — они только пытаются выжить, перепрыгивая с поезда на поезд», — писал он в своих письмах в Россию.

Стремление к успеху, в конечном счете, является желанием завоевать любовь и уважение окружающих. Но успех не несет в себе никакой другой награды кроме самого успеха. Успех это нечто вроде рекорда, поставленного на стадионе, где герой дня первым пересек ленточку финиша, получил минутные аплодисменты публики и после этого снова должен вернуться в тренировки. Философия успеха — философия спорта. Идея жизни как спорта, где успех подтверждается цифрами дохода, превращает жизнь в непрерывный бег за рекордами.

Попытка добиться признания своей ценности и уважения через цифровые показатели успеха и вещи, ассоциируемые с высоким престижем, поставили людей в зависимость от абстракций, не имеющих отношения к реальным ценностям человеческих отношений, к самому процессу жизни.

Статистика подтверждает, что большинство людей думает, что увеличение доходов на 25 процентов сделает их счастливее. Но, когда они поднимаются до желаемой отметки, то вновь уверены, что только с увеличением дохода на 25% к ним придет чувство благополучия. Отметка уровня дохода, символизирующего успех, постоянно повышается. Используя естественное желание людей сделать свою жизнь материально богаче, общество ставит все повышающиеся требования к определению того, что считать богатством.

50 лет назад глава семьи, работая, обеспечивал нужды всей семьи. Сегодня, для того чтобы соответствовать принятому средним классом образу жизни и приобретать все, что связано с этим статусом, должны работать оба, муж и жена.

Вся техника, окружающая нас, создана чтобы сократить расходы времени на работе и дома, увеличить количество свободных часов для досуга. Микроволновые печи, сокращающие расходы времени на готовку с часов до минут, стиральная машина экономит время на стирку, видео снимает проблему поездок в кино. В офисах и цехах устанавливают компьютеры, чтобы довести эффективность расходов времени до предела. Телефоны в автомашинах, портативный компьютер в чемоданчике, факс, бипер — техника создана для того, чтобы сберечь время.

Отпуска сократились до предела, чаще всего это удлиненные уик-энды. По данным опросов разных лет, свободное время американцев уменьшилось с 1979 года на 40%, т.е. уменьшилось время на то, чтобы получить удовольствие от таким трудом заработанного богатства. Все освобожденные техникой часы посвящаются снова той же работе. Вся жизнь, все 24 часа в сутки — время еды, сна, отдыха таким образом оказываются подчинены делу. Все машины и организационные приемы, «сохраняющие время», включили современного человека в производственный процесс в такой степени, какой не существовал у рабов Древнего Египта.

Борьба за эффективность и продуктивность, в конечном счете, не приводит к улучшению жизни, она лишь ведет ко все более и более высоким ступеням интенсификации труда. Работа становится смыслом, целью и оправданием жизни. Абстрактный успех, определяемый уровнем достигнутого богатства, становится важнее радостей жизни, которое это богатство может принести.

Рост производства и потребления стали целью и главным содержанием общественной жизни.

## Успех

Мы оцениваем себя через ступени успеха, на которые мы взобрались, по тому, что мы создали и стремимся создать

еще больше и еще больше получить. Чтобы больше получить, мы должны увеличить нашу продуктивность и, когда мы увеличиваем нашу продуктивность, оказывается, что результат наших трудов не больше чем абстракция цифр на нашем банковском счете.

**«Повышение продуктивности внешне увеличивает общественное благополучие, но измотанный огромным напряжением работник не имеет ни времени, чтобы пользоваться этим благополучием, ни жизненной энергии, чтобы получать удовлетворение от него».** Американский социолог Кристофер Лаш.

Эпицентром американской жизни когда-то была семейная жизнь. Сегодня она уступает свой приоритет работе. Родители работают на двух, а то и трех работах, для того, чтобы дать детям богатую материальную жизнь и высокий уровень образования, которое может принести детям еще более высокий уровень материального благополучия и, в конечном счете, видят своих детей все реже и реже. Возвращаясь домой после работы, родители имеют время только, чтобы сказать своим детям «Доброй ночи».

**«Скрывая от самих себя несостоятельность в умении радоваться самой жизни, мы оправдываем свой эскепизм — бегство от бессмысленности жизни, построенной на достижении все время ускользающего ощущения материального успеха, еще большим уходом в работу, экономической необходимостью».** Социолог Вотчел.

В своем романе «Мартин Челзвик» классик американской литературы Сантаяна показывает своего героя, Мартина Челзвика, англичанина, путешествующего по Америке начала века, узнающего к своему удивлению, что в демократической Америке существует аристократия. Когда он спрашивает, на каких же принципах стоит американская аристократия, ему отвечают: «На уме и силе характера. Точнее их последствии, долларах!»

Мартин слышит разговоры группы бизнесменов после делового обеда: «...ему казалось, что все, чем они озабочены, их радости, горести, надежды — все растворяется в долларах. Люди оценивались в долларах, измерялись в долларах. Сама жизнь продавалась с аукциона, взвешивалась, смешивалась с грязью или поднималась на огромную высоту через доллары».

Билл Гейтс, глава компьютерной фирмы Микрософт,

создавший ее за 18 лет, начав в маленькой мастерской в подвале своего дома, — «компания стоит сегодня 15 миллиардов долларов» — самый богатый человек США — работает 80 часов в неделю.

Опрос, проведенный среди 400 самых богатых людей страны, показал, что большинство из них не занимаются ничем, кроме делания денег. Характерные ответы на вопрос, чем они заняты в свободное время: «У меня нет хобби, я слишком занят», «Когда-то я, время от времени, играл в гольф. Но это отнимает время, которого всегда не хватает. Если тратишь много времени на себя, то можешь проиграть в сложной игре бизнеса, которая требует полного и неразделенного внимания».

Физическая осязаемость имущественного богатства и эстетическая сторона обладания им подменяется одномерным чувством восхищения перед абстракцией успеха, выражаемого в цифрах. Успех сегодня воспринимается даже не столько через владение вещами, сколько через цифры дохода. Несколько десятилетий назад мечта об успехе оставалась только мечтой. Лишь немногие были готовы посвятить свою жизнь абстрактному идеалу. Сегодня огромные массы среднего класса начинают видеть в успехе цель жизни и готовы на любые жертвы. Иллюзии в глазах многих и есть единственная реальность.

**«Средний человек в Соединенных Штатах напоминает вымотанное тяжелой работой животное, на спине у которого тяжелый груз, а к голове привязана палка, с которой свисает огромная и сочная морковка, видимая, совсем рядом, и недостижимая. Приз за тяжелую работу часто только воображаем, но он все время в центре сознания. Груз давит и отнимает все силы, а недостижимая морковка все время пляшет впереди перед глазами. Многие обречены на бесконечный путь к недостижимой морковке».** Психолог Вильям Шрейдер.

Практичность, прагматизм американского подхода ко многим проблемам жизни, поразительно эффективен в ограниченной перспективе сегодняшнего дня, но если рассматривать цели и результаты безостановочного создания богатств в объеме всей человеческой жизни, американский прагматизм противоречит здравому смыслу. При всем сво-

ем внешнем богатстве американская жизнь поражает своим аскетизмом.

**«Самый душераздирающий факт американской социальной жизни, ее архитектуры и культуры — эмоциональная и эстетическая скудость. Вы постоянно чувствуете, что что-то отсутствует в вашей жизни. Вас окружает огромное количество вещей, облегчающих жизнь, о которых европеец может только мечтать и в то же время весь этот материальный комфорт и вся ваша жизнь лишена духовного, эмоционального и эстетического содержания». Английский социолог Гарольд Стирс. 1982 год.**

## Рожденные покупать

Америка — страна с самым высоким уровнем покупательной способности. Однако обладание огромным количеством вещей не принесло умения радоваться богатству культуры материального мира. «Искусство жизни», которое складывалось веками, освященное традициями в Европе, не стало чертой американской цивилизации.

Все больше новых продуктов появляется на полках супермаркетов, все большее количество технических новинок, облегчающих и украшающих жизнь, появляется в магазинах. Но все увеличивающееся количество все более дорогих и красивых вещей не улучшает качество жизни.

Как пишет американский психолог и социолог Фред Хирш: «... чем больше мы посвящаем себя увеличению нашего материального благополучия... тем больше мы зависим от вещей в поиске чувства удовлетворения жизнью».

Уровень нашей зависимости от вещей беспрецедентен в человеческой истории. В результате этой зависимости мы чувствуем себя все больше разочарованными в качестве нашей жизни...

...Мы озабочены повышением нашей продуктивности. За повышение продуктивности мы платим понижением нашего здоровья, физического и психологического. Мы тратим на бизнес ту энергию, которая необходима, чтобы воспринимать мир в его физической и эмоциональной полноте.

...Пытаясь преодолеть чувство превалирующей без-

**защитности, чувство бесцветности, пресности нашей жизни и внутренней пустоты, мы, надеясь, что большее количество вещей, которые мы сможем приобрести, все-таки принесут нам остро желаемое чувство благополучия и радости жизни, увеличиваем нашу продуктивность и еще глубже погружаемся в состояние безысходности».**

Потребление превратилось в основную форму культурного досуга в американском обществе — посещение молла (огромного суперсовременного рынка потребительских товаров) — важнейшая форма времяпровождения. Тот, кто не может покупать, чувствует себя социально ущербным.

Награда за все более напряженный труд — удобства и комфорт, который нам приносит все более усовершенствованный быт, не увеличивает нашей удовлетворенности жизнью, в сравнении в обычным «неусовершенствованным» бытом людей 50—100 лет назад.

Результатом опроса Институтом Общественного Мнения Гэллага в 1991 году стал вывод, что увеличение коллективного материального благосостояния 80-х годов не привело к чувству благополучия.

Являясь первой страной мира по покупательной способности, США стоят на последнем, 12 месте, в шкале качества жизни, после Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.

## Знание и информация

**«Наша жизнь, в которой мы потребляем все больше вещей и все больше информации, не становится богаче — она становится все более пустой и плоской, а отношения людей все более поверхностными. Знания о мире, приходящие к нам из средств массовой информации, все больше становятся калейдоскопом мелькающих образов и идей. Наше восприятие мира все больше напоминает галлюцинацию...» Американский социолог Кристофер Лаш.**

Цель массовой информации — создание информационного продукта, рассчитанного на массового потребителя. Такой продукт может успешно продаваться только в том случае, если он не вызывает дискуссию, а обходит ее. Все

события и идеи становятся продуктами на продажу, и в этой атмосфере рынка все, что содержит противоречия реальной жизни, исключено.

Чтобы быть проданным, продукт должен обращаться к самым простым, элементарным чувствам и использовать идеи, понятные третьекласснику. Чтобы иметь высокий рейтинг, средства массовой информации обращаются к самым примитивным формам интереса, к самым вульгарным формам выражения.

Индустрия информации и развлечения, сориентированная на вкусы потребителя, в конечном счете создает мир, в котором нет ни глубины, ни ярких мыслей, ни сложных идей, ни широкого спектра чувств.

Фильмы не ставят серьезных жизненных проблем. Сложные темы сведены до того минимума, который может быть понят подростком. Характеры не имеют объема и не развиваются в процессе сюжета. Динамика процесса внутренней жизни человека и общества подменена динамикой передвижения героев в пространстве. Действие существует во имя самого действия. Истинные чувства, сложные эмоции подменены плоскостным графическим пунктиром. В них отсутствует показ развития личности, драматизма и трагизма жизни, какой-либо анализ и катарсис приобщения к истинному знанию — все то, что характерно для высокого искусства. Как говорят о героях голливудских фильмов, они сначала стреляют, а потом уже думают.

Массовая культура не ведет и к формированию человека-гражданина, чувствующего свою ответственность за развитие общества.

Индустрия информации и развлечений тщательно обходит реальные проблемы и конфликты жизни, не пытается открывать новые горизонты знания, это лишь огромная фабрика, на которой знания о мире перерабатываются в упрощенный и имеющий лишь внешнюю видимость реальных проблем, стандартизированный массовый продукт.

Работнику нужно отвлечься от монотонности, бесцветности рабочих часов, восстановить себя для следующего рабочего дня. Он не может посвятить отдыху и культуре всю полноту своих чувств и мыслей. Он должен их сохранить для

работы. Включая телевизор, подавляющее большинство не будет слушать серьезные дебаты или смотреть шедевры классиков театра и кино. Поэтому даже новости построены так, чтобы развлекать, ужасать, привлечь внимание любым способом. Передачи новостей сообщают о Лорене Боббит, отрезавшей пенис у своего мужа, о братьях Менендес, убивших своих родителей, маньяке Доммере, поедавшем части тела своих жертв, священниках, растлевающих детей. Реальная жизнь сводится к телевизионному детективному сюжету, как в случае Симпсона — ежевечерняя серия, продолжавшаяся несколько месяцев.

Американцы тонут в информации, которая не является реальным знанием о мире, поэтому массовые опросы показывают постоянное уменьшение их понимания общественных проблем.

Настоящее знание ведет к внутренней свободе, духовному богатству, к развитию индивидуальности. Массовое сознание видит в информации, которую принято называть знанием, продукт, который нужно купить дешевле и продать дороже.

## **Индивидуализм и индивидуальность**

Английский социолог и историк Томас Карлзэиль, в конце 19 века, обратил внимание на то, что машинное производство, делая общество богаче, в то же время действует разрушительно на ценности культуры, построенной вокруг уважения к уникальной человеческой личности.

В глазах американцев писатели, художники, люди творческих профессий никогда не были выразителями возможностей личности. Их героем всегда был человек, создающий богатства, — бизнесмен. Вера в то, что достигнуть богатства дано только уникальным, выдающимся людям доминировала, по европейской инерции, в американском обществе 19-го, начала двадцатого века — периоде становления индустриального общества.

Благодаря этим талантливым людям и была создана Америка. Технические достижения Америки, ее неподдаю-

щиеся описанию материальное богатство, огромное многообразие и доступность комфорта вызывают зависть даже жителей преуспевающей Европы. Но ведь богатство страны создают не отдельные, пускай самые выдающиеся люди. Каков же должен быть творческий потенциал народа, создавшего все это материальное богатство?

Продуктивность и эффективность американского бизнеса могла быть достигнута за счет высокой стандартизации производства и стандартизации всех форм отношений в деловой жизни. Благодаря такому подходу, Америка стала самой мощной индустриальной страной мира.

**Сергей Есенин, после посещения Америки в 1924 году, писал, что неопишное богатство Соединенных Штатов было создано не гением народа, а благодаря талантливой технической и социальной инженерии. По его словам, американская элита создала совершенные чертежи, и каждая посредственность, пользуясь стандартными кальками, способна строить великолепные машины, здания, вещи, создавать компании и организации, не обладая ни широкими знаниями, ни культурой.**

Через 60 лет ту же мысль повторил русский иммигрант, социолог Шляпентох: «... даже очень посредственные люди могут отлично решать сложные задачи, если у них есть хорошие методики и инструкции».

Для создания сложных машин необходимо было ввести узкую специализацию — машины должны выполнять в совершенстве несколько операций и повторять их в монотонной последовательности. Ремесленник и даже крестьянин средневекового общества выполняли работу, в которой проявлялась их индивидуальность, все функции работы были осмыслены и вели к чувству удовлетворения от созидательного, творческого процесса. Машинная цивилизация потребовала превращения человека, обслуживающего машины, в точный специализированный инструмент, в машину среди других машин.

Рэй Бредбери в своей «Утопии номер 14» говорит, что цивилизация создала чрезвычайно сложное общество и, для того, чтобы оно работало, люди должны выполнять узкоспециализированные работы, не приносящие им никакого удовлетворения.

Сегодня вера в то, что сильные, яркие личности создают общественное богатство и добиваются вершин успеха, все меньше подтверждается практикой. В условиях сложнейших экономических и общественных связей современного общества, в условиях работы в атмосфере современного офиса с его требованиями полной лояльности организации, успех достигается только за счет полного отказа от индивидуальности.

На Уолл-Стрит — финансовом центре Нью-Йорка, во время ланча, наулицы высыпают тысячи молодых и не очень молодых людей, в одинаковой одежде, с одинаковым выражением лиц, лиц, на которых нет и следа индивидуальности.

В атмосфере бизнеса только деловые качества и способность легко отказываться от себя, от своих чувств, мыслей, принципов — уровень способности к адаптации к меняющимся требованиям дела определяют ценность человека.

**Отсутствие черт индивидуальности у американцев бросается в глаза тем, кто воспитан на европейской идее, что ценность личности определяется индивидуальностью, своеобразием черт характера и объемом, многомерностью внутреннего мира, богатством культуры.**

**Французский социолог Боуриллард (1980-ые годы): «Европейца поражает ошеломляющее отсутствие персонализированных характеров и эмоций в американской жизни».**

**Американский писатель Генри Джеймс: «Европейцы, побывав в Америке, с удивлением констатируют сравнительную редкость черт индивидуальности в лицах американцев. Особенно поражают люди пожилого возраста, которые выглядят как постаревшие дети».**

В общественном мнении своеобразие личности не является ценностью, поэтому никто не тратит энергии на формирование индивидуальности. Эмоции, богатство внутреннего мира, реализуемое через общение с природой, с высокой культурой и людьми — все это должно отойти в сторону — эти качества не ведут, а скорее уводят от успеха. Практический результат, как единственная категория, которой определяется человеческая ценность, привел к созданию неиндивидуализированных характеров, людей без «собственного лица».

Жизнь Европы строилась на политике и идеологии, и в них культура занимала центральное место. Культура всегда считалась целью и смыслом цивилизации. Результатом всех сфер человеческой деятельности является не материальное богатство само по себе, а культурные ценности, которые были созданы. Культура же создается яркими личностями и формирует личностные черты у тех, кто живет в ее атмосфере. Оценка достижений цивилизации и отдельных людей через культуру привела в Европе к тому, что творческая личность в сфере искусств стала предметом массового уважения и восхищения. Работа талантливых представителей всех видов искусств оплачивалась выше всех остальных профессий.

Для цивилизации Нового Света, строившейся на голом месте, искусство было излишеством: «Искусство для нас не первая необходимость — нашей стране нужны ремесла...» Джон Адамс, третий президент Соединенных Штатов.

Европейская идея ценности индивидуальности в этих условиях трансформировалась в идею индивидуального предпринимательства, которое видит ценность человека в практическом, экономическом результате его труда и не предполагает наличия индивидуальности в европейском смысле.

Америка создала новое мышление, новую психологию, новые культурные ценности — ценность труда, материального богатства, роста экономики. Европейцы находили красоту, волнение, катарсис в искусстве, американцы в строительстве бизнеса, в росте капитала. Культура и ценности все усложнявшегося производства и рынка становились культурой и ценностями повседневной психологии. Так же как европейцы занимались обогащением своей внутренней культуры, приобщением к ее высшим достижениям, так и американцы совершенствовали себя, впитывая сложные формы деловой жизни, делали их частью своего внутреннего мира.

Многих удивляет, что в Америке, построенной на идее свободы личности и неограниченного индивидуализма, массы людей не обладают индивидуальными чертами. Но это и не может быть иначе, когда все основные культурные ценности и идеи формируются экономическим интересом.

Человек стоит ровно столько, сколько он стоит в денежном эквиваленте, и эта идея рынка абсолютна и незыблема. Для успеха нельзя иметь ярко выраженной личности — появится порода людей без лиц, порода людей, лишенных индивидуальности — «plain» (пустой), «shadow personality» — (человек-тень).

Слова, сказанные Гете в 19 веке, — «Наивысшее счастье рода человеческого — личность», сегодня звучат анахронизмом.

**Демократическое общество дает широкие возможности для свободного выбора. Но этот выбор определяется и диктуется условиями рынка. «Наше общество дает людям больше возможностей делать, что они хотят, нежели любое другое, существовавшее в истории, но так как общество определяет, что хорошо, а что плохо, все мы, независимо друг от друга, выбираем один и тот же путь и делаем одно и то же в совершенно одинаковой форме». Социолог Филип Слатер.**

**Рынок определяет цели и мечты. Молодежь, мечтая о будущем, не ищет сферы, в которой можно проявить свою личность, свою уникальность, свой талант. Самые популярные профессии — адвокат, биржевой брокер, бизнес-менеджер — наиболее оплачиваемые.**

**«Что же после этого удивляться, что американцы так моложавы и скучны. Жизнь, прожитая столь здоровым образом, не дает состариться и даже повзрослеть. Она лишена внутреннего драматизма, глубины, эмоционального и интеллектуального достоинства». Русский иммигрант, журналист Александр Генис.**

Философ и писатель 19 века, Генри Торо, идеалист и защитник прав индивида на свободное творческое выражение, простодушно напоминал:

**«Когда культура будет нам нужна больше, чем картошка, а просвещение больше, чем засахаренные сливы, ... тогда главными продуктами общества будут не рабы-исполнители, а люди — эти редкие плоды, именуемые героями, святыми, поэтами и философами». Даже 20-ый век продолжал рождать идеалистов. Джеймс Труслоу Адамс в своей книге «Американский**

эпос» в 1931 году: «Американская Мечта вовсе не мечта об автомобиле или высокой зарплате, это мечта о таком социальном строе, при котором каждый человек сможет достичь той высоты, на которую изначально способен, когда ему не будут мешать барьеры, выдвинутые в интересах отдельных классов и групп.

Если мы будем рассматривать человека только как потребителя, тогда придется согласиться, что чем более безжалостным будет большой бизнес, тем лучше. Но если мы будем видеть в каждом человеческое существо, тогда нам нужно будет вмешаться и направить бизнес таким образом, чтобы он служил интересам человека как личности, а не как производителя и потребителя».

Сегодня предупреждение Адамса выглядит наивным. То, о чем он предупреждал, произошло. Большой бизнес и его интересы стали важнее гуманистических идеалов. Экономические интересы в глазах людей важнее всех остальных. Рынок сформировал иные ценности и создал иную атмосферу жизни. Рынок свел многомерность человека к плоскостной психологии работника и потребителя, создал новую породу людей без личностных качеств. Социолог 60-ых годов Герберт Маркузе назвал этот продукт постиндустриального общества «одномерный человек».

## От редакции

Не трудно представить, что у многих читателей статья Миши Гофмана вызовет отрицательную оценку. Возможно даже нас спросят: а зачем, вообще, редакция решила ее печатать? За долгую жизнь журнала перед нами нередко вставал этот сакраментальный вопрос — печатать или не печатать. Но всякий раз желание оставаться демократическим изданием одерживало верх — ни один серьезный автор не может быть лишен права высказать свои идеи, независимо от того, нравятся они нам или нет, верны они или не верны с точки зрения редакции.

Что же касается самой статьи, то давайте начнем не с идей — к ним мы вернемся позже — а с наблюдений автора. Если мы хотим остаться честными перед самим собой, согласимся, что многие из его наблюдений взяты из реальной жизни Америки. Например, когда он

пишет, что жизнь американца строится на культе семьи и собственного дома, или, когда утверждает, что дом — это не только жилье, но и символ достигнутого успеха американца, что стремление к успеху становится главным символом американского общества, или что американская индустрия развлечений создает мир, в котором нет ни глубины, ни ярких мыслей, или, когда рассказывает, что опрос, проведенный среди 400 самых богатых людей страны, показал, что большинство из них не занимается ничем, кроме делания денег... Таких высказываний много и, оставаясь в своей критике объективными, признаем, что в них присутствует правда американской жизни. (Хотя и относится она не только к Америке, но в целом к развитию современной цивилизации.) Но тут же встает вопрос: что, в сущности, представляет собой эта правда? Упрекая Америку и американцев в бесчисленных грехах капитализма, автор статьи не замечает, что он говорит о вещах, на самом деле давным-давно известных, которым посвящено разливанное море литературы. Потому и оказывается лишенной смысла любая попытка затеять на этот счет спор. Спорить можно с чем-то новым, обладающим каким-то новым оригинальностью или, по крайней мере, несущим какую-то информационную нагрузку, а не с тем, например, что рост производства и потребления стали в Америке целью и содержанием общественной жизни или что «массовая культура не ведет к формированию человека-гражданина, чувствующего свою ответственность за развитие общества». Повторяю, в статье несть числа подобным откровениям, которые, если вдуматься, представляют собой набор штампов и стереотипов, которые возвращают нас своими истоками к «единственно верному учению» и от которых, в силу крушения этого учения и его детища на одной шестой части планеты, давно отказалась даже левая пропаганда.

В статье своей автор обрушивается на отрицательные черты Америки, будто кто-то когда-то утверждал, что это безгрешное, идеальное общество и что американская цивилизация при том, что она есть великая цивилизация, не есть явление сложное, противоречивое и сопряженное со многими издержками и отрицательными последствиями. За ясностью вопроса нет смысла на всем этом останавливаться. Но что очень важно — не выбросить вместе с ванночкой ребенка и за разговорами об

отрицательных сторонах американской жизни, действительно имеющих место, не видеть великих достижений этой жизни, которыми пока не может похвастаться ни одна страна в мире. Желая подкрепить свою критику Америки, автор выстраивает перед читателем целый частокол цитат (часто довольно ярких и принадлежащих знаменитым авторам), но при этом не замечая, что само время их появления говорит о том, из какой лавки древности взяты многие из этих цитат. В каком-то смысле, даже не без интереса читатель воспримет высказывания Диккенса и Гете из 19 века или голос незабвенного Шолома Алейхема, и, может быть, вспомнит с ностальгией свои школьные годы и «Город желтого Дьявола» Горького, заодно с американскими «изысканиями» Есенина и прочими бесценными источниками информации для понимания Америки кануна третьего тысячелетия!

Впрочем, в статье «Американская мечта» есть действительно кое-что новое. Новое ее в том, что автор в своем стремлении создать целостную картину старательно компилирует воедино все эти чужие и собственные высказывания и сам, того не замечая, сооружает довольно искусный муляж, призванный поразить читателя своим мрачноватым правдоподобием. Почему же правдоподобием? Потому что правда — если к ней серьезно относиться, — это не просто совокупность наблюдений, пусть даже и связанных с реальностью, а прежде всего их объективно верная, проверенная жизнью оценка. Что касается жизни, без обращения к которой трудно понять современную Америку, жизнь эта, похоже, вообще, не нужна автору — нет ни живых американцев, ни их восприятия своей страны, ни их устремлений, ни их деятельности, а лишь абстрактные схемы, которые нам предлагается принять на веру, некий бездуховный мир, населенный скучными и обделенными радостями людьми. Вот эту самую «жизнь», автор и подвергает остракизму, не понимая простой вещи, что к оценке Америки надо подходить с критериями жителей этой страны, самих американцев, а не обитателей другой планеты. Подходить с пониманием внутренних механизмов этого общества, всем своим устройством стимулирующим в каждом гражданине рвение к работе, к своему бизнесу, желание, трудясь в поте лица, вырваться и «сделать» свой первый миллион, добиться ценой

труда и борьбы успеха в обществе. Нет, не во имя абстракций цифр (все это от лукавого!), а во имя того, чтобы и он и его дети могли жить прекрасной, полнокровной жизнью — именно все это (кажущееся автору пустой и бессмысленной гонкой), как раз и наполняет жизнь американцев смыслом, делает ее по-настоящему интересной. Отберите у них вовлеченность в свое дело, в свой бизнес и труд, отберите амбиции, стремление к успеху и материальному богатству, и они перестанут быть американцами, а Америка перестанет быть Америкой.

Конечно, за достижения цивилизации часто приходится дорого платить. Кто-то ощущает пустоту, кто-то — депрессию, кто-то сидит на прозаке — но при чем же тут Америка, благодаря которой эта цивилизация переживает свои невиданные триумфы?

Известно, что многим эмигрантам этот американский стиль не по душе. Он представляется им потогонным, скучным и бездуховным. Кто-то предпочитает об этом помалкивать, кто-то высказывает свою точку зрения вслух. Миша Гофман решил написать об этом статью, по существу довольно наивную, хотя по-своему эмоциональную и искреннюю. Статью на очень важную тему — о стране, в которой мы живем и которую, как мы убедились еще раз, так мало знаем.



Иосиф КОСИНСКИЙ

## ЖИЗНЬ И МЕТАНИЯ ЮРИЯ НАГИБИНА

В наше время российскую интеллигенцию трудно чем-нибудь удивить, — и тем не менее «Дневник» покойного Юрия Нагибина произвел сенсацию. Задетые им — таких очень немало — клопочут негодованием, присяжных блюстителей общественной морали возмущает откровенность многих страниц, большинство же читателей, не причастных, в отличие от автора, ни к Союзу советских писателей, ни к Союзу кинематографистов, выражают — в ряде случаев печатно — искреннее недоумение: что заставило вдову столь видного и талантливого литератора предать гласности подобное произведение? Знамение эпохи — «заголимся и обнажимся»?

Такова была воля автора. «Непосредственность и подлинность» — вот, по определению самого Юрия Нагибина, главное достоинство его дневника, определившее решение писателя опубликовать столь откровенные и интимные страницы.

Первое впечатление от «Дневника» — в самом деле шокирующее. Нагибин не щадит своих современников, а между тем — его окружением была так называемая советская (и околосоветская) элита, притом — творческая элита. И вот мы встречаем у него такой, например, проходной эпизод:

**... Накануне Марина Влади проповедовала у нас на кухне превосходство женского онанизма над всеми остальными видами наслаждения. В разгар ее разглагольствования пришел Высоцкий, дал по роже и увел.**

Нет почти ни одного собрата-писателя, о ком Нагибин не отозвался бы в своем дневнике уничтожающе резко. Белла Ахмадулина? «Недобра, коварна, мстительна и совсем не сентиментальна, хотя великолепно умеет играть беззащитную растроганность... Она никого не любит, кроме — не себя даже, — а производимого ею впечатления. Они оба с Женей (Евтушенко. — И.К.) — на вынос, никакой серьезной и сосредоточенной внутренней жизни». О другом известнейшем «шестидесятнике», другом властителе наших дум: тот «превратился в окурочок. Это мимикрия, он стал хорошо издаваться, ездит за бугор то и дело, его признание все растет, и чтобы его не кусали, он прикинулся совершенным дохляком-оборванцем. Вот то, чего я никогда не умел».

И так — почти обо всех современниках. Да и не только современниках: походя разоблачаются Нагибиным, скажем, мнимые доброта, широта души, щедрость и деликатность Чехова («И какой же злобой прорывался он порой по ничтожным обстоятельствам — вот тут он был искренен»). С явным удовольствием узнает автор «Дневника», каким страшным человеком, «фанатиком и деспотом» в семье, и вдобавок ко всему шизофреником, был давно умерший русский ученый, жена которого прожила жизнь «мученицей», двое сыновей из-за невозможного характера отца либо в силу ужасной наследственности покончили с собой, а дочь «в 24 года умерла отчахотки». А после смерти ученого его «трагическая судьба и непомерная личность стали достоянием ничтожеств и халтурщиков», накропавших о нем один — серую повесть, другой — бездарный киносценарий...

И это — те, кто лично Нагибина ничем и никак не задел. Вящее горе тому, кто хотя бы однажды нелестно отозвался об авторе дневника или о его произведениях: неосторожный критик становится сразу и «подонком», и «прохвостом», и «назойливой платяной вошью», независимо от своих (скажу от себя: бесспорных) заслуг перед русской литературой вкупе с историей.

Так что же, почти 600-страничный «Дневник» — это книга «о себе, любимом» в окружении бездарей, подлецов, литературных и политических проходимцев?

Если бы дело обстояло так, не стоило бы и писать о ней. Но это далеко не так.

Публикация состоялась, повторю, когда Нагибина уже не было в живых (он умер в прошлом году). Издательство в своей аннотации отмечает, что перед нами «своеобразная автобиография Ю.М. Нагибина, носящая глубоко исповедальный характер». Очень, однако, приблизительно эта пресная характеристика. Нагибинский «Дневник» — зеркало эпохи, тем и интересен в первую очередь. «Прерывистый след одной жизни» — так охарактеризовал его сам автор: действительно, прерывистый, ибо записи он вел от случая к случаю, — но на непрерывном и притом — до чего же красноречивом фоне протекала эта жизнь!

Кроме того, при всей уникальности любой творческой личности, судьба Нагибина очень показательна, даже, пожалуй, характерна для судьбы его поколения, и в своем «Дневнике» он вполне раскрыл ее перед современниками и перед будущими историками подсоветской России. Начать с того, что он — вовсе не Юрий Маркович Нагибин: его отца звали Кириллом, и погиб этот никому не ведомый Кирилл — был расстрелян то ли белыми, то ли большевиками — в 1920 году, не успев увидеть сына. Подробно (с чьих слов?) рассказывается в «Дневнике» о том, как упорно и какими разнообразными способами мать пыталась избавиться от еще не родившегося Юры, — кстати, это, наверное, тоже сыграло роль и в его характере, и в жизненной судьбе... Юре заменил отца Марк Яковлевич Левенталь («которому я обязан намного больше, чем случайно зачавшему меня»), а потом у него появился еще один отчим.

Юноши рождения 1920 года почти все погибли в Отечественную войну. Нагибину повезло — он попал на фронт не в первые же дни войны, а в начале 1942 года, да и не на передовую, а в редакцию армейской газеты; в конце того же года получил тяжелую контузию и был демобилизован. Контузия обернулась свирепой клаустрофобией, дававшей себя знать до конца жизни; хотя, опять же, быть может, не одна лишь контузия и тут виновата...

Недюжинный писательский талант Нагибина дает себя знать с первых же страниц дневника, посвященных военным будням. Уже здесь проявляются его острая наблюдательность и безжалостная «правда факта», очень приглушенная, затушеванная в нагибинских рассказах, печатавшихся в сталинское и послесталинское время.

**Танки пошли, когда противник уже успел оправиться после обстрела. Их встретили термитными снарядами... Четырех разведчиков сожгло на танке. Я их видел, когда их отодрали от брони и сбросили совсем рядом с НП.**

Следует подробное описание того, как выглядели эти заживо сгоревшие. Я здесь не стану его приводить — настолько оно кошмарно.

**Мертвые сраму не имут, — заключает Нагибин эту сцену, — но эта унижительно похабная смерть невыносимо отвратительна и гнусна, от нее тошнит и нет никакой жалости — бешенство на то, что так унижают человека.**

Это — из ужасов войны. А вот — повседневный военный быт:

**Сижу и зверски расчесываю мучительно зудящее тело. Читаю... лирику Гете. Прочту, запущу руку под мышку, извлеку вошь, и к ногтю.**

**Уж если слишком донимают, подпаливаю рубаху под лампой. Если стихотворение слабо, зуд сильнее, и борьба с гнусом ожесточенней; когда попадается действительно прекрасное — вошь почти незаметна.**

**Вот истинная, без дураков, оценка лирики.**

**Таким образом я выяснил, что не очень много остается от Гете, — вошь сильно донимала, но вот «К Миньоне», «Фульский король», «Сдержись, я тайны не нарушу...» и кое-что другое — превосходные вещи, настоящий пиретрум!**

Кто не переживал ничего подобного — вправе поморщиться: фи, какой надуманный физиологизм! Однако в том-то и дело, что не надуманный: как и любое воплощение человеческого гения, книга — настоящая книга, разумеется, — действительно, не только облегчает физическую муку, но и помогает выжить в экстремальных, нечеловеческих условиях, — тому немало примеров хотя бы из эпохи ленинградской блокады.

Уже первые свои военные впечатления Нагибин подытоживает в свойственной «Дневнику» бескомпромиссной форме, которая постоянно будет давать себя знать и в дальнейшем, раздражая определенную категорию читателей:

**Солдаты бодрости не чувствуют. Ее чувствуют здоровые, розовощекие люди из штабов, которые через день бреются и меняют подворотнички на гимнастерке. Эти люди едят бумаги, обедают в столовых, пугаются каждого самолета, поднимают панику при каждом удобном случае, в остальное же время полны бодрой воинственной активности.**

**Сражаются больные, изнуренные и грязные неврастеники с обмороженными носами, усталым взглядом, и такие слабые, что их может осилить ребенок. Здоровые толстые бодрые люди едят бумаги, посылают в бой других...**

Это написано в феврале 1942 года. Как же мы еще три с лишним года воевали, и не только воевали, но и вторглись в Европу и победили в той страшной войне? Да в том-то и дело, что миллионы людей, в том числе и слабосильных, и нездоровых, каких в былое время сочли бы вообще непригодными к военной службе, воюют в нашем веке не благодаря своим физическим достоинствам и мужеству, а в силу совсем иных факторов. Тут и смертоносная техника, и «политраба с людьми», и ужасы вражеского плена, и заградительные отряды за спиной, и трибуналы, — проще говоря, безвыходность положения солдата. Но ведь и это пронзительно видит Нагибин:

**По дороге шел лыжный батальон, хорошо снаряженный, вооруженный автоматами, клинками, с шанцевым инструментом на ремне и свернутыми плащ-палатками за спиной. Дети лет семнадцати. Они были все без**

**исключения малорослы, трогательны и измучены. Они то и дело останавливались и бессильно ложились в снег, в странных, беззащитных позах — один на локте, другой на спине, ноги подогнуты, третий свернулся калачиком, как в своей детской постели. И все же... неверно изображать их как только безнадежных, малолетних страдальцев. Я вижу сквозь всю их усталость и тоску, как они метко бьют из-за брустверов, как с криком «Ура!» наступают под огнем противника, именно — наступают, то есть участвуют в этом сознательной силой, а не как, стадо ягнят.**

Может быть, и сам автор дневника, недалеко по возрасту ушедший от этих юных солдат, доведись ему, проявил бы себя безрассудно храбрым и мужественным в атаке, на поле боя. Но в вернувшейся мирной жизни он выглядит вполне типичным представителем «потерянного поколения», познавшего войну. «Однообразен ключ моей жизни: водка и бабы... Изюм в день, из месяца в месяц, из года в год, — записывает он в августе 1949-го. — Вот к чему свелась жизнь — дар и тайна Божья».

Впрочем, он тут, как и во многих других местах своего дневника, излишне самокритичен. К «водке и бабам» его жизнь отнюдь не свелась: большое литературное дарование властно дает себя знать; ему даже кажется, что «страшно быть неписателем», что «непереносимым должно быть страдание нетворческих людей: ведь их страдание окончательно, страдание «в чистом виде», страдание безысходное и бессмысленное, вроде страдания животного. Вот мне сейчас очень тяжело, но я знаю, что обо всем этом когда-нибудь напишу. Боль становится осмысленной... Страдание, боль — это прекращение жизни, если только оно не становится искусством, то есть самой концентрированной, самой стойкой, самой полной формой жизни».

Однако — слаб человек. Что Нагибин не обвиняясь и признает за собой — с той же искренностью и болью — уже в те, первые послевоенные годы:

**Халтура заменила для меня водку. Она почти столь же успешно, хотя и с большим вредом, позволяет отделаться от себя. Если бы родные это поняли, они должны были бы повести такую же самоотверженную борьбу с**

моим пребыванием за письменным столом, как прежде — с моим пребыванием за бутылкой. Ведь и то, и другое — разрушение личности...

Ужас халтуры... особенно ощутим в те часы, когда лежишь в постели и не можешь заснуть. Это не фраза — страшно по-настоящему, пусто, щемяще страшно.

Но есть и другой взгляд на вещи. Стоит подумать, что бездарно, холодно, дрянно исписанные листки могут превратиться в чудесный кусок кожи на каучуке, так красиво облегающий ногу, или в кусок отличнейшей шерсти, в котором невольно начинаешь себя уважать, или в какую-нибудь другую вещь из мягкой, теплой, матовой, блестящей, хрусткой, нежной или грубой материи, тогда перестают быть противными измаранные чернилами листки, хочется марать много, много.

Это, в конечном счете, и погубило Нагибина. Листки литературной халтуры перестают быть противны — но делается противной сама эта половинчатая жизнь. И водка в ней не вытесняется халтурой, они прекрасно сосуществуют. И тот же «кусочек отличнейшей шерсти» утрачивает способность возвращать уважение к себе, продающемуся за бесценок.

Отсюда, наверное, эти все более частые у него приступы отчаяния и мизантропии, разочарование в «дрянном спектакле», именуемом человеческой историей и вновь и вновь разыгрываемом на подмостках жизни, хотя давно «износились костюмы, обветшали декорации, стерлись слова, как старые пятаки, актеры смертельно устали». «Как измельчало представление о силе и универсальности человеческого гения!» — восклицает писатель на той же странице. Действительно, измельчало, — и к этому выводу он еще не раз вернется в своем дневнике. Однако пессимистический взгляд на человечество не мешает ему писать хорошо оплачиваемые сценарии фильмов о своих выдающихся современниках, и его диапазон завидно широк — от Кальмана до Гагарина.

А вот о Солженицыне он напишет только в дневнике, — зато как напишет! Споеет поистине гимн величию, бесстрашию и бескорыстию великого собрата. И тут же с сарказмом отметит — по контрасту — расчетливый «подвиг» Евтушенко

— протест первого поэта брежневской державы против высылки Солженицына («Неужели ты не понимаешь, что это с о г л а с о в а н н ы й протест? Это игра в свободу мнений, укрепление международных позиций нужного человека?»)

Существует и еще один недосыгаемый образец, и для него Нагибин тоже находит не просто благодарные — проникновенные слова.

**...Из всей беллетристики я могу перечитывать лишь Бунина. В подавляющем большинстве своих вещей он меня ничему не учит, и ни чем не убеждает, не обращает в свою веру, — да и у него и нет ее, — а просто дает дышать сеном, травой, женщиной, видеть звезды, тучи, деревья, бедных одиноких людей. Это серьезно, все остальное — поденки, лакейство перед временем и его «проблемами», на завтра уже не стоящими и копейки. Так, из раздражения можно поиграть в идейки, но литература всерьез — это радостный плач о прекрасном и горестном мире, который так скоро приходится покинуть.**

В другом месте дневника Нагибин высказался о любимом писателе еще короче и восторженней:

**«Сегодня бешеный ветер гнул деревья, обрывая с них последние листья. Как здорово работает природа — точно, целеустремленно, безошибочно, как Бунин».**

Ни много ни мало... Эти великие примеры заставляют Нагибина прямо-таки корчиться в муках от сознания, что и ему в сущности было столь много дано, а вышло, что его собственный вклад в отечественную культуру умален и подмочен сервильным желанием получить от властей долю пирога пожирней и побольше.

Обидно до скрежета зубовного, вот и раздается то и дело этот скрежет со страниц нагибинского дневника. Ибо ведь дарование-то очевидно и бесспорно. Не только в нагибинских — действительно прекрасных — рассказах, но и здесь, в записях для себя, встречаются куски, где автор, не побоюсь сказать, не уступает в силе и точности письма классикам. При общей мрачной и желчной тональности дневника в нем немало и светлых пятен — мастерски выписанные картины

природы, охоты, заграницы. В ранней молодости — это живущие в душе впечатления детства:

**Боже мой! С какой удивительной отчетливостью вспоминается мне кусок моего детства: паркет, залитый солнцем, голубое стекло окна и мать, поющая «Шумом полны бульвары»...**

**...Есть ли вообще что-либо лучшее в жизни, чем воспоминание о молодой матери!**

А в дальнейшем под его пером обретают обаятельность — это ли не признак высокого писательского дара? — вещи, о которых «в обществе» принято говорить с пренебрежением, если не гадливостью.

**Я понял, чем прекрасно воровство, — пишет он по поводу незначительного, только что пересказанного им эпизода. — За все в жизни приходится расплачиваться, ничто не дается даром: ни любовь, ни творческая победа, никакая малость. А вот тут, почти без усилий, — выигрыш, дар небес, Божий гостинец. До чего приятно хоть так обмануть безжалостную судьбу, жадных людшек, у которых снега зимой не выпросишь!..**

Чисто по-нагибински проникновенен и такой, к примеру, рискованный отрывок:

**Каждая баба, даже самая дурная, считает своим долгом что-то отдать понравившемуся ей мужчине, хоть какую-то частичную девственность. Одна из тех, кого называют «заверни подол», долго мучилась, что бы из остатков невинности мне подарить. Наконец, мило зардевшись, она сказала, что я первый мужчина, видевший ее зад.**

В понимании другого человека, в сочувствии ему в любых житейских обстоятельствах, всегда присутствует что-то христиански трогательное.

И вот при таком таланте, при безупречном владении словом — крест, тяжелее которого и быть не может: вечная душевная раздвоенность. Он трудится не покладая рук, — однако же те, от кого зависит столь многое, почему-то не ценят его по сделанному, не числят наравне с презренными Михалковым или Грибачевым. Он много ездит по заграницам — но ради каждой поездки приходится обивать те или иные

пороги. Завидно высоки его заработки в кино — однако он не хозяин собственным сценариям. У него есть все, чего душа пожелает, — но неотступно грызет мысль, что, принадлежа к советской элите, он не дотянул до суперэлиты, до тех, кого именуют заветным термином **к о н т и н г е н т . . .**

**«Я делаю в кино вещи, которые работают на наш строй, а их портят, терзают, лишают смысла и положительной силы воздействия. И никто не хочет заступиться».**

В другом месте дневника Нагибин еще более категоричен:

**«...Я сделал много полезного с точки зрения государства. Я вполне годился для того, чтобы быть принятым на вооружение. Но власти... не нужно союзничество, нужно рабское подчинение, а во мне этого не чувствовалось».**

Что ж, союзник советской власти — это тоже совсем немало. Он внес — пусть в иных случаях переменяясь, а порой даже с явным отвращением, — весомую лепту в то, чтобы продлить существование бесчеловечного, обреченного режима. И усердно стриг купоны со своего коллаборанства.

И вот — характерное, прямо-таки по-розановски слезливое и покаянное признание:

**Последние годы я обременял Бога только маленькими поручениями: «сделай так, чтобы в коробке осталась хоть одна негорелая спичка», «сделай так, чтобы бензина хватило до дачи», «сделай так, чтобы мне подали карский шашлык»... Давно прошло то время, когда я вымаливал людям, животным и растениям долголетье, счастье, прочность, когда я был наместником Бога и смело ходатайствовал перед Ним за всех маленьких на земле. У меня не убавилось веры в Бога, убавилась лишь вера в Его всемогущество.**

Фальшиво, замечу, это нагибинское объяснение. Дело в другом: мольбы его сделались кощунственно мелкими и ничтожными в силу пресыщенности, в силу многолетнего устойчивого благополучия. Еще одна вышедшая книга, еще один принятый сценарий, еще одна женщина, и охотничьи уголья, доступные лишь избранным, и непрерывная череда заграничных поездок, и море разлитое водки, — ведь это

и так «само собой» пребудет, и не Божьим промыслом, а попечением земных властей. Настолько выросла и укрепилась у него вера в их могущество, что просто не могла потеснить в этой слабой и алчной душе веру во всемогущество Бога.

Я вскользь упомянул тут Розанова. Да, Розанов и пресыщенный Нагибин — параллель прямо напрашивается, когда прочтешь этот «Дневник». Гордыня и покаяние, взлеты духа и обнажение собственной наготы, смирение и ненависть — все здесь присутствует. Рано, еще в молодые годы, Нагибин стал терзаться своим человеческим несовершенством:

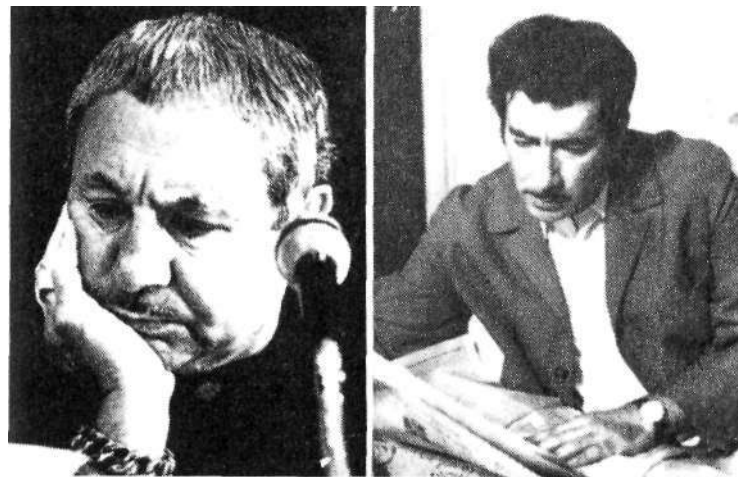
**Я не верю в удачу, не верю ни во что доброе в жизни, потому что сам не способен создать даже простейший элемент добра — разжечь костер в поле, или починить электрические пробки. Оттого, что я своими руками не расколол ни одного полена, не привязал ни одного крючка к леске, — каждое несчастье представляется мне окончательным. В бессилии коренится и присущая мне в высшей степени пассивность — я беру, пока дается, но не умею ни удержать уходящего, ни даже отважиться на выбор; беру, что ближе... Я по натуре — типичный паразит.**

Апочти тридцать лет спустя, уже в конце жизни, он горько подытоживает:

**«Быть «большим человеком» — непосильно трудно, но и быть «полубольшим» — тоже очень трудно».**

Юрий Нагибин прожил жизнь именно «полубольшого» человека — не стал великим писателем, хотя талант его обещал многое. Он сделал свой выбор — зарыл свой Богом данный талант в землю, точнее — разменял его на ресторанные застолья, охотничьи радости, шальные кинематографические гонорары, вождельные поездки «за бугор» и попросту — «кусочек кожи на каучуке, так красиво облегающий ногу». И в этом лишь отчасти повинна эпоха, в какую привелось ему жить, — зловещая пора поздней сталинщины, поманившая и обманувшая хрущевская «оттепель», затянувшееся брежневское безвременье. «Сдача и гибель» — было сказано об Олеше, но судьбу Олеси разделили многие, и Юрий Нагибин оказался — по собственному выбору — в их числе.

ИНТЕРВЬЮ  
«ВРЕМЯ И МЫ»



## РОССИЯ И МИР ГЛАЗАМИ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО

*Беседа со скульптором  
главного редактора журнала  
"Время и мы" Виктора Перельмана*

В сегодняшнем, столь изменившемся мире Эрнст Неизвестный выглядит воистину как человек из легенды. С ним постоянно ищут встреч и контактов не только вездесущие газетчики обоих континентов, деятели литературы и искусств — но что куда более необычно — его приглашают к себе на беседы правители многих стран Запада и Востока. Возможно играет тут роль фантастичность его биографии — в прошлом участника войны, боевого офицера, позже всемирно известного скульптора, бросившего вызов режиму и уехавшего жить на Запад. Возможно, играет роль многогранность его личности — диссидента, философа, мыслителя. Но прежде всего, это конечно, Неизвестный — скульптор. Вот уже многие годы он работает над получившим мировую известность монументом «Древо жизни», скульп-

птурный прообраз которого установлен в Организации Объединенных Наций. Приступил он к реализации и другого своего проекта — «Треугольника страданий» — памятников жертвам утопических теорий, которые возводятся в крупнейших центрах российского севера — в Магадане, Екатеринбурге и Воркуте. Наконец в центре Одессы недавно закончен им памятник «Золотое дитя», которым справедливо гордятся и жители города и граждане Украины.

В журнале «Время и мы» Эрнст Неизвестный впервые появился 19 лет назад, в тогдашнем 23 номере, когда он познакомил читателей с только зарождавшейся в те годы идеей «Древа жизни». Позже он рассказывал — опять же впервые во «Времени и мы» — о своем сражении с Никитой Хрущевым на выставке в Манеже (что не помешало ему после смерти Хрущева стать создателем его надгробья на Новодевичьем кладбище), Неизвестный был автором одной из самых блистательных статей нашего юбилейного сотого номера — «Гений на рынке искусств». И вот прошло еще восемь лет, и после долгого перерыва мы встречаемся снова, но не в старой его мастерской на Гранд стрит, в Гринвич Вилэдже, а на Парк Авеню, в его новой квартире, впрочем всем своим обликом напоминающей опять же мастерскую выдающегося скульптора. Назначать тему, когда беседуешь с Неизвестным, — дело безнадежное. Так же, как в своих художественных идеях и проектах, да, вообще, в жизни он не любит заранее спланированных сюжетов, которые сковывают, раздражают его. Людям, знающим его, куда более знаком Неизвестный импровизатор, который спонтанно, на ходу генерирует идеи и мысли, и, о чем бы не говорил — говорит вдохновенно, выкладываясь на ваших глазах весь, без остатка. С характеристикой этой он, впрочем, не совсем согласен. «Это звучит слишком эффектно, чтобы быть правдой. На самом деле рождение во мне идей, подобно рождению ребенка, продолжается обычно мучительно долго, в жестокой полемике с самим собой, но это мучительное, невидимое творчество доставляет мне непередаваемое наслаждение».

Итак, что он может сказать о сегодняшней России, если бросить на нее хотя бы самый общий взгляд? Неизвестный считает необходимым разделить вопрос, да и всю проблему в целом, на две части. Во-первых, это его личное отношение

к происходящему в России. По понятным причинам он не может исключить из этого процесса себя...

— Впервые в моей жизни государство и власть стали сотрудничать со мной как с художником. Несмотря на то, что я живу здесь, в Америке, а не в России. Собственно, так и должно быть: культура — это не колбаса, ее нельзя разрезать на части. Культура есть миграция людей и идей, все крупные явления культуры никогда не обозначались верстовыми столбами. Можно перечислять бесконечное количество имен — Данте, Микельанджело, Леонардо, Байрон, Джойс да сам Христос — все они, в сущности, были эмигрантами. Но существует и другая сторона дела — это объективное положение вещей. И тут я должен сказать, что мне не нравятся очень быстрые и интеллектуально-поверхностные оценки происходящего. На самом деле мы живем в совершенно необычное историческое время: то, что происходит в России сегодня — это даже больше, чем Октябрьская революция. Почему? Да потому, что смены форм правления — от королевства к республике, от республики к другим формам правления происходят в истории постоянно. 17 год был великим временем, но с точки зрения большой истории, так сказать метаистории, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что мы видим сейчас. Как бы его ни характеризовать, 17 год на самом деле укрепил российскую империю — и хотя царизм пал, сменивший его коммунизм на самом деле, лишь развил имперскую идею. И вот теперь мы являемся свидетелями исторического поворота от распадающейся империи к нормальному гражданскому обществу. Процесс этот длительный и бесконечно противоречивый. В силу консерватизма обыденного сознания люди не привыкли к метаисторическим катаклизмам. Для них естественно воспринимать реальность такой, какой они ее видят, с ее недостатками, человеческой бедностью, горестями, страданиями. В сегодняшней России мы повсюду видим беспредел, беспредел уголовщины, беспредел нечестности. Естественно, меня как человека, думающего о моих близких, живущих там, и не только о близких, не может все это не тревожить....

В.П. Но уж если ты (пусть и на фоне метаисторических

сдвигов) признаешь этот российский беспредел, может быть, ты попробуешь ответить, в чем же его причины?

Э. Н. Думаю, что причины уходят в прошлое. Ты помнишь, что когда-то существовало такое понятие — «пережитки прошлого»: пьянство — пережиток прошлого, лень — пережиток прошлого, воровство — пережиток прошлого. В те времена этот коммунистический постулат (относящейся, по Говорухину, к «России, которую мы потеряли») рассматривался, как пропагандистский трюк советской власти. Но я-то думаю, что понятие «пережитки прошлого» — это никакая не выдумка коммунистов. Это — реальность. Мы все живем в прошлом. Что такое настоящее с точки зрения метаистории? Микроскопический миг бытия, который отделяет будущее от прошлого. И вот я спрашиваю: что, в нашем советском прошлом не было беспредела уголовщины, не было миллионов людей, брошенных в лагеря и тюрьмы? Пусть их не убивали бандиты и гангстеры, которые расплодились в России. Их убивало преступное государство. Что, не было беспредела воровства во всех эшелонах власти? Эта самая уголовщина власти и разрушила человеческую душу, разрушила до основания человеческую этику. К этому обществу успело привыкнуть, оно ожесточилось, и человек тоже ожесточился. Так что не будем удивляться, что общество оказалось в том состоянии, в каком мы его видим сейчас. Просто на этот раз пережитки прошлого — это пережитки коммунизма. Я слышу сегодня массу противоречивых вещей, которые высказывают разные партии, я слышу обвинения, оправдания, слышу хвастовство, стенания, призывы о помощи. Субъективно я от всего этого страдаю, а объективно я хочу все-таки какого-то отстранения. Я, вообще, не люблю юркого, скептического мышления — так уж устроен, что мне хочется рассматривать мир не с позиций одного мгновения, а как бы с позиций вечности, рассматривать все из гроба. Кстати, это не мои слова, а моего биографа Джона Бержера, который, давая интервью обо мне, в своем только что сделанном фильме, сказал так: «Все люди исчисляют оценки жизни от рождения, а Неизвестный отчисляет жизнь от своей смерти» — должен сказать, эти слова каким-то образом наложили на меня отпечаток. Я беспрестанно

думаю об этой единственно верной точке отсчета — из гроба — и находясь в потоке времени, пытаюсь оторваться от времени.

В.П. Я, знаешь, о чем думаю: вот это твое отстранение (при всей подкупающей широте подхода) не оборачивается ли оно желанием отстраниться от бед России? Излагал ли ты когда-нибудь эти взгляды твоим друзьям в России, вчерашним диссидентам, сидельцам, обществу «Мемориал» — мне интересна, какова их реакция...

Э.Н. Честно говоря, я стараюсь уклоняться от этих разговоров. Не от трусости. Совсем нет! А оттого, что это просто не мое поле. Надо понять, что я ведь никакой ни диссидент, я профессиональный художник, скульптор. Правда, меня всегда считали диссидентом, но в России диссидентом являлся всякий, кто хотя бы отстаивал свое личное достоинство. На самом деле диссиденты — это люди, которые предлагали какие-то правовые или социальные изменения. У меня на этот счет, вообще, не было никакой концепции. Я с рождения был антикоммунистом, не активным, но пассивным, я родился в семье белого офицера и баронессы Дижур, был лишенцем, и уже по одному этому не мог оценивать жизнь с позиции разочарованного коммуниста или комсомольца.

В.П. И все же все твои товарищи по прошлому, которые вели смертельную борьбу с режимом, они же проклинали сегодняшнюю Россию. Ты знаешь эти письма Максимова, Синявского, которые на этой почве даже помирились. Даже взгляды Буковского... все они на весь мир объявили, что не хотят видеть и знать сегодняшнюю Россию. Как ты ко всему этому относишься? Как ты относишься к этим людям?

Э.Н. Я отношусь к ним с величайшим уважением, особенно к Буковскому. Но, если говорить об их деятельности в принципе, то надо отчетливо представить, что все они люди — этические, но никак не государственные, а мышление этическое и государственное — две абсолютно разные вещи. Трагедия моего друга и любимого мной человека Максимова состояла в том, что считая себя политиком, он на самом деле был страдальцем-правозащитником. Все они, кроме Буковского, были и остаются людьми марксист-

ской диалектики. От коммунистов никогда нельзя было услышать что-то позитивное, кроме утопических идей, восходящих к Томасу Морю, Кампанелле, Роберту Оуэну и т.д. Поэтому я и предлагаю свои монументы — не как монументы жертвам сталинизма и даже не жертвам политических репрессий, а как монументы жертвам утопического сознания. Даже у Маркса все, что касается позитивного, — это в лучшем случае политическая поэзия. Когда-то я написал шуточное эссе, которое озаглавил «Племя «не». Я в принципе не хочу себя причислять к этому племени. Даже в области скульптуры, я никогда не критиковал и тем более не обличал позиции своих оппонентов. А если критиковал, то не просто говорил «нет», а предлагал: «Нужно, дорогие друзья, вот что! Или нужно вот так!»

В.П. Но что-то тебя в сегодняшней России тревожит?

Э.Н. Да, как художника одна вещь меня безусловно тревожит. Дело в том, что любые огромные социальные изменения — идет ли речь о революции или контрреволюции — всегда имели знаковую структуру. Произошла французская революция — и на следующий день появились новые жесты, новые одежды, новые символы. Возьми Гитлера (переворот со знаком минус!), но опять же новые жесты, новые флаги, новая символика. А вот если мы возьмем Россию перестройки, начиная с Горбачева, то ведь ничего не появилось — ни одного символа, ни новых ритуалов, ни новой символики — жестовой или знаковой, ни новой скульптуры, ни новой музыки и живописи. Как будто бы происходит просто реставрация прошлого.

В.П. А может быть, и в самом деле происходит реставрация. Взглянем на сегодняшнюю Россию — вся она старается вернуться к дореволюционным временам, к России Николаевской, к старым названиям городов, улиц, к церквям и Православию. А в других случаях — ты это знаешь не хуже меня, — ностальгия по коммунизму, по чудным временам Сталина и Брежнева. В принципе ты допускаешь реставрацию российской истории?

Э.Н. Нет, я в это не верю. Я придерживаюсь библейского взгляда на историю, отрицаю ее детерминизм. Для меня исторический процесс является не просто делом человечес-

ким, но некий замысел универсума. А вот почему не рождается новая знаковая система, остается для меня загадкой. Возможно тут существует какое-то бытовое объяснение — что у руководителей общества просто нет индивидуальной потребности в выработке духовной символики, но в этом объяснении есть что-то рептильное. На самом деле, по-видимому, существуют более глубокие объяснения. Кстати, у меня есть своя эстетическая идея, которая, на мой взгляд, могла бы соответствовать новому времени. В определенной степени я — сам дитя авангарда, дитя утопизма, строительства голубых городов. Известно, что русский авангард отрицал человека, точнее он воспринимал человека как объект, который должна обслуживать технология. Вот, например, два бога авангарда: Татлин и Маяковский. Татлин, начавший с «Башни интернационала», закончил «Летательным аппаратом», а Маяковский, начавший со 150 миллионов, закончил «Летающим пролетарием» — так сказать, человек и индивидуальный летательный аппарат, индивидуальное порхание. Вот это и подсказало мне идею совмещения в моих скульптурах «Русского авангарда» с такими человеческими понятиями, как одиночество, страдание, сомнение, тоска, радость. И именно этому, если в двух словах, посвящен мой план монументальной пропаганды. Он, конечно, не может быть знаковым до конца, ибо знаки, архетипы, вырабатываются эзотерически, поэтому я, скорее, говорю об идее и направлении эстетической мысли.

В.П. Ты говорил о том, почему тебя не устраивают идеи, исповедуемые как ты шуточно назвал его «Племенем «не». Но, а если мы возьмем руководителей новой России, капитанов нового общества, возникающего на осколках империи, — есть ли у них конструктивные идеи? Что можешь ты, вообще, сказать о конструктивных идеях новой России, раз мы решили — по крайней мере временно — отстраниться от прозы жизни...

Э.Н. Да, как художник, я позволяю себе некое отстранение, но это не значит (я повторяю это снова и снова), что я не могу оставаться равнодушным к человеческой простой жизни — ведь у меня самого более пятидесяти родственников живет на Урале: моя дочь, мои братья — меня волнует их

безопасность, как они живут, что едят, как одеваются, но у меня нет ни одного конкретного предложения, что сделать, чтобы их жизнь улучшить, я только надеюсь и верю, что это произойдет.

В.П. Оказывается, ты тоже мечтатель и своего рода — дитя утопизма?

Э.Н. Ну, конечно, все мы дети утопизма. Кстати, я не отнимаю у людей права консервативно думать, думать о своем материальном статусе — это нормально! Но лично для меня с начала жизни самыми важными были три момента. Первое — свобода самовыражения, право говорить и думать, как тебе хочется. Сегодня это там есть. Свобода совести — то есть свобода исповедовать любую религию, любую концепцию жизни (в том числе концепцию личной жизни — хочешь — люби женщин, а хочешь — будь личностью гомосексуальной), — это там тоже есть. И, наконец, свобода передвижения. Даже когда я был самым бедным человеком, бездомным, чернорабочим, каменщиком, да и просто нищим — я все-таки всегда мечтал не о лишнем куске колбасы и лишнем штанах, а обо всех этих возможностях, позволяющих человеку быть свободной личностью. Это к вопросу о конструктивных идеях новой России.

В.П. Но не превращаются ли все эти свободы в России в собственную противоположность, когда свобода личности оборачивается беспределом и анархией, а, скажем, свобода передвижения способствует процветанию экономической преступности. Или Россия это все преодолет и переживет? Какие у тебя, так сказать, футурологические предчувствия и оценки, если принять во внимание специфику русской истории?

Э.Н. Видишь ли, я ответственный человек, а оценки рождаются на базе профессиональных исследований, статистических данных, футурологических данных — у меня ничего этого нет. Я могу рассуждать на уровне политического сознания, которым обладает художник. На эту тему у Бердяева есть ответ — он пытался анализировать и сравнивать понятия свободы и воли. И доказывал, что в России свобода слишком часто воспринимается как воля, причем вышедшая из-под контроля сознания: что хочу, то и ворочу. Это первое.

Вторая мысль, которую я хотел бы выразить, следующая. Психические заболевания, которыми страдают люди, — шизофрения, паранойя, мания величия, на мой взгляд, могут быть перенесены на общество: как ни странно, оно может страдать от тех же психических недугов, что и личность. Во времена революций и исторических катаклизмов, наиболее активная часть населения — вожди, революционеры, реформаторы эксплуатируют психические свойства людей, а в каких-то случаях даже их психические отклонения. В народном теле существуют высшие свойства и низшие свойства. Во время революции Лениным эксплуатировались высокие качества русского народа — жертвенность, безграничный размах, смелость, нецепляние за мелкие блага ради высшей утопической цели, некоего третьего Рима в облике коммунизма. И одновременно им эксплуатировались низменные качества русского человека — зависть к успеху, вечная крестьянская готовность к бунту, готовность пустить красного петуха, бей тех, кто преуспел, оттого и били аристократов, капиталистов, и, вообще, били все красивое. Возьмем Гитлера — он эксплуатировал немецкое чувство превосходства, фанатерию, национализм, и одновременно высшие качества немецкой расы — безграничную дисциплинированность, трудолюбие, исполнительность, четкость. Что сегодня — я не знаю, прошло слишком мало времени.

В.П. Нет, уж извини — раз ты это затронул, мне кажется, что сегодня как раз и идет эксплуатация самых низменных качеств русской души. Отчего все так плохо идет? Не от вековой ли косности, нежелания работать и переделывать себя, не от вечной ли российской веры в волшебную палочку, по мановению которой и явится манна небесная? Помнишь как в платоновском Чевенгуре, пребывая в безделии, все ждали пришествия чуда.

Э.Н. Смотрю я, все у тебя плохо! По-моему ты и являешь собой типичного представителя племени «не»...

В. П. Что верно, то верно, я — из племени нонконформистов, всегда и везде, где бы я ни жил...

Э.Н. Что касается будущего, в 1965 году мной было написано некое футурологическое эссе, в котором я писал: изменения невозможны, но изменения неизбежны. Я не верю

в детерминизм истории, но верю в то, что происходит в душах людей. Когда-то Сталин, повторив, впрочем, чужие слова, спросил, а сколько у Папы дивизий? Увидел бы он сегодня поляков, марширующих под ликом черной мадонны. Тогда я писал, что я не верю в пессимизм Зиновьева и Солженицына, наступит день, когда коммунисты в Кремле запоют: «Боже, царя храни!» Я оказался футурологом. А почему я им оказался? Дело в том, что профессиональный политолог — это ученый, и потому он не может высказывать сомнительные, непроверенные истины. А художник может. Художник может быть Кассандрой, он безумен...

В.П. Но как все же ты представляешь себе общество, пережившее, подобно России, исторические катаклизмы? Кто должен управлять таким обществом? Тебе не кажется, что сегодня железной поступью идет наверх охлократия, власть толпы, черни, масс? Даже на короткой дистанции отчетливо видно, как меняется состав российских правителей. На наших с тобой глазах предают проклятию демократов. Да, они оказались беспомощными, развалили страну, запутались, вызвали всеобщее озлобление, возьми того же Гайдара, — но, с другой стороны, кто такие эти демократы, — это же интеллигенция! Это ее, интеллигенцию, вот кого предают проклятию! А кто приходит на смену, кто заседает в Думе, кто правит министерствами? Да те же перекрасившиеся большевики, включи телевизор, и ты все мгновенно поймешь. А где же элита? Ты веришь в необходимость элиты у власти?

Э.Н. Но ведь охлократию создал Сталин (хотя в душе он и боготворил дворянскую Россию). Вырезав несколько поколений, он-то и привел к власти партийную чернь. В определенном смысле это продолжается сегодня. Мы знаем, что не имеющая ни корней, ни традиций охлократия быстрее приспособляется к новым порядкам, чем люди идейные или, вообще, люди чистые. Как правило, когда совершаются революции, те, кто их совершали, оказываются неспособными строить, потому что их стихия — ломать и разрушать. Называй их как угодно — революционной элитой или как-то еще, но именно поэтому ленинские соколы, размахивающие шашками, были расстреляны Сталиным и так во всех рево-

люциях. Революционная романтика уступает место рутине, выходцам из масс.

В.П. Наверное то, что ты утверждаешь логично. Но мы говорим о сегодняшней России, ее правителях, и я попробую быть конкретным. Вот Ельцин — он ведь типичный представитель охлократии — и по своей жестокости, и по характеру мышления и по безграмотным своим популистским речам. Да посмотри на его облик — тяжело больного алкоголика, с заплывшим от пьянства лицом. Ничего себе правитель сверхдержавы! Меня всегда передергивало от речей Хрущева или Горбачева, или вот теперь Ельцина. Это ведь тоже только в России, когда культура и образованность для политика просто ничто!

Э.Н. О чем ты говоришь? Нельзя же оценивать функцию кибернетического узла с точки зрения вкуса, а особенно, с точки зрения иронии. Политический человек — это часть огромной мистической, кибернетической машины, которая выполняет определенную функцию. И замечать, например, у такого человека акцент — извини, это отдает кухонным снобизмом. Надо смотреть в корень. Кроме того, существуют периоды истории, когда нужны приводные ремни между высоким и низким, то есть, когда в одной личности осуществляется (пускай даже теоретически и словесно) идеи демократии — и одновременно — понимание существующего положения вещей. Нельзя обвинять Картера в том, что у него не тот акцент или Гитлера — что он плохо говорил по-немецки. Это интересно для людей, занимающихся славистикой или языкознанием, но никак не для людей политических. Да, не соответствует! Ну и что? Ты что, моего зятя хочешь туда послать — он Кафку читал, а зачем Рейгану или Ельцину читать Кафку? Только исключительные люди — типа Наполеона или Антония — обладали подобной многогранностью. Ах, эта вечная наша тяга все критиковать и высмеивать! Я думаю, что нашему еврейскому сознанию свойственны две стороны: высокое, маккавеевское, библейское мышление, отстраненное от мелочей. Это одна сторона нашей души, грандиозная сторона! — И поверхностное, критиканское сознание выживающего среднего человека — другая сторона нашей души.

В. П. Ты наталкиваешь меня на мысль — поговорить о тебе самом. Я бы хотел задать тебе вопрос: кем ты считаешь себя сам — русским, американцем, космополитом, человеком, для которого чувство родины вовсе ничего не значит?

Э. Н. Это очень трудный и вместе с тем очень простой вопрос. Трудный, потому что это очень банальный вопрос...

В. П. Банальные истины очень опасны, как когда-то сказал Коржавин: мимо них очень легко проскочить...

Э. Н. Понимаешь, в чем дело: я обреченный человек, я обречен с юности. И вот, когда я молюсь, я всегда молюсь не за благополучие, а за то, чтобы отдать то, что в меня вложено при рождении. Я прошел фронт, был смертельно ранен, бедствовал, искал себя. Жизнь для меня всегда выглядела не как преуспевание, а как подвиг страдания во имя чего-то. Хочется умереть лучше, чем родился — вот и все!

В. П. Но я тебя спросил о другом — о твоём месте в мире, где ты живешь — кем ты себя считаешь?

Э. Н. Во-первых, для меня перемещение тела в пространстве не имеет никакого значения. Я как работал в 65 году в России, так и продолжаю работать здесь. Я бесконечно благодарен Америке за то, что она дает мне возможность быть ее гражданином, республиканцем, консерватором, дает возможность симпатизировать Израилю и... одновременно оставаться русским, любящим Россию. Что касается моего внутреннего состояния. Ну, во-первых, я думаю, что оно абсолютно не оригинально в том смысле, что еврейскому духу, особенно Вавилонскому, свойственно следующее: мы одновременно можем находиться во многих местах и при этом не ощущаем той провинциальной контроверзии, какую испытывают люди, привыкшие жить в одном месте. Я думаю, что поэтому мы и избранный народ.

В. П. Иными словами, ты гражданин мира?

Э. Н. Нет, это космополитизм, мы граждане духа, граждане книги.

В. П. Но ведь тебе, все-таки, наверняка, говорили: «Послушайте, Эрнст, вы такой хороший скульптор, почему бы вам не вернуться на родину, в Россию?»

Э. Н. Много раз говорили — и Ельцин говорил, и Горбачев.

В. П. Ты с ними беседовал?

Э. Н. Три с лишним часа с Горбачевым, с Ельциным несколько раз. Я беседовал со многими — с Бруно Крайским, президентом Тайваня Ли, с Эдгаром Гором и многими другими.

В. П. У нас нет времени касаться всех. И все же интересно твое восприятие. Я лично в своей жизни беседовал только с одним государственным деятелем — Менахемом Бегиним. Я встретил его в Бейт Агроне — Иерусалимском доме журналистов — в первые дни после приезда в Израиль. Бегин увидел меня и с подсказки окружения на чисто русском языке воскликнул: «Господин Перельман, я поздравляю вас с приездом на историческую Родину!» После этого опять же кто-то из окружения сказал: «Менахем, не забудь, что у тебя совещание в правлении Херута!» На этом беседа закончилась... Меня интересуют типы правителей. С лидерами, как мы знаем, человечество переживает небывалый кризис. Что ты видишь в них общего и какие отличия, скажем, в правителях Запада и Востока.

Э. Н. Я не хочу, да, вероятно, и не в состоянии сформулировать что-то определенное. Все ведь это живые характеры, действующие в рамках определенной эпохи и определенной политики. Как характеры они меня прежде всего и интересовали. Итак, давай начнем с Крайского, канцлера Австрии. Почему, вообще, произошла наша встреча? Это было время, когда меня не отпускали — я был под различными следствиями в России — в частности, о военном шпионаже. И вот я дал интервью австрийскому телевидению, которое заканчивалось такими словами. «Я не хочу уезжать из России — вы меня выгоняете. Одновременно вы меня задерживаете и ведете все следствия. Вы хотите убить художника».

Крайского в то время переизбрали, и ему показали эту пленку. Он позвонил Косыгину, и в тот же день я вылетел прямо к нему, в Вену. Мне дали на беседу с ним 12 минут. Он меня засыпал вопросами: «Что вы думаете об этом? И об этом? И что вы думаете о том?» Я ответил: «Я не знаю!» Он сказал, что я был первый в его жизни советский диссидент, который чего-то не знал. Беседа продолжалась, и я сказал: «Нам надо договориться о терминах, потому что вы мне

задаете вопросы в терминах, которые для меня чужды. Так, например, когда говорят — укреплять социалистическую законность, в России обыватель начинает дрожать, а для вас — это хорошо! Когда вы говорите «театр» — мой отец называл театром все, что происходит при советской власти. А Ионеско мне написал, что «театр — это прелестно». Все это его так заинтересовало, что мы проговорили три с половиной часа. В конце он мне сказал: «Понимаете, вы мне очень помогли, теперь я знаю, как мне вести предвыборную кампанию, потому что коммунисты украли нашу социалистическую фразеологию». Я ему задал вопрос, который мне вложили евреи — относительно его поведения, связанного с еврейством. На что он ответил: «Возможно, Эрнст, вы этого не знаете, но существуют две ветви еврейства — палестинские евреи и вавилонские евреи. (Как раз то, о чем мы стобой говорили.) Так вот, во-первых, я канцлер Австрии — антисемитской страны, а во-вторых, я — вавилонский еврей. Этим и определяется моя психология.

В. П. Позволь мне одно замечание. На западе Крайский — один из лидеров социалистического интернационала — считался, действительно, выдающимся человеком, но также известно и то, что он пребывал в вечном страхе перед палестинскими террористами. В Израиле его, по крайней мере называли не Вавилонским евреем, а предателем.

Э.Н. Я не хочу в это вторгаться: я говорю о том, кого я увидел и с кем говорил, и менее всего хочу быть вовлечен в конкретную политику — политикой пусть занимаются другие. Теперь о президенте Тайваня — Ли. Ты меня спрашивал о правителях западных и восточных. Так вот ты знаешь, что такое тайванский президент, при всей свободе и демократии. Ты едешь во дворец к нему, а вокруг какие-то бесконечные огни и фейерверки, в честь гостя гремят салюты. Наконец, в сопровождении торжественного эскорта ты прибываешь к нему на аудиенцию. Сидят в его роскошном кабинете только два человека — президент Ли и твой покорный слуга. Все остальные стоят, министры, советники, переводчики, женщины. Таков ритуал. Говорит он по-китайски и по-китайски меня спрашивает: «Скажите, вот я прочитал вашу книжечку «О синтезе в искусстве». Вы все

время ссылаетесь на Данте и Достоевского. Но ведь все, в конце концов, покоится на второй части Фауста. Почему вы об этом ничего не говорите. Или это случайно?» На это я отвечаю: «Вы знаете, я — профессор Колумбийского университета и многих других университетов, но я никогда не слышал от профессоров о второй части Фауста. Откуда знаете о ней вы?» Мне и в самом деле было интересно, откуда президент Тайваня так хорошо знает гетевского Фауста. «Понимаете, мистер Неизвестный, — продолжал он, — я по профессии музыкант, но всю жизнь интересовался литературой и изучал германистику в Германии. Моя личная судьба сложилась так, что моя партия, Гоминдан, поручила мне изучать экономику. Вот я и стал президентом Тайваня», — заключил он, не обмолвившись о том, что именно он, президент Ли, был автором экономического чуда, которое с таким блеском реализовано на Тайване.

В.П. Вернемся однако в родные пенаты, к Ельцину и Горбачеву.

Э.Н. Горбачев... Вначале обстоятельства встречи. Я учился на философском факультете, и в те годы вокруг меня сложилась группа молодых коммунистов, все они собирались у меня в мастерской, и мы о многом беседовали. Это было страшное время, но они никогда меня не предавали. И вот во времена Хрущева, когда он хотел вокруг себя создать мозговой центр, эти люди пошли наверх, они шли в Сперанские, хотя я не верил, что они в состоянии что-то сделать, не сломав себе головы. Вот и получилось, что в начале перестройки в окружении Горбачева не было ни одного человека, с которым бы я не был на «ты». И когда первый раз в составе делегации правого крыла республиканской партии я приехал в Россию, Юрий Карякин пригласил меня встретиться с моим старым знакомым Александром Николаевичем Яковлевым. Я разговариваю с Яковлевым, и вдруг в разгар нашей беседы входит Толя Черняев и говорит: «Послушай, Эрнст, тебя хочет видеть президент». Я отвечаю, что я не подготовлен, к тому же у меня другие встречи. «Ну что ты, — говорит, — всего на десять минут, не отказывайся, он же тебя ждет». И вот я сажу напротив Горбачева. Странное дело — я совершенно не помню, как и с чего начался у нас разговор. Он говорит, а я,

при всем желании, не могу уловить основную мысль. Кажется среди прочего он коснулся надгробья Хрущева, что именно я этим надгробьем хотел сказать? Затем снова стал говорить. Тогда я прерываю его и спрашиваю: «Михаил Сергеевич, вы меня пригласили, чтобы я вас слушал или вы хотите меня выслушать?» Отвечает: «Да, пожалуйста, говорите». И я говорю: «Вы сумасшедший, как и вся ваша страна. Вы задали мне вопрос: что я хотел сказать своим надгробием Хрущеву? А у меня нет подтекста, у меня есть текст, и потому вы видите все, что я хотел сказать». «Ну а почему я сумасшедший?» «А все по той же причине, — и вы и вся ваша страна, вечно ищите неуправляемый подтекст».

Нет, он мне понравился, я в него даже влюбился, потому что он человек невероятной харизмы, но что именно он говорил, я не помню.

Потом я иду к выходу, как я уже сказал, по уши влюбленный в Горбачева, мы обнялись, чуть не расцеловались. Выхожу и вижу, что на меня направлены телевизионные камеры — меня спрашивают, о чем вы говорили, я отвечаю: мы говорили о памятниках жертвам утопического сознания, я надеюсь, что Горбачев мне поможет. Позже, когда Андрей Караулов в своем интервью спросил меня, как я отношусь к Горбачеву, я ответил: «К Горбачеву я отношусь хорошо — он мне напоминает человека, который хотел сделать пластическую операцию — начал срезать прыщ, а оказалось — там рак. Когда он это обнаружил, то просто не знал, что делать: то зашивает, то снова режет. И так без конца...»

Но вообще-то, я думаю, что это величайший человек в истории, через которого, как через трансформатор, работали некие силы. Так что не зря мои ребята лезли в Сперанские, началось-то все с Горбачева.

В.П. Ну и, наконец, Ельцин...

Э.Н. С Ельциным я встречался несколько раз. И основной разговор произошел, когда он был еще в оппозиции. До встречи представлял я его таким уральским лаптем, коротышкой, вроде Хрущева или Подгорного. Помню, Бурбулис привел меня в приемную, сидим, ждем, и вдруг из кабинета выходит огромный, длинноногий красавец — это меня сразило прежде всего, сразило несоответствие его внешнего вида

тому, каким я его представлял по фотографиям. Но не только это. Меня удивила абсолютная конкретность его мышления. Перед ним лежал чистый лист бумаги, на котором он все время что-то чертил, он анализировал присутствие левых и правых в парламентах на различных этапах истории. «И сейчас, — продолжал он, — надо независимо от ветви демократии, включать всех демократов в наше движение. Общество спящее и консервативное — его надо расшатать. Меня упрекают в неразборчивости в средствах, но эта моя неразборчивость — и есть политический расчет». И вот мы сидим, мучаемся, пьем какой-то паршивый чай с печеньем. Я знал, что он человек пьющий, и мне все казалось, что его тянет выпить, а выяснилось, что он просто хотел, чтобы мы сфотографировались. Фотограф опаздывал, как всегда в России и, когда все кончилось и мы сфотографировались, он вышел из-за стола и — к моему великому удивлению — прямо в кабинете, прихлопывая руками, сделал уральскую чечетку, восклицая: «А я сфотографировался с Неизвестным, а Горби всегда опаздывает». А я подумал: «Ведь это прекрасно — в тебе не умер ребенок!»

В.П. Извини, но кто поверит, что человек, которого ты описал и сегодняшний Ельцин — это одно и то же лицо?

Э.Н. Я знаю, что он стал другим. Но я не думаю, что это перерождение. Просто на него свалилось такое огромное количество вещей, о существовании которых он даже не подозревал. И теперь, в своем возрасте, он, конечно, не может изменить своего мышления. Тут все непросто. Я допускаю, что он не соответствует своей исторической задаче, но возможно, как раз соответствует сегодняшнему состоянию России — как приводной ремень между народом и властью. Кстати, это все ложь, что им управляют его клеветы, просто ему так выгодно. Я думаю, что это человек огромной политической интуиции, чего нет у Горби. Он человек импульсивный, не подчиняющийся власти конкретной логики, поэтому он так часто принимает звериные решения. Соответствует ли он будущему России, я не знаю. Соответствует ли он настоящему России, я также не знаю. Но что это личность абсолютно незаурядная — это точно. Кстати, это совершенно неправильно, когда мы примеряем наше интел-

лигентское сознание к оценке тех людей, которые там, наверху. Эти люди не глупее нас. Они глупее нас на нашей стороне, но на своем? Нам даже в голову не может прийти, насколько они изощреннее нас.

В.П. До сих пор мы говорили о правителях и политиках, я хотел бы перенести разговор на поле культуры, к людям творчества, в частности, к поэзии и поэтам. Вот Бродский... Мы знаем, что он выдающийся поэт, но как бы ты его оценил с философской точки зрения — кто он: материалист-прагматик или все-таки идеалист?

Э.Н. О Бродском я тебе скажу так. Он, конечно, был человеком необычайно жесткого прагматизма, но его прагматизм направлен к прагматической цели — к высокой поэзии. Вот в чем все дело. То есть его метод жизни был прагматичен — он дружил с великими, он общался только там, где не потеряешь ни минуты, но цель-то была идеалистическая. Солженицынская ошибка состояла в том, что несмотря на идеалистический постулат, он жил на бытовом уровне. Бродскому никогда бы и в голову не пришло купить бочку бензина и закопать ее потому, что через пять лет она станет на 300 или сколько там рублей дороже. Солженицын, как впрочем и Зиновьев, Максимов, очень серьезно относился к повседневности — встретиться с принцем Чарльзом или не встретиться, ответить письмом такому-то лицу или не ответить. Другое дело Бродский, отдавший себя служению идее. Как он однажды хорошо сказал, а может быть, только повторил: «Паутина должна пережить паука!»

В.П. Ну, а твое отношение к поэзии Бродского?

Э.Н. Я любил раннего Бродского, многие годы я знал его лично. К позднему Бродскому, как раз, когда он стал мэтром и получил Нобелевскую премию, мое отношение изменилось. В общем, как тебе сказать, я не могу себя отнести к страстным поклонникам Бродского. Другое дело, что в поэзии его можно найти такие находки, которые не оставляют сомнения в том, что мы имеем дело с крупным явлением поэзии.

В.П. Я не имею в виду разбирать его поэзию. Тем более сам я не поэт и даже не считаю себя профессиональным критиком. Но судьба Бродского, его взлет и постоянное

«вращение» в самых элитарных кругах «Нью-Йоркера» — интересует меня с другой, человеческой стороны. Мне просто хочется бросить взгляд на его звезду. Почему Бродский? Почему, скажем, не Рейн, не Кушнер, не Нейман, столь же любимые Ахматовой? Потому что они не угодили в лагерь? И не были выброшены за границу? И не знали, как он, английского? Но какое все это имеет отношение к поэзии? Интересно, вообще, окинуть его жизнь — с момента, когда он угодил в лагерь и Ахматова (обожавшая Бродского) воскликнула — «О, нашему рыжему, кажется, делают биографию!» Впрочем, сам он делал себе биографию куда более интенсивно — в американских университетах, в кругах элитарной профессуры, поэтической богемы, — разве, когда окинешь все это взглядом, перед нами не вырастает блестящий стратег собственной жизни? И кто он больше — стратег или поэт? Передо мной плеяда других русских поэтов — Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Пастернак... Принятые ими муки делают нелепым даже сам разговор о какой-то их стратегии или карьерном успехе. Мы слышим, что поэзия Бродского — это высший интеллектуализм, а я вспоминаю Пушкина, который говорил, что поэзия должна быть немного глуповата. И снова вопрос, что сделало Бродского Бродским, — только его поэзия, или еще массовая психология, на совести которой столько переживших взлет и давно забытых «гениев»?

Э.Н. Я не согласен с тобой. Бродский — великий поэт нашего времени. Есть ли другие великие поэты — Кушнер, Нейман, Рейн. ДезикСамойлов? Безусловно. Но сравнивать больших художников — просто глупо. Каково мое личное ощущение, касающееся Бродского, пусть и не имеющее отношение к реальности? Ранний Бродский был действительно искренний и хороший поэт, любимец Ахматовой, один из лучших в так называемой Ленинградской школе. Но когда я с ним познакомился, он по природе своей был очень некультурным человеком, правда, нахватанный, с хорошей памятью, со вкусом, с поэтической и, главное, с генетической мышцей, с железной волей к свершениям. Но те, кто окружал его, в смысле кругозора, были гораздо его культурнее. Я просто помню, как над ним смеялись, то он говорил не то, то путал цитаты и источники. Его величие состоит в том,

что он (как и Максимов, который окончил всего четыре класса) самообразовался. Он принадлежал к школе акмеистов, которая в отличие от натуральной школы (представленной, например, Есениным или Цветаевой), не опирается на культуру, она как бы берет ее в готовом виде и делает составом творчества. Между тем, культуре нельзя обучиться, она является стихией самой жизни. И поэзия должна не просто поражать интеллектуализмом формы. Должно существовать мясо поэзии, которое потрясает, например, в Мандельштаме, вот он-то и был грандиозный прорыв от желто-черного еврейского сознания к культуре. Что произошло с Бродским? Будучи акмеистом, он пришел к выводу, что культура — вещь наживная, приобретаемая. И в этом, как ни странно, ему помогло бескультурье американской профессуры. Что он делал? Блестяще владея английским, он брал культурные справочники, которые рифмовал и вставлял в рифмы свои подлинные поэтические переживания, скрепляя это воедино. Поэтому в его последних стихах присутствует культура, но не как у Мандельштама — не как мясо поэзии и не как состав крови, а как некое блестящее построение ума. Сегодня время эклектической культуры, это такой тип культуры, где холод присутствует как определенное достоинство. Бродского как раз и отличает особый, холодный интеллектуализм, который американской профессурой возведен в ранг высших оценок. И хотя он великий поэт, я думаю, что его успех — это упущение мировой культуры по поводу Мандельштама, Ахматовой, он пожал плоды, которые, к сожалению, не пришлось пожать им.



ВСЕАМЕРИКАНСКИЙ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

# Вестник

**САМЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ И АВТОРИТЕТНЫЙ ЖУРНАЛ!**  
**«ВЕСТНИК» ВЫПИСЫВАЮТ В 47 ШТАТАХ США,  
 В 6 ПРОВИНЦИЯХ КАНАДЫ!**  
**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «ВЕСТНИК» СЕГОДНЯ!**

**Постоянные рубрики «Вестника»:**  
 «Актуальный комментарий» А.Сиротина, «Вашингтонский калейдоскоп» С.Левченко, «Обмен политическими мнениями В.Енютина, «Американская политика» А. Лазарева, «Очерки по истории религий» В.Лебедева, «Бизнес с Россией» Р.Кашлинского, «Новости Голливуда» М.Шатерникова, «Калейдоскоп» Г.Бурганского, «Автомобиль и мы» Л.Светлосанова, «Видеоклуб» А.Канторовича, «О шахматах с улыбкой» В.Каминского, «Советы юриста» М.Котлярского и А.Дранова, «Финансы» А.Зельцера.

**В последних номерах «Вестника» вы найдете следующие материалы:**  
 — интервью с Илей Катаевым, Сергеем Ковалевым, Эрнстом Неизвестным, Мариной Соловьевой, Глорией Хакман,  
 — рассказы Э.Дрейцера, Л.Железняк, В.ЛеГезы, Д.Рубиной, Н.Циписа,  
 — С.Вигучин «Дуэльный год Пушкина», Т.Волохонская «Карты в жизни и творчестве Пушкина», Т.Вольнский «Криница Паустовского», Э.Глейзер, В.Лебедев «Порча», М.Гольденберг «Отецисын», Л.Дыхно «Проблемы программ Медикейр и Медикейд», Б.Езерская «Флорентийская история», Л.Железняк «Леонид Викторович Варпаховский», Л.Кафанова «Этот странный, странный Джон Дюпон», В.Каминский «Чемпион мира против суперкомпьютера», Р.Кашлинский «Эстонский наркобизнес — первый в Европе», В.Кламантис «Романтик, герой, юдофоб», В.Краснов «Свободный человек, стрелявший в несуществующие цели», К.Кожевникова «Птицы нашей молодости», В.Левин «Чаепитие со скусом, или повара антисемитской кухни», М.Лемхин «Американский Чехов Генри Джексона», В.Люлечник «Предки Ленина на Житомирщине и в Петербурге», А.Малиевский «У активной части эмиграции есть будущее», Е.Манин «Из истории обуви», А.Наумов «По следам жизни», К.Сапгир «Окаянное дело», В.Снитковский «Россия глазами советника Ельцина», Я.Торчинский «Крым — украинская Вандея?», А.Харьковский Роберт Стивенсон — творец мифов», Ш.Черток «Как убили Садата», Б.Шлаен «Парижский Сезар», В.Юзефович «Виктор Данченко. Творческая реализация»,  
 — стихи Э.Дикинсон, В.Гандельсмана,  
 — кроссворд, гороскоп, шахматы, анекдоты и мн. другое.

Стоимость подписки на год (26 выпусков) в США и Канаде — \$48, на полгода — \$25. В Европе, России, Израиле и Австралии на год — \$59, на полгода — \$36. С этим объявлением для жителей США на год — \$35.95. Для оформления подписки и заказа бесплатных ознакомительных номеров пришлите свой адрес и телефон вместе с оплатой на адрес редакции «Вестника»: **VESTNIK, 6100 Park Heights Ave., Baltimore, MD 21215-3624, U.S.A., tel. (410) 358-0900, fax (410) 358-3867.** Принимаем кредитные карты. Подписка начинается через 4-6 недель после получения оплаты.



ИЗ ПРОШЛОГО  
И НАСТОЯЩЕГО

Петр РАБИНОВИЧ

## ДЕЛА И СУДЬБЫ

*Три вопроса к автору,  
адвокату Петру Рабиновичу*

— Нам представляется, что наиболее острая проблема, встающая в предлагаемом вами цикле «Дела и судьбы», — это соотношение закона и жизни. Способен ли закон быть адекватным мельницам судьбы, через которые проходит человек в жизни?

— Когда я работал адвокатом в Советском Союзе и когда сейчас выступаю как американский адвокат, я непрестанно думаю об этой проблеме. Те рамки закона, которые существуют во всех цивилизованных странах, безусловно гораздо беднее сложнейших ситуаций жизни. В Советском Союзе (и в сегодняшней России), может быть, об этом меньше говорят, чем в Америке, где это противоречие открыто признается. Помню, когда я приехал в Соединенные Штаты и поступил в университет, то обратил внимание на то, что само преподавание права тут ориентировано на это несоответствие закона и жизни. Например, как построена система обучения на юридических факультетах в Америке? Профессор предлагает какой-то комплекс жизненных обстоятельств и

ДЕЛА И СУДЬБЫ

225

предлагает найти правильное разрешение данного конфликта. Поначалу я полагал, что существует единственное и охваченное полностью законом решение. Я принимал самое активное участие в обсуждении этого казуса и считал вместе с другими (или может быть, споря с другими), что дело должно быть решено так и только так. Я тщательно обосновывал свое решение, в то время как другие студенты, приходя к диаметрально противоположному выводу, тоже его обосновывали. То есть я допустим, приходил к выводу, что дело должно быть решено в пользу истца и доказывал это, а другие считали, что дело должно быть решено в пользу ответчика. И доказывали это не менее убедительно. Каково же было мое удивление, что, когда прозвенел звонок, профессор почтительно улыбнулся тем и другим и, не говоря ни слова, удалился. Я догнал его в коридоре и спросил: «Послушайте, профессор, ну кто же все-таки прав, в чью пользу суд должен решить дело?» И знаете, он ответил, как в старом анекдоте, что правы все и наша цель не подогнать эту ситуацию под какое-то предусмотренное законом решение, а найти наиболее справедливое и законное решение этой жизненной ситуации.

Предлагаемые ниже истории, я думаю, являются блестящим подтверждением тому обстоятельству, что, как бы мы, юристы, ни следовали букве и начертанию закона, существуют жизненные ситуации, которые выплескиваются за пределы этих норм. Здесь-то и начинается активная творческая работа адвоката по разрешению предлагаемых жизнью ситуаций и приближению их к букве закона.

— Но если мы говорим не просто о законном, но еще и о справедливом решении, то как в этом смысле выглядит Дело О-Джей Симпсона?

— Сейчас в Америке очень широко обсуждается это дело, которое, казалось бы, не имеет прямого отношения к историям, о которых пойдет речь ниже. В этой стране сейчас любой спор или любая дискуссия, не имеющие никакого отношения к делу Симпсона, тем не менее либо заканчивается, либо начинается со ссылки на это дело. Создается впечатление, что американская судебная система и правовое сознание людей после процесса Симпсона уже не является такими, какими они были до этого. Что мне нравится в этом деле? И что мне в нем не нравится? Нравится то, что жюри, люди из народа, выступили в нем как верховные и окончательные

судьи, решение которых не подлежит обжалованию и не может быть пересмотрено. (В первом из дел, о котором пойдет у нас речь, нам придется увидеть, какой куцей и недемократичной выглядела советская судебная система, в работе которой не участвовали представители населения). Но что мне в деле Симпсона не нравится — это то, что некоторые защитники по этому делу спекулировали цветом кожи подсудимого и обращались к расовым чувствам жюри.

— Но если в делах, о которых пойдет речь, расовой проблемы не существует, то в каком смысле тут актуально дело О-Джей Симпсона?

— Следует понять, что выводы, вытекающие из процесса Симпсона, куда шире, чем присутствующая в нем расовая проблема. Ибо этот процесс ставит перед юристами вопрос: допустимо ли, вообще, привнесение в судебный процесс эмоций и предрассудков, не имеющих отношения к данному судебному делу. И вот этот общий вопрос — с точки зрения права даже более принципиальный, чем первый — незримо присутствует в каждом процессе, ну и естественно, в тех делах, к рассказу о которых я приступаю.

## Дело об изнасиловании Вероники Бережной

В середине 60-х годов мне пришлось провести несколько дел в самой южной точке Советского Союза, в Батуми. И одним из интереснейших дел — и по жизненной ситуации, и по глубине чувств вовлеченных в него участников, — я считаю дело по обвинению Хусейна (или как его звали Хусико) Болквадзе в изнасиловании Вероники Бережной.

Обстоятельства дела сами по себе необычайны. Вероника Бережная была сирота или почти сирота. Отца она вообще не знала, а мать ее, осужденная по страшному сталинскому закону от 4 июня 1947 года к 10 годам лишения свободы, сидела в лагере. Вероника воспитывалась в детском доме в Батуми, она хорошо училась в школе, дружила с девочками, успешно перешла в 10 класс. После смерти Сталина дело матери было пересмотрено и ее освободили из лагеря. Она приехала в детский дом, где воспитывалась дочь, и забрала Веронику с собой. Заведующий детского дома просил ее не

делать этого, дать девочке закончить школу — она только перешла в 10 класс, и потом ей будет легче устроиться в жизни. Мать слышать ничего не хотела, она забрала дочь и уехала с ней в Кутаиси. Там устроилась работать куда-то в буфет, домой возвращалась поздно вечером, хорошо навеселе, в общем, ее совершенно не интересовала жизнь дочери. Вероника была предоставлена сама себе. В грузинскую школу поступить не могла, потому что не знала в достаточной степени грузинского языка, она училась в Батуми в русской школе, на работу ее, естественно, не брали, вот и сидела дома без дела.

Время проводила по-разному: к ней стал захаживать сын хозяина, тоже молоденький мальчик, которому она, видно, нравилась. Он и Вероника стали проводить время вместе, пока однажды мать, придя с работы, как обычно, пьяненькая, увидела, что молодые люди целуются. Она тут же при мальчике устроила Веронике скандал и потребовала, чтобы та прошла судебно-гинекологическую экспертизу. Вероника страшно обиделась, одолжила у мальчика денег и, не попрощавшись с матерью, уехала в Батуми — единственно родное место в мире, где она надеялась как-то устроиться.

Когда Вероника появилась в детском доме, на окраине Батуми, то директор сказал ей: «Вероника, понимаешь, ты уже отчислена из детского дома и из школы, поэтому я не могу тебя взять обратно. Ты, конечно, переночуй у нас, а я попробую тебя пристроить к нашим шефам, на швейную фабрику, там есть общежитие, может быть, тебе удастся зацепиться». Вероника сказала: нет, раз так, она не останется в детском доме, и только просит, чтобы на время ей разрешили оставить чемодан. У нее в городе какие-то знакомые, которые ей помогут и с жильем и с работой, и в тот же вечер она уехала в город.

Выше я сказал, что обстоятельства ее детства были чрезвычайны. На самом деле это было так и не так. Потому что для России эти обстоятельства были, в общем, и будничны — мало ли девушек по разным причинам уходят из семьи, из дома, пытаются устроить свою жизнь. Вот и у Вероники на первых порах ничто не предвещало грозы.

Подобное часто случалось в моей практике — на первый взгляд, вроде бы обычные, хоть и несколько драматичные обстоятельства жизни. Ибо что такое жизнь? Часто — это просто случай, который вторгается в будни, — и начинает кружить человека эта мельница судьбы (как назвал ее Сидней Шелдон), то в одну, то в другую сторону. Так вот, когда Вероника выходила из рейсового автобуса, который подхватил ее у детского дома (все дети знали шофера, добродушного красавца Серго), и тут она совершенно неожиданно, ни с того, ни с сего, ему сказала: «Прощай, Серго, ты меня больше никогда не увидишь!» В ответ он довольно добродушно бросил ей: «Ну, прощай!» А она вдруг еще более решительно заявила: «Я хочу тебе сказать, Серго, что ты очень плохой человек».

Вначале он ничего не понял. К детям он относился хорошо, всегда их бесплатно подвозил, ждал, когда они выходили из дверей детского дома, и это неожиданное обвинение Вероники озадачило и удивило его. Но девочка мгновенно исчезла в огнях вокзала, ждать и выяснять не было времени, и он уехал.

Забегая немного вперед, надо сказать, что позже в чемодане Вероники были обнаружены письма, которые она сама себе писала от имени этого Серго. Он, действительно, был довольно привлекателен и еще молод, хотя уже был отцом троих детей, всегда веселый, открытый, знал массу песен. И вот Вероника неизвестно почему возомнила, что он влюблен в нее и что она тоже его любит. Все эти письма были найдены уже потом и послужили причиной многих неприятностей для Серго, а пока, выйдя из автобуса, она направилась не на вокзал, а на грузовую станцию, возле которой то в одну, то в другую сторону бегал паровоз и сгонял вагоны в грузовой состав. Она вышла на рельсы, дождалась, пока паровоз приблизится на очень близкое расстояние, закрыла глаза и бросилась под поезд. Паровоз, конечно, должен был неминуемо ее раздавить, но оказалось, что именно в эту минуту по другую сторону пути стоял молодой парень-аджарец Хусико Болквадзе, который, увидев девушку, бросающуюся под колеса, проявил невероятную находчивость, прыгнул в ее сторону, схватил ее и буквально вытащил ее из-под колес

паровоза. Испуганная, Вероника плакала на его груди, он укорял ее: «Девочка, ну зачем ты это сделала? Ты же еще такая молодая!» Она в слезах объясняла, что она совершенно одна, ей негде жить, у нее нет ни работы, ни денег и что жизнь ей не мила, поэтому и решила покончить с собой. Хусико ее успокаивал, говорил, что он ей поможет и потом сказал: «Отойди, я посмотрю на тебя. Слушай, у тебя красивая фигура, я женюсь на тебе. Пойдем вон туда, в пассажирский вагон, на запасных путях, проведем там вместе ночь, а утром я тебя приведу к себе в дом. Там у меня родители, братья, мы все будем о тебе заботиться — тебе будет хорошо в нашей семье».

Не берусь описать, что переживала в эти минуты Вероника, побывавшая рядом со смертью. Была она существом необычайно эмоциональным, как читатель, вероятно, уже понял, да и выхода особенного у нее не было. Она зашли в этот пустой вагон. Сидели, разговаривали, целовались и, как потом она показала на допросе, Хусико спросил ее: «Вероника, скажи мне, а ты девушка или нет?» «Да!» — ответила она. «А как ты мне это докажешь?» — спросил он. «Это ты мне должен доказать!» — ответила она. И Хусико, действительно, доказал. И здесь же, в этом вагоне, стоявшем на запасных путях, они вступили в близкие отношения. Когда рассвело, Хусико сказал ей: «Ты знаешь, Вероника, если мы сейчас, в такую рань, придем ко мне домой и я скажу, что я встретил тебя на путях, мои родители никогда тебя не будут уважать. Ты подожди меня немного, я сбегая домой, возьму паспорт, переоденусь, пойдем в ЗАГС, распишемся и с цветами пойдем домой».

Он проводил Веронику к будке весовщика и сказал ему на грузинском языке: «Эта девочка из детского дома, так что смотри, не обижай ее», — и обращаясь к Веронике, попросил ее: «Дорогая, подожди меня здесь, я приду через полчаса».

Вероника послушно села за стол весовщика, прождала полчаса, час, Хусико не возвращался. Весовщик ходил вокруг, нервничал, что-то бурчал себе под нос — ему явно не нравилось присутствие этой неизвестно откуда взявшейся девицы. А она, так и не дождавшись Хусико, взяла две багажных квитанции и на обратной стороне каждой написала

две записки. В первой записке попросила вещи из ее чемодана отдать девочкам из детдома, а вторую адресовала Серго, тому самому шоферу: «Дорогой Серго, прости меня за то, что я с тобой была так груба, я просто хотела сказать тебе, что я тебя люблю». Затем вышла на железнодорожные пути и, дождавшись того же паровоза, вновь бросилась под его колеса.

Позже, машинист, выступая в суде свидетелем, сказал, повернувшись к Веронике: «Ты очень плохой человек, почему ты все время под мой паровоз бросалась?» И обращаясь к суду, продолжал: «Я еду, смотрю, она бросается под мой паровоз, тогда ее один парень вытащил, второй раз еду, смотрю, опять стоит на рельсах и ждет. Ну, думаю, нет, на этот раз не пройдет. Только она бросилась, я взял и опустил решетку!» Оказывается, у паровоза имелась решетка, которую можно было в последний момент опустить и предотвратить наезд на человека. Решетка ударила Веронику, отбросила ее с путей. Сторож вызвал «Скорую помощь», и девочку без сознания отвезли в больницу. Когда ее несли на носилках к карете «Скорой помощи», Хусико, который прибежал к месту происшествия в новом костюме, помогал санитарам уложить ее в машину.

Ход делу был дан назавтра же, когда в больницу пришел следователь, чтобы допросить девочку о причинах самоубийства, и она заявила, что сделала это, потому что ее изнасиловали. Найти и арестовать Хусико не составляло труда, поскольку он день и ночь болтался вокруг больницы, пытаясь проникнуть к Веронике, узнать, как она себя чувствует, но его туда не пускали.

Таковы были обстоятельства дела. Когда устроили очную ставку между Вероникой и Болквядзе, она показала, что никакого насилия не было и все, что между ними было — это произошло добровольно.

Затем был снова допрос, на этот раз с участием прокурора, и на сей раз Вероника повторила, что ее изнасиловали.

Суд был показательный, на грузовой станции, в присутствии большого числа грузчиков. Вероника, покраснев, рассказывала все, что произошло и представила дело так, будто Болквядзе силой заставил ее отдаться ему.

Приговор — восемь лет лишения свободы. Защищал Хусико местный адвокат, защищал очень вяло, безынициативно, и даже не подал кассационной жалобы, хотя Болквядзе себя виновным не признал.

Когда я познакомился с делом, для меня было совершенно ясно, что приговор вынесен по непроверенным и противоречащим друг другу материалам дела.

Тут я должен сделать некоторое отступление, касающееся позиции адвоката в процессе. В любом деле перед адвокатом обычно открывается определенная фабула жизни, которую он и рассматривает под углом зрения закона, пытаюсь с большим или меньшим успехом найти оправдывающие или смягчающие вину подзащитного обстоятельства. Но если взглянуть на происшедшее шире, с общечеловеческой точки зрения, то в поле зрения адвоката, да и вообще, суда, оказывается сложнейшее переплетение жизненных ситуаций, психических отклонений, душевных подъемов и срывов, и все это обычно накладывается на многослойную и очень сложную материю, которую принято называть внутренним миром человека. Этот внутренний мир у каждого человека свой, очень индивидуальный, не похожий на внутренний мир другого человека. И вот тут-то очень многое зависит от отношения адвоката к обстоятельствам дела, его оценки психологии и внутреннего мира подзащитных, от жизненного опыта адвоката, его ума, наконец, просто его внутренней честности. Из этого и складывается этическое кредо адвоката, его стремление не просто формально выполнить профессиональный долг. Есть адвокаты (их мы, кстати, видели и среди тех, кто заседал в деле О-Джей Симпсона), которые со снисходительной улыбкой говорят о самом понятии «истины». Они лишь однозначно признают свой профессиональный долг — любым путем выгородить обвиняемого.

Я понимаю, что касаюсь очень тонкой и сложной материи, но, обращаясь к упомянутому мной «этическому кредо», — я хочу сказать, что лично для меня оно никогда (ни там в России, ни здесь в Америке) не было пустым звуком. Не сделав этого отступления, я чувствую, мне трудно было бы объяснить читателю, почему я так, а не

иначе действовал и в деле Болквадзе и в другом американском деле, о котором пойдет речь ниже, может быть, этически еще более сложном.

... Хусико не производил впечатления ловеласа. Он был худощав, высокого роста, не очень складный, чем-то напоминающий сельского учителя из Аджарии. Из его объяснений вытекало — я по крайней мере так его понял, — что, если бы Вероника не поспешила и дождалась его прихода, он бы на ней женился и привел к себе в дом, где он и его семья окружили бы ее заботой. Он меня попросил, чтобы я заехал к нему домой и повидал родителей.

Семья Болквадзе жила на окраине Батуми — не в той стороне, где парк, рестораны, гостиница «Интурист» и где гуляют приезжие, а в предместье, где беспорядочно разбросаны старые, маленькие дома и все кругом дышало бедностью. Я долго стучался, никто не выходил, ворота были закрыты, лишь большая, здоровая, как телок, собака, кидалась на меня и злобно рычала.

Наконец, вышла соседка и набросилась на меня: «Ты плохой человек, что ты ломишься, не видишь, что никого нет! Кто тебе нужен!» Я говорю: «Мне нужна семья Болквадзе». «Кто тебе нужен из семьи Болквадзе?» Я говорю: «Ну вот, отец его...» «Пьяный, на базаре валяется!» «Мать?» «Три смены на комбинате работает!» «А четыре брата?» «Все по тюрьмам».

Все это оказалось сущей правдой. Но, на мое счастье, пока я с ней разговаривал, прибежала на обеденный перерыв мать, открыла дверь, позвала в дом. Дом был недостроенный, но все-таки существовал второй этаж, там была какая-то мебель, старые стулья, сломанная кровать. Когда я зашел, то понял, что нищета напрочь поселилась в этом доме. Те крохи, которые зарабатывала мать, уходили на пропой мужа и на то, чтобы вытаскивать из беды ее драчливых сыновей, которые не выходили из тюрем.

Через некоторое время появился муж, отец Хусико, выпивший, маленький человек, похожий на гнома, который все время глупо улыбался. Потом мы втроем пообедали — обед состоял из душистого свежего хлеба, повидла и чая. Пока я с ними разговаривал, наступила ночь, ехать куда-то

было поздно. Меня пригласили переночевать, постелив мне под открытым небом, на раскладушке. Я видел над собой звезды, был свежий воздух, и я бы даже сказал, что спать было приятно, если бы не пес, который улегся рядом с моей раскладушкой и всякий раз злобно рычал, когда я пытался перевернуться на другой бок.

Когда я проснулся, надо мной уже сияло солнце, пели птицы, даже пес куда-то провалился. Мы позавтракали тем же душистым хлебом с повидлом и чаем. Я уехал в Москву, написал там жалобу и вскоре, как я уже говорил, получил ответ от председателя Верховного суда Грузии, что приговор в отношении Болквадзе отменяется и дело передается на новое рассмотрение. «Что же, — думал я, — свою работу я сделал, теперь семья Болквадзе, скорее всего, обратится к местному адвокату, чтобы он выступил на суде».

Через некоторое время я получил из Батуми письмо от матери Хусико, состоящее всего из двух фраз. «Суд над Хусико начнется 20-го. Дорогой Рабинович приезжай». Через пару дней наш бухгалтер в юридической консультации мне сказала, что на счет консультации поступили деньги на мою командировку в Батуми. Вначале я вообще решил не ехать. «Зачем? — думал я. — У меня другие дела. Почему я должен оставлять семью? Зачем мне этот далекий Батуми?» Но чем больше я себя уговаривал, тем отчетливее понимал, что поехать мне придется. И главное, может быть, почему мне хотелось участвовать в этом деле, было желание увидеть и услышать потерпевшую Веронику Бережную. Хотелось из ее собственных уст узнать, как получилось, что она, семнадцатилетняя девочка, вдруг решила уйти из жизни.

Когда я приехал в Батуми, мне сказали, что дело будет рассматривать член Верховного суда Вачадзе. Вачадзе был невысокого роста, плотный человек, по-русски он говорил плохо, но был не лишен чувства юмора, обладал даже каким-то шармом. Когда я обратился к нему с вопросом, а приглашена ли переводчица, поскольку судопроизводство будет, наверное, на грузинском языке, он ответил: «А зачем нам, дорогой, переводчица? Я немного понимаю по-русски, я работал в военном трибунале, а прокурор, заседатели все

равно ничего понимают, да это и не нужно, самое главное, что понимаю я!»

Возможно, мне надо было сказать, что по закону вы обязаны выделить переводчика, я требую этого, наконец! Но я отношусь к той категории адвокатов, которые не любят спорить с судьями, тем более приводить их в состояние гнева, которое неизбежно потом скажется на судьбе подзащитного. К тому же я подумал: самым главным в этом суде являются показания Вероники Бережной, которая будет говорить по-русски, других важных свидетелей там, вообще, не будет, и я согласился с Вачадзе. Подумал: пусть начнется процесс, а там посмотрим.

Поселился я в гостинице, рядом с Верховным судом, расположенным на узенькой маленькой улочке. Гостиница была прекрасная, окна выходили на берег моря. Утром я любил завтракать на открытой веранде, там было всегда солнечно, приятно, на горизонте виднелись корабли.

Приходил сюда завтракать и Вачадзе, всегда в сопровождении каких-то грузин. У них установился даже свой ритуал, вся компания усаживалась за столик, им приносили их национальное блюдо «хаш» или «хаши», пару бутылок водки, несколько бутылок нарзана, после чего они приглашали присоединиться меня. Я, сидя за своей кашей и чашкой кофе, благодарственно откланивался и оставался на месте, стараясь ни в ком случае не пропустить окончания их трапезы.

Как только они вставали из-за стола, немедленно поднимался и я и шел за ними. По дороге они останавливались у входа в Верховный суд, грузины, темпераментно жестикулируя, о чем-то говорили с Вачадзе. Он согласно кивал головой, прощался с ними, затем отправлялся в зал заседания. За ним следовал я. И когда начиналось заседание, я всегда уже был в зале суде.

Болквадзе находился не на скамье подсудимых. В зале стояла большая клетка в человеческий рост, с редкими, но очень крепкими металлическими прутьями, которая наглухо запиралась милиционером — аджарцем на замок. В клетке сидел Хусико, и я, когда мне нужно было, говорил с ним через эту клетку. А когда ему нужно было давать показания, он опять же говорил из клетки.

Показания Хусико были просты и убедительны. Я много поработал для того, чтобы подготовить его к суду, понимая, что его будут тщательно допрашивать относительно всех обстоятельств его встречи с Вероникой. Он не отрицал, что вступил с ней в близкие отношения, говорил, что полюбил ее с первого взгляда, хотел на ней жениться. И он готов жениться сразу же, как только его отпустят, поскольку он никакого насилия не совершал.

С первого дня суда на последней скамеечке у входа сидела тоненькая девочка с раскосым разрезом глаз (отец ее был кореец, который вместе с остальными корейцами куда-то исчез из Грузии в начале 50-х годов) в аккуратной беленькой блузке и внимательнейшим образом наблюдала за происходящим в зале суда.

В сторону Болквадзе она не смотрела. Когда объявлялся перерыв, она стремительно выходила из зала и не выражала никакого желания установить с ним какой-то контакт, хотя Хусико то и дело звал ее: «Вероника, дорогая, я тебе хочу что-то сказать!» Она делала вид, что не слышит, и меня это сильно настораживало. Я боялся, что ее отстраненность от Болквадзе, нежелание вступать с ним ни в какие контакты, свидетельствует о ее озлобленности против него. Возможно, она считала, что он сломал ей жизнь, и эта озлобленность может отразиться на ее показаниях. Единственный свидетель происшедшего, она может представить дело так, что и в самом деле имело место изнасилование. Но в своих опасениях я ошибся. После того как Веронику подозвали к свидетельской трибуне и дали расписаться в протоколе об ответственности за дачу ложных показаний, — она отошла на свидетельское место и спокойным голосом, как студент, сдающий экзамен по опостылевшему предмету, который ему смертельно надоел, но который во что бы то ни стало нужно сдать, спокойно, безо всяких эмоций, рассказала о том, что произошло. Лишь два раза она подавила рыдания, которые прервали на миг ее показания. Первый раз, когда говорила о том, как бросилась под поезд, и второй раз, когда рассказывала, как, оказавшись с Хусико в пассажирском вагоне, добровольно решила раздеться, и,

опережая мои вопросы, твердо сказала: «Да, добровольно, сама отдалась, потому что он меня спас и потому что обещал на мне жениться».

Болквядзе метался в своей клетке и кричал: «Вероника! Я женюсь! Я женюсь на тебе, как только меня отпустят!» Вачадзе прикрикнул на него, он стих, и судья стал над чем-то мучительно ломать голову: было ясно, что эти показания его не устраивают. Следовало что-то придумать. Но секретарь суда, добродетельная женщина — грузинка средних лет, Натэлла, все записывала и, когда Вероника рассказывала о том, как она добровольно раздевалась, я исподволь бросил на Натэлле взгляд, она опустила глаза, стыдливо показывая, что записывает все, слово — в слово!

Между тем, выйдя из себя, Вачадзе стал кричать на Веронику: «Зачем ты говоришь неправду? Ты помнишь, как ты приходила ко мне и жаловалась, что тебя его родные преследуют, требуя, чтобы ты изменила показания?»

«Я говорю правду, — упрямо твердила Вероника, — я отдалась ему добровольно — другого ничего не было и поэтому ничего другого я показать не могу».

На этом допрос потерпевшей был закончен. Надо было еще заслушивать показания других свидетелей, но Вачадзе объявил перерыв.

На следующее утро я, как всегда, кушал свою манную кашу, запивая ее душистым турецким кофе, и погода, как всегда, была прекрасной, и по-моему где-то вдали, на горизонте, одиноко белел парус, совсем, как у Лермонтова! Я размечтался и не обратил внимания на то, что столик, за которым обычно сидел Вачадзе с компанией, пустовал. А время было почти 10 часов. Ругая себя на чем стоит свет, я побежал в суд — судебное заседание на это раз началось без меня. Собственно, оно было каким-то странным, неформальным. Рядом с Вачадзе, за председательским местом, сидел какой-то пухленький, розовощекий старичок в ослепительно белом чесучовом костюме. Вачадзе показывал ему дело, они вместе его листали, старичок, доброжелательно улыбаясь, что-то говорил Вачадзе, Вачадзе кивал головой. Я, не находя себе места, как петушок, все время вскакивал и спрашивал, что это за человек? Почему он интересуется

делом? Какое он имеет к нему отношение? На что Вачадзе спокойно отвечал: «Ну, что ты волнуешься? Это мой друг, большой друг, я хочу с ним посоветоваться».

Мне почему-то показалось, а может быть, мне хотелось так думать, что Вачадзе, решив оправдать Болквядзе, позвал какого-то пенсионера-судью, чтобы с ним посоветоваться, как это лучше сделать. Но дальнейшее поведение старичка в чесучовом костюме показало, что все обстояло далеко не так. Вачадзе обратился к секретарю, та в ответ протянула ему протокол, и он дал расписаться в протоколе этому странному другу. Именно в этот момент чаша моего терпения переполнилась, я демонстративно встал, бросил в портфель свои записи, кодексы и сказал: «Я покидаю этот зал и не буду участвовать в дальнейшем судебном разбирательстве, пока не явится переводчик и не будет мне объяснено, что это за человек и какие он дает показания».

Вачадзе примирительно сказал: «Не надо волноваться, дорогой мой. Это, действительно, мой друг, и к тому же он главный эксперт нашей республики, — и еще раз подчеркнул, — самый главный эксперт! Так вот, понимаешь, дорогой, главный эксперт, зовут его Эриташвили Зураб Иванович, считает, что когда Вероника бросилась под поезд и Хусико Болквядзе ее вытащил, она психически находилась в беспомощном состоянии и Хусико этим воспользовался».

Странное дело: когда я услышал это заключение эксперта, у меня на душе стало совершенно спокойно, я сел за стол и начал писать вопросы, которые намеревался перед ним поставить.

Здесь снова следует сделать отступление. Как адвокат я, может быть, иногда упускал задать тот или иной вопрос свидетелю. Но к допросам экспертов я обычно готовился очень тщательно и имел в этой области большой опыт. Объясняется это тем, что в отличие, например, от американского права, где допрос эксперта ничем не отличается от допросов свидетелей (и то и другое стенографируется, затем расшифровывается и становится неотъемлемой частью судебного дела), в советском уголовном процессе все обстояло иначе: свидетелю разрешалось задавать только устные вопросы, которые обычно записывал секретарь, за-

писи делал очень короткие, чаще всего кое-как, а вот в отношении судебных экспертов уголовно-процессуальные кодексы содержали очень важные исключения: вопросы эксперту можно было задавать в письменном виде, и он должен был отвечать тоже в письменном виде. После этого адвокат получал возможность задавать эксперту и устные вопросы.

У нас в Президиуме коллегии адвокатов в течение многих лет консультировал бывший главный судебно-медицинский эксперт советской армии Михаил Иванович Авдеев. Ума и знаний он был необычайных: он всегда учил адвокатов: «Заранее приходите в зал судебного заседания с готовыми вопросами. Проведите бессонную ночь за учебниками по судебной медицине, но никогда не надейтесь на свою эрудицию, ибо те письменные вопросы, которые вы зададите эксперту, и его письменные ответы станут неотъемлемой частью судебного разбирательства. Опираясь на них, вы сможете построить свою защиту».

Для меня совершенно ясно было, что Зураб Иванович Эриташвили, может быть, был главным судебно-медицинским экспертом Аджарии, но никакого отношения не имел к судебно-психиатрической медицине, которая существовала совершенно независимо от судебно-медицинской экспертизы. И, конечно же, он не имел никакого права давать такое заключение. Итак, я подготовил несколько письменных вопросов.

Когда я писал эти вопросы, судья Вачадзе обеспокоенно крутил головой и без конца спрашивал меня: «Что ты там пишешь, дорогой?» Я ответил: «Вопросы!» «Мне? Вопросы? Зачем тебе писать мне вопросы? Хочешь спросить — спроси, я отвечу». Я сказал: «Это вопросы не вам, а к судебно-медицинскому эксперту. Закон мне предоставляет право задать ему письменные вопросы». «Ну, если закон предоставляет тебе такое право, тогда пиши!»

Теперь уже настала очередь волноваться судебно-медицинскому эксперту Зурабу Ивановичу Эриташвили. Его прежний лоск с него сошел. Розовые щечки завяли, и он тревожно ожидал, какие же вопросы я ему задам. А я после того, как закончил писать, встал и громко с выражением их зачитал.

Это были вопросы, относящиеся к квалификации эксперта, имеет ли он опыт дачи заключений по психиатрической экспертизе, проводил ли он лично судебно-медицинский осмотр потерпевшей и т.д.

Когда я кончил зачитывать вопросы, я протянул их Вачадзе, чтобы он передал их эксперту. Реакция последнего оказалась совершенно непредсказуемой — он выхватил из рук Вачадзе листок с вопросами, а у опешившего секретаря судебного заседания Натэллы вырвал из рук протокол, в котором только что расписался. И у всех на глазах разорвал эти два листка на мелкие кусочки. Затем угрожающе помахав пальцем перед носом опешившего Вачадзе, хлопнув дверью, вышел из зала.

Вачадзе только недоуменно покрутил головой и сказал: «Большой, очень большой человек, но очень нервный!»

Затем Вачадзе вызвал судебно-медицинского эксперта, который осматривал Веронику, когда она была доставлена в больницу. Эксперт дал заключение, что помимо причиненных ударов решетки, при осмотре потерпевшей он не обнаружил ни синяков, ни царапин, ни кровоподтеков, характерных для изнасилования.

Была вызвана судебно-психиатрический эксперт, главный врач психиатрического диспансера украинка Гордиенко, которая дала заключение, что у потерпевшей не было обнаружено никаких психических отклонений, что в опеке она не нуждается и никакого беспомощного состояния после того как Хусико ее спас, у девушки не было. Эмоциональный стресс, конечно, имел место, но не более, а то, как она решила отблагодарить своего спасителя, — это дело ее сугубо личное. После того как были допрошены все свидетели, перед выступлением сторон, Вачадзе начал усиленно листать уголовный кодекс. Я понимал, что он ищет: в создавшейся ситуации для него легче всего было переквалифицировать дело об изнасиловании на «добровольное вступление в половую связь с лицом, не достигшим совершеннолетия». Но по законам Грузии — здесь с 16 лет девушкам разрешалось выходить замуж, и осудить Болквадзе по этой статье было невозможно.

Судебное следствие было закончено. Прокурор, молодой,

красивый грузин, произнес эмоциональную и гневную речь, разумеется, на грузинском языке, прочитал что-то из кодекса, потом с шумом сел, и Вачадзе мне на ухо сообщил, что он просит для Хусико десять лет. Это меня особо возмутило: «Как! — воскликнул я, — какие десять лет? Ведь первоначальный приговор — 8 лет — был отменен по моей жалобе! Даже, если суд признает его виновным, а для этого нет никаких оснований, но даже, если суд признает, то ведь он не может ему дать больше 8 лет!» «Хорошо! — кротко сказал Вачадзе, — я ему объясню».

Он все ему объяснил, даже, по-моему, пальцем показал на соответствующую статью уголовно-процессуального кодекса. Но прокурор опять произнес небольшую речь и опять отшвырнул кодекс, на этот раз процессуальный. И Вачадзе, как мне теперь показалось, уже виноватым голосом сказал: «Все равно он требует 10 лет».

После прокурора выступал я. Говорил я, примерно, часа два-два с половиной. Смысл моего выступления сводился к тому, что Хусико Болквадзе спас Веронику не только физически, вытащив ее из-под колес паровоза, но он ее спас и хотел спасти как личность, как человека, в силу обстоятельств оказавшегося на самом дне жизни, нуждавшегося в человеческом тепле, в ласке, в поддержке — все это мог предоставить и хочет предоставить Веронике Хусико Болквадзе. Но нелепый, незаконный арест лишил ее этой возможности. Вероника могла приобрести, и я надеюсь, что она приобретет в лице Болквадзе друга, мужа, и обретет родную для себя семью. А то, что с ней произошло, она забудет, как кошмарный сон. Стоял я, обращаясь к суду, боком, и наблюдал за Болквадзе и за Вероникой, которые внимательно, каждый по-своему находя в ней свой смысл, слушали мою речь.

Я видел, как Вероника, первоначально сидевшая с равнодушным лицом, несколько оживилась, глаза ее заблестели. Мне показалось, что слушая меня, она несколько воспряла духом. Может быть, решила, что я в своей защитительной речи передаю ей слова, намерения и планы Хусико Болквадзе, передаю то, чего он сам ей передать не может, и поэтому уполномочил меня сказать ей это в зале суда. Во всяком

случае, когда я закончил говорить и вышел на улицу, я увидел, что Вероника поджидает меня у выхода и даже сделала шаг в мою сторону — наверное, для того, чтобы поговорить со мной наедине — о том, что думает о ее судьбе Хусико Болквадзе. Конечно, мне надо было к ней подойти, взять ее за руку, повести ее по парку погулять, поговорить с ней, выслушать ее, дать ей несколько разумных советов, а может быть, просто пойти на веранду, ту самую веранду, где я каждый день завтракал, и, сидя за чашкой кофе, или, может быть, легкого грузинского вина, поговорить с ней. Но правила общения адвокатов с потерпевшими в Советском Союзе были очень строгими — это здесь, в Америке, адвокат имеет право, даже обязан встречаться со свидетелями защиты, готовить их к показаниям (при одном, обязательном условии, что он не должен их подговаривать говорить неправду). Там, в Советском Союзе, одно общение с потерпевшим, который дает показания в пользу клиента адвоката, может иметь самые неприятные для адвоката последствия. И я не подошел к Веронике — я отвернулся от нее и отправился в другую сторону — поступок, за который я себя до настоящего времени ругаю.

Как знать, может быть, если бы я с ней поговорил, возможно я бы мог понять глубже ту трагедию, которая случилась с ней. Принять какое-то участие в ее жизни, и все у нее сложилось бы иначе.

Болквадзе был опять осужден к 8 годам лишения свободы. Я составил подробную жалобу, и Верховный суд Грузии, отменив этот приговор, прекратил дело производством.

Одно благополучно закончившееся дело влечет за собой приход писем по другим делам, поступают просьбы защищать других клиентов. И вскоре я опять приехал в Батуми. В коридоре Верховного суда меня увидел Вачадзе и позвал к себе в кабинет, одновременно служивший и залом судебного заседания. «Слушай, — сказал он, — у тебя, наверное, есть свои люди в Тбилиси, которые тебе помогли». «Да, нет, — сказал я, — нет у меня там никаких людей!» «Ну хорошо, не хочешь говорить, не надо! Я сейчас скажу секретарю, она даст тебе адрес Болквадзе. Он должен к тебе приехать и принести большой подарок».

Я засмеялся. «Что ты смеешься, — сказал Вочадзе. — Это очень редко бывает!» «Я знаю, что это редко бывает, но семья Болквадзе — это очень бедная семья!»

Впрочем, открытку я решил Хусико все-таки написать. Не потому, что я от него ждал подарка. Я думаю, к тому времени Болквадзе еще не разбогател, да, наверно, и работать еще не начал. В Грузии такие события, как освобождение из тюрьмы, празднуются чуть ли не годами. Но меня все время занимала судьба Вероники, может быть, даже больше, чем судьба Болквадзе. Мне казалось, когда я сидел на скамейке у парка, что вот-вот покажется из аллеи парочка — подстриженный и побритый наконец Хусико под руку с Вероникой, оба улыбающиеся, — что она принесет мне букет цветов и скажет мне: «Петр Самойлович, Хусико спас меня, а вы спасли нас обоих». Мне, может быть, этого хотелось или просто мерещилось, что все-таки Хусико на ней женится. Дни шли за днями — никто ко мне не приходил, и тогда я понял, Хусико на ней не женился, потому что, если бы случилось по-другому, Вероника наверняка бы меня разыскала.

## Сорок лет спустя

Примерно в марте 1988 года ко мне в адвокатский офис на 5 авеню в Нью-Йорке пришла Аня Карасик, весьма миловидная и еще не старая женщина из Бруклина. Она сказала, что у нее очень сложное дело, и она долго думала, к кому из адвокатов обратиться.

Поскольку ей нужен был юрист, который разбирается не только в американских законах, но и в советских, она решила прийти ко мне. Прежде, чем приступить к изложению своего дела, она тревожно огляделась и сказала: «То, что я вам буду рассказывать, независимо от того, будете вы вести мое дело или нет — все это должно остаться сугубой тайной, поскольку ни мой сегодняшний муж, ни мои взрослые дети не должны знать о том, что вы от меня услышите. Я бедная эмигрантка, приехавшая два года назад из России, — продолжала она. — Но я встретила в Америке своего первого и, как я считаю, своего единственного мужа — миллионера. Речь идет об

очень и очень больших деньгах. Он владеет полусотней многоквартирных домов во Флориде, ему принадлежат миллионы долларов, он имеет в сейфах сотни бриллиантов колоссальных ценностей. Обо всем этом он мне говорил сам, я являюсь его законной женой и хочу, чтобы вы помогли мне получить причитающееся мне наследство». Вот что сказала мне эта женщина. После чего я и хотел бы приступить к изложению этой поистине фантастической истории.

... Когда началась война, Аня и ее родители жили в белорусском городе Витебске, и, спасаясь от немцев, ее семья эвакуировалась в Чкалов, который сейчас называется опять Оренбургом. Семья эта, как и многие еврейские семьи в Белоруссии, жила очень бедно, а с началом войны они и вовсе потеряли все, что имели, и в эвакуацию, в Чкаловск, приехали голыми и босыми. Отец, который был сапожником, вскоре умер, а Аня, которой исполнилось 18 лет, пошла работать кассиром в фотографию. Она потом вспоминала, что у нее было единственное платье, которое она по вечерам стирала, сушила и по утрам одевала снова. Но она была очень молода, привлекательна. И вскоре за ней стал ухаживать, а потом встречаться с ней молодой еврейский паренек из Польши по имени Марк Брегман.

Нужно сказать, что в Оренбург в то время съехалось очень много беженцев с оккупированных территорий. Евреи из западной Украины, из Польши, из Минска, из бывшей Венгрии. Оказался среди них и Марк Брегман, который довольно неплохо устроился.

Я, между прочим, отмечал, что люди, бежавшие из капиталистических стран, какой, в частности, была довоенная Польша, даже в трудных условиях эвакуации, проявляли изрядную предприимчивость. Они не были связаны железной идеологией, и потому устраивались лучше, чем наши несчастные беженцы с Украины и Белоруссии.

Марк сделался заведующим столовой, а вечером он шил какие-то полутапки, полутуфли, которые неплохо расходились. Поэтому, когда Аня вышла за него замуж, положение ее сразу улучшилось. Они отметили скромную свадьбу, где, по странному стечению обстоятельств, оказалась двоюродная сестра Марка, которую я встретил через 50 лет в

Нью-Йорке. После замужества Аня перешла в комнату, которую снимал Марк, и они зажили совсем неплохо.

Это было в 1944 году, незадолго до окончания войны. Сразу же после войны в газетах стали появляться статьи о трагической судьбе польских евреев и, приходя с работы, Аня не могла не чувствовать, в каком подавленном состоянии был Марк. В Польшу у него осталась вся семья, родители, братья, сестры. Аня видела, что он всей душой рвался туда, хотя бы только узнать, что же с ними произошло.

Однажды Марк сказал ей: «Аня, я не могу больше этого выдержать, я должен поехать в Польшу и узнать, что там случилось. Я тебе очень скоро напишу и вызову к себе. Конечно, я бы мог тебя взять с собой, но мы едем на неизвестное, я не знаю, живы ли мои родители, цел ли наш дом!»

Аня с ним согласилась, может быть, потому что она не могла оставить свою семью, для которой она была единственной опорой. И они расстались. Действительно, через некоторое время оказией пришло письмо — как будто оно было опущено в почтовый ящик в Польше. Марк писал, что он едет дальше, но очень скоро возьмет Аню к себе. На этом переписка оборвалась, и больше от него не было никаких вестей.

Через некоторое время началась реэвакуация. Евреи из восточных областей потянулись на Запад, даже не обязательно домой, многие пытались устроиться в западных областях: в Черновицах, во Львове, городах, которые не были так разрушены, и там начать жизнь сначала. Также, как многие, семья Ани — мать, сестра ее Фира, сама она — перебралась во Львов. Все эти годы Аня продолжала ждать вестей от Марка. Думала, что если она будет во Львове, ей будет легче перебраться к нему в Польшу. Но Марк не давал о себе знать.

Между тем, во Львове стало известно, что в послевоенной Польше произошли еврейские погромы. Они прошли в Кельцах и других городах, где поляки, укравшие еврейское добро и завладевшие еврейскими домами, враждебно встретили вернувшихся из лагерей и восточных областей России — когда те пытались отсудить или отобрать принадлежащее им имущество, их убивали.

Аня решила, что, наверное, погиб и Марк, иначе он написал бы ей. И вот спустя пять лет, отчаявшись встретиться с Марком, она, чтобы устроить свою судьбу, выходит замуж за Семена Резчика. Будучи за ним замужем, она родила двоих сыновей.

Жизнь этой семьи складывалась далеко не столь хорошо и гладко, как могло бы показаться. Дело в том, что Семен, как и многие его друзья, стал заниматься какими-то левыми делами, они создали целую сеть подпольных фабрик, на которых изготовлялись товары, не поступавшие в торговлю. Товары продавались налево, деньги шли в карманы продавцов и производителей. Это были большие деньги, и молодая семья могла позволить себе жить на широкую ногу, ходили в рестораны, в театры, ездили отдыхать на юг. Все шло хорошо — но примерно в 1965-66 годах началась волна арестов и были взяты практически все лица, которые занимались этими подпольными промыслами.

Семен кинулся в бега, Аня, естественно, знала, где он. Но когда ее допрашивали, говорила, что она и понятия не имеет, где муж. Сама же тайно ездила к нему, встречалась с ним, умоляла его, чтобы он вернулся, но тот говорил, что это сопряжено с большой опасностью, поскольку на Украине уже началась серия громких процессов с расстрелами. Кончилось все-таки тем, что он не выдержал, и через год вернулся домой. Его арестовали, должны были судить по очень громкому делу, и возможно его также ожидал расстрел.

Аня мне рассказывала, сколько она тратила сил, чтобы любым путем спасти его, и само по себе это заслуживает повествования, ибо показывало, какую замечательную силу духа и преданность мужу проявила эта молодая женщина.

Основным лицом, которое давало показания против Резчика, был один крупный подпольный бизнесмен, которого звали Леонид. Леониду нравилась Аня, в те годы она была необыкновенно интересна, красива. Леонид всегда приглашал ее в ресторанах на танцы, хорошо к ней относился. И когда Аня узнала, что судьба Семена, и значит всей ее семьи находится в руках Леонида, она решила непременно с ним повидаться и убедить его, чтобы он изменил показания. Она узнала, в каком месте Леонида будут судить по какому-то

другому делу и сумела уговорить охранника пустить ее в камеру при суде, сунула ему пачку папирос, бутылку водки, — и тот ее пропустил.

Аня рассказывает, что когда она вошла в камеру и увидела Леонида, который всегда раньше был элегантным, веселым, великолепно одевался и всегда ей целовал руки, она с трудом узнала этого человека в грязном, обросшем и одетом в какое-то тюремное тряпье оборванце. Аня бросилась к нему в ноги и, рыдая, стала умолять его, чтобы он помог: «Леня, спаси нас, спаси детей, ты же знаешь, если Семена расстреляют, я и дети просто погибнем». Леонид поднял ее, поцеловал и сказал: «Аня, то, о чем ты просишь, я сделаю, как бы мне это не было трудно».

Когда начался судебный процесс, по которому привлекались и Семен и Леонид и другие участники этой группы, Леонид, действительно, изменил показания. Он заявил, что прежде давал о Семене неверные показания, что он оговорил Семена для того, чтобы «рассовать, как он пояснил, суммы, которые на нем висели». Естественно, это привело в ярость и прокурора и суд. При всех прочих обстоятельствах ему бы дали, может быть, пятнадцать лет, но, учитывая, что он пытался, как суд отметил, «выгородить своих сообщников», его приговорили к высшей мере и расстреляли.

Семену, между тем, дали восемь лет, Аня исправно ездила к нему в лагерь, возила ему передачи, в общем, она вела образ жизни честной и преданной женщины, у которой муж оказался в лагере.

Прошло много лет, Семен вышел из лагеря, и в начале семидесятых годов они эмигрировали в Америку, поселились в Бруклине. Жизнь их, хотя вначале было много трудностей, постепенно вошла в свою колею, и наверное, также продолжалась бы и дальше, если бы в один прекрасный день в квартире Резчиков не зазвонил телефон, и, взяв трубку, Аня, не веря собственным ушам, услышала знакомый чуть хриловатый голос:

— Аня, — говорил ей в трубку голос, — это Марк. Я нахожусь на твоей улице, умоляю тебя выйти ко мне, я никогда тебя не забывал...

Анин муж был в это время дома, поэтому говорить с

Марком она не могла и очень сухо ответила: «Прошу тебя приехать во вторник (во вторник муж работал очень поздно), и мы тогда обо всем поговорим».

Во вторник, точно в условленное время Марк приехал к ней. И вот так, спустя 40 лет, состоялась встреча бывших супругов.

Марк был необычайно взволнован и долго рассказывал ей о том, что за сорок лет произошло с ним. По его словам, он многие годы писал ей письма, но, по-видимому, они просто не доходили до нее.

Вскоре после возвращения в Польшу Марк вместе с другими польскими евреями переехал в Германию, где он попал в лагеря депи — перемещенных лиц, женился и вскоре оказался в Канаде. Здесь Марк сколотил состояние, у него был мясной магазин, и когда с 1973 года началась волна эмиграции советских евреев, он, где бы не находился, подходил к каждому и спрашивал, не встречалась ли ему случайно Аня Резчик, которая когда-то жила в Оренбурге.

Однажды в Канаде, на очень большом празднестве, — это была свадьба его дальних родственников — он встретил эмигрантку из СССР, которая жила в Нью-Йорке, и на его обычный вопрос, не встречалась ли ей Аня Резчик, сказала: «Аня? Это же моя двоюродная сестра, она живет с мужем и детьми в Бруклине! Я могу дать вам ее телефон».

На следующий день Марк с букетом цветов прилетел в Бруклин, позвонил Ане и рассказал ей все то, о чем мы уже знаем. Переполненный чувствами, он говорил Ане, что любил ее всю жизнь и любит до сих пор. Все получилось потому, что он не мог ее разыскать, жену он свою давно не любит и немедленно начинает дело о разводе.

Марк говорил, что он очень богатый человек, миллионер, и он сделает все, для того, чтобы жизнь Ани была обеспеченной и богатой. Он купит ей квартиру во Флориде и новую квартиру в Бруклине. Он обеспечит ее детей. Единственное, о чем он просит — оставить мужа, чтобы они смогли жить вместе.

Для Ани это было нелегкое решение, на которое она была бы сразу готова. Она слишком долго прожила с Семеном, и они слишком много пережили вместе. Но вместе с тем,

появление Марка возбудило в ней столько добрых и хороших воспоминаний, что она решила продолжать с ним встречаться, а дальше будет видно, что в конце концов предпринять.

Каждую неделю, а иногда и два раза в неделю Марк прилетал из Канады, из Торонто, где он жил, а потом из Флориды, куда позже переехал, в Нью-Йорк, и они вместе проводили незабываемые дни, ездили по городу, обедали в хороших ресторанах. Он ей делал подарки, давал деньги, но, с моей точки зрения, для миллионера, встретившего женщину, которую он сорок лет ждал, эти подарки были более, чем скромны. Он ей давал в месяц, может быть, 400—500 долларов, покупал ко дню рождения сережки за 500—600 долларов. Уже было решено, что Марк, который к тому времени жил с семьей во Флориде, покупает ей там квартиру, и она переезжает к нему.

В обусловленный день, когда Марк должен был приехать в очередной раз, он не приехал. Аня позвонила его секретарю и та ей сказала, что в прошлую субботу Марк был убит его бывшим сотрудником, которого он уволил с работы. Для Ани это был крах ее мечты. Хотя муж еще был жив, и дети тоже были рядом, появление Марка принесло ей второй вариант жизни, может быть, более счастливой, чем та, которую она имела. И Аня уже как-то на этот вариант рассчитывала: и на Марка, и на его блага, и на его обещания, и на его деньги.

Когда Аня пришла ко мне, а пришла она именно в тот момент, когда стало известно, что Марка убили, — ее уже изрядно мучил вопрос: может ли она, первая жена, получить после него какое-то наследство.

Здесь надо сказать следующее, что как законы СССР, так и Америки, устанавливают, что, если первый брак был заключен и потом не был расторгнут, то все последующие браки, сколько бы их не было, считаются недействительными.

Но это было непростое дело, потому что фактически каждый из бывших супругов отказался от своего первого брака, просуществовавшего всего лишь около года. Каждый завел себе новую семью. Они имели детей. У Ани было двое сыновей. Марк имел двух дочерей и сына. Оба считали, что именно их новые семьи являются настоящими семьями. Но

юридически, легально, для них обоих эти последующие браки могли быть признаны недействительными.

Мне было ясно, что все будет далеко не просто. Я сказал Ане, что мы попробуем что-то для нее получить, но для этого надо прежде всего иметь свидетельство о ее браке с Марком, которого у нее не было. Я попросил помочь в этом своих коллег из Инюрколлегии в Москве, и должен сказать, что относительно очень быстро из Москвы получил свидетельство о браке, где было черным по белому сказано, что Аня такая-то и Марк такой-то, действительно, в 1944 году зарегистрировали брак в таком-то ЗАГСе города Чкаловска.

Имея в руках это неоспоримое свидетельство, что она является его первой и юридически законной женой, я предъявил в суде Флориды, где рассматривалось это наследственное дело, требование о признании Ани Резчик женой и наследницей Марка Брегмана и одновременно о признании недействительным брака, заключенного Марком и его второй женой.

В это время (и тут можно сказать, что это была, действительно, рука судьбы), так вот в это время муж Ани Семен Резчик скоропостижно умирает и, таким образом, своей смертью избавляет ее от очень неприятной необходимости доказывать, что ее брак с человеком, с которым она прожила сорок лет, был недействительным.

Но и при этих обстоятельствах вся эта история выглядела не слишком приятной. Когда Аня ко мне пришла, она уже успела обо всем рассказать детям, и младший сын, который очень любил отца, в состоянии сильного волнения сказал ей: «Вот видишь, мама, если бы ты не начала этого дела, папа, может быть, остался бы жив».

Легко было это дело начать, но трудности, которые мы встретили во Флориде, оставляли в общем-то немного шансов для успеха.

Когда я явился в суд первый раз, то судья, очень важный, седой англосакс, сказал: «Господин Рабинович, вы знаете, Флорида является очень своеобразным штатом. Своеобразность эта заключается в том, что как только умирает богатый наследодатель-миллионер, сразу же появляются молоденькие женщины, которые претендуют стать его наследницами,

хотя они часто не видели его и не хотели знать десятилетиями». Я сказал: «Ваша честь, моя клиентка не такая уж молодая женщина, но представьте себе такое редкое совпадение обстоятельств: она действительно является его женой». «Хорошо, — сказал он, — суд рассмотрит требование всех заинтересованных лиц», — и спросил меня: «Где вы практикуете в Нью-Йорке? Я бы вам все-таки посоветовал более подробно ознакомиться с судебными прецедентами нашего штата». И, действительно, когда я после возвращения в Нью-Йорк просидел несколько дней в библиотеках, то увидел, что судебная практика Флориды акцентировала главное внимание не только на том, что первый брак обязательно признавался, а все последующие объявлялись недействительными, но также и на том, отказалась ли каждая сторона от своего первоначального брака, создала ли она новую семью и рассматривала ли она эту семью как единственную.

К этому времени мы получили из суда дело о разводе, который Марк незадолго перед этим начал. Из этого дела было видно, что у него с женой были очень большие разногласия, он даже однажды ударил ее, но все это закончилось примирением. Как однажды он сказал одному из друзей: «Знаешь, мне с ней дешевле помириться, чем разойтись, она меня разденет догола».

Через некоторое время ко мне в офис приехал назначенный судом общественный защитник человека, который застрелил Марка. То есть на самом деле он был защитником государственным. В их функцию обычно входила защита людей, которым грозила высшая мера. А убийце Марка как раз и грозила смертная казнь. Для облегчения его судьбы защитнику следовало доказать, что Марк не был таким уж кристально честным человеком. Конечно, и людей не очень честных, даже вороватых, тоже нельзя убивать. Но, если у суда присяжных будет выбор между смертной казнью, которая существует во Флориде, и пожизненным заключением, то важно представить им данные о том, что личность убитого не заслуживала такого уж страшного наказания его убийце. Я все, что знал, рассказал этому защитнику об отношениях Марка и Ани. Через некоторое время он попросил Аню

приехать во Флориду и выступить на суде, а заодно выразил желание, чтобы приехал и я и присутствовал на этом суде. Он считал, что это будет очень важно для нашего будущего гражданского дела.

Довольно скоро мы с Аней вылетели на суд. В первые день-два после начала процесса убийца Марка не признавал себя виновным, но через какое-то короткое время было достигнуто соглашение: подсудимому было обещано вместо смертной казни пожизненное заключение в обмен на признание им своей вины. Пока мы находились в зале суда, я сумел познакомиться с мотивами этого убийства и с личностью самого убийцы. Должен сказать, что более загадочного и более необъяснимого убийства, я, адвокат, сорок лет занимающийся юридической практикой, в своей жизни не видел и, вероятно, уже не увижу.

Этот убийца — звали его Джек — был доверенным лицом Марка Брегмана, он был у него кем-то вроде супервайзера в его жилищном комплексе. Была у Джека там какая-то конторка, которая управляла 50 домами, принадлежащими Марку. Джек организовывал работы, следил за порядком и даже выполнял довольно деликатные поручения своего шефа.

У Марка в Калифорнии проживал умственно отсталый сын, который был на полном обеспечении в одном из специальных учреждений, создаваемых для подобных лиц. И вот этот человек ездил туда по поручениям Марка, привозил сыну деньги. И все было замечательно, пока Джек не связал свою судьбу с какой-то очень странной женщиной, полуиндианкой, полумексиканкой, которая, очевидно, стала ему напештывать, что он находится в бесправном услужении у этого еврея. «Ты посмотри, как он живет и посмотри, как живу я, притом, ты не забывай, что мы ведь ждем ребенка». И вот этот, доверенный, стал дерзить шефу, не выполнял его поручений. И хотя Марк относился к нему довольно добродушно, но, видно, настал момент, когда терпение его лопнуло, и он Джека уволил.

Однажды в выходной день, когда Марк находился со своим польским другом у себя в офисе и разбирал какие-то бумаги, к нему заявился Джек, которого привезла жена,

оставшаяся в машине. Марк встретил его довольно добродушно, сказал: «Заходи, рад тебя видеть, как живешь, давай потолкуем». «Да, — сказал Джек, — мы действительно должны потолковать». С этими словами он вытащил пистолет и начал стрелять, выпустив в Марка и его друга целую обойму. Марк был сразу же убит, друг залез под стол и даже не был ранен. А убийца сел в машину и уехал. Почему он это сделал? Я первоначально думал, что, может быть, все это организовала вторая жена. Но нет, не похоже, во-первых, она в это время находилась в Израиле. И потом, даже если бы она это организовала, вряд ли Джек столь спокойно принял бы пожизненное заключение, не назвав ни мотивов, ни организаторов убийства.

Как бы то ни было, он встал и в присутствии своего адвоката заявил, что он признает себя виновным в убийстве Марка Брегмана, и судья тут же приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Итак, Марка Брегмана нет, Семена Резчика нет, есть две жены — Аня, вышедшая за Марка в 1944 году в Оренбурге и утверждавшая, что она его единственная жена, и вторая жена, которая вышла за него замуж в Германии, в 1950 году, и родила ему троих детей.

Как я понимаю, перед судом была очень сложная задача — определить, является ли Аня законной женой Марка Брегмана и, следовательно, наследницей половины его имущества (остальное должны были получить его дети) или все-таки настоящей женой является его вторая жена, на которой Марк женился в Германии.

В Америке существует так называемая «дэпозишен», то есть допрос свидетелей под присягой адвокатами. Мы приехали с Аней во Флориду через три месяца после суда над убийцей Марка. И теперь уже показания давала Аня. Она рассказала об обстоятельствах своей встречи с Марком и своего замужества — почему и как они расстались и как встретились снова спустя сорок лет.

Конечно, я готовил Аню к вопросам, которые ей задавали адвокаты второй жены Марка. Я основывался на реалиях, которые мне были хорошо известны, и, как я полагал, известны и моим американским коллегам. Но их вопросы были в значительной степени наивными, они просто-напросто не

понимали той жизни, которой жила Аня. Ну, например, спрашивали они, почему вы не писали своему первому мужу? Почему его не разыскивали через международные организации? Почему вы не поехали в Германию? Почему вы не поехали в Польшу? Они не имели и представления о том страшном времени, в котором мы жили, когда само общение с заграницей или попытка туда выехать рассматривалась чуть ли не как измена родине.

Допрос Ани, как я считаю, прошел хорошо. К тому времени не было в живых Семена, и морально ей куда легче было говорить, что она считает Марка своим единственным мужем. Но тут всплыла одна деталь, в которую просто вцепился адвокат противоположной стороны. То есть это была даже не деталь, а опять же обстоятельства жизни Ани.

«Вот вы вступили во второй брак с Семеном Резчиком, — начал мой коллега. — Где? Во Львове! А указали ли вы, что раньше были замужем? Нет, не указали! А разве вы не должны были по законам Советского Союза это сделать, прежде чем вступить во второй брак?» Аня ответила, что она этого не знает.

«Ну хорошо, мы это выясним у экспертов, — продолжал коллега, — но развелись ли вы с Брегманом перед вторым браком?» «Нет». «Почему же?» «Я считала его безвестно пропавшим. Думала, что он погиб в Польше, и поэтому развода оформлять не стала».

Следующая серия вопросов была еще серьезней и связана с въездом Ани в Америку. Одно дело, если она дала неправильные сведения советскому ЗАГСу, а другое дело, если она дала неправильную информацию при въезде в Америку. Как известно, эти сведения даются под клятвой, и американский закон очень отрицательно относится к эмигрантам, которые говорят неправду или дают о себе заведомо ложные сведения. Широко известны дела немецких преступников, которые скрывали свою службу у немцев, как например, дело Демяника и других. Конечно, недомолвки, которые свидетельствовали о том, что Аня дала о себе неправильную информацию, не шли ни в какое сравнение с делами военных преступников. Однако в анкете, которую каждый эмигрант должен заполнить, было требование пе-

речислить всех мужей (или жен) во всех браках, в которых они когда-либо состояли. И Аня, конечно, Марка, своего первого мужа, не назвала. Потому что, если бы она его назвала, она должна была написать, что они развелись, иначе она не могла бы выйти второй раз замуж. Таковы уж были обстоятельства ее жизни, что одно цеплялось за другое.

И конечно, на американского судью все это не могло произвести благоприятного впечатления, ибо с точки зрения закона Соединенных Штатов, это было умышленное сокрытие важных обстоятельств, относящихся к личной жизни эмигранта.

Когда я знакомился с уголовным делом убийцы Марка и разговаривал с его сослуживцами, мне стало многое известно о его личности, о его делах и поступках. Надо сказать, что и во встречах с Аней (она мне очень подробно описала эти встречи) проявилась сложность его натуры, которая, с одной стороны, выражалась в нежной любви к своей бывшей жене, к своей молодости, к воспоминаниям о ней, и которая, с другой стороны, проявлялась в несколько странном, я бы даже сказал, не всегда честном отношении к Ане. Что же, известно, как писали Ильф и Петров, что современные бизнесы в современном состоянии заработаны, как правило, нечестными путями. Конечно, состояние, которое себе сделал Марк, он сколотил, если и не совсем нечестно, то по крайней мере получестным путем. Он строил дома с очень малым набором удобств, которые без конца создавали проблемы, обитавшие в них жильцы постоянно жаловались. Но Марка это мало беспокоило. Он старался заработать даже на мелочах. По рассказам Ани, он выглядел довольно широким человеком, когда приглашал ее в рестораны или делал подарки. Но, как выяснилось, становился страшным скупердеем, когда дело доходило до его отношений с подчиненными, со случайными рабочими. Так, например, его секретарь, которая допрашивалась по делу, рассказала такой случай. Он нанимал подростков, чтобы они подстригали траву. Он им говорил: «Вот подстригите этот газон, и я вам заплачу 10 долларов». Подростки, выполнив эту работу, приходили за деньгами, и он начинал от них

отмахиваться: «Вы знаете, мне сейчас некогда, зайдите через пару дней». Потом откладывал еще. И, наконец, говорил: «Ну пойдете, посмотрим на работу, которую вы сделали». Пока он не приходил, трава, естественно, выросла. И он говорил: «Ну что вы, я же вам сказал, чтобы вы ее чисто подстригли, а вы что сделали? Нет вы мне подстригите ее заново, а потом уж я заплачу вам 10 долларов».

Даже в отношениях с Аней эта его черта — жадность — тоже проявлялась. Он обещал купить квартиру, но так и не купил. По ее рассказам, он обожал приводить ее в банк и показывать ей огромные перечисления денег, которые он делал.

Я никак не мог понять этого и спрашивал ее: «Аня, зачем он вам это показывал, он что вам эти деньги дал или обещал дать?» «Нет, — говорит, — не давал. Я просто стояла на улице, он выносил копии перечислений и говорил: «Вот видишь, какими суммами я ворочаю».

Думаю, что одной из причин, по которой Марк Брегман не мог оставить свою вторую семью и соединиться с Аней, и стала его патологическая привязанность к деньгам и домам, которые он строил и которые сдавал опять же ради денег. У него просто не хватало духу на такой широкий жест — оставить все это второй семье и начать новую жизнь.

...Через два месяца настала наша очередь — моя и моего коллеги из Флориды — допрашивать Марию, вторую жену Марка. Это было в разгар лета, во Флориде, стояла жара. Мария пришла в легком летнем платье с короткими рукавами, и, когда она села, она так положила свою руку, чтобы тыльной стороной рука была обращена к нам, и мы смогли увидеть номер, точнее его татуировку, показывающую, что она была узницей немецкого концлагеря. Держалась она очень твердо, не оставляла никаких надежд на выигрыш дела.

«Первая жена? Впервые слышу, никогда он мне о ней не говорил! Были ли между нами неприятности? Подавали ли на развод? Но что не бывает с супругами в течение сорокалетней жизни! Ну, погорячились когда-то, потом помирились. Жили-то вместе. Но я была для него единственной женой и были у нас общие дети».

В адрес Ани она особо бранных слов не говорила, но просто сказала, что эта женщина не имеет на Марка никакого права.

Я спросил Марию: «Скажите, где вы регистрировали брак?» «В Германии». «Марк говорил вам, что он раньше был женат?» «Нет, он никогда об этом не упоминал, наоборот, он говорил, что он никогда в жизни не был женат. Было время, когда мы вместе стояли за прилавком и вместе рубили мясо (вот эти слова я хорошо запомнил). А сейчас, когда появилось немного денег, их хотят отнять у наших детей!»

Я улетел обратно в Нью-Йорк, рассказал Ане об этом разговоре, и мы сидели и ждали процесса. Неожиданно мне позвонил мой коллега из Флориды, который работал вместе со мной по делу, и сообщил, что Мария через своих адвокатов сделала предложение заключить мировое соглашение.

Я не могу сейчас назвать цифру, которая легла в основу этого соглашения, поскольку дал обязательство ни при каких обстоятельствах ее не разглашать, но, как говорят американцы, это было шестизначное число, то есть выражалось в сотнях тысячах долларов. Учитывая сложность дела, мы решили предложение это принять. Прилетели во Флориду, чтобы заключить соглашение. Оно было подписано, и Аня сказала, что она хочет поехать на кладбище, где был похоронен Марк. И когда мы туда приехали, и Аня возложила цветы, она обратила мое внимание на то, что общий камень, который был там установлен для Марка и его жены, по-видимому, по ее распоряжению был отпилен. Наверное, тем самым Мария намеревалась сделать последнее порицание своему умершему мужу за то, что после смерти он доставил ей такие хлопоты.

Итак, Аня получила деньги и вышла еще раз замуж. Но эти деньги, как я понял, счастья ей не принесли. Сын, который обвинял ее в том, что она затеяла дело, ускорившее смерть отца, попал в очень нехорошую переделку. Против него было возбуждено дело, и Ане пришлось потратить почти все свои деньги, чтобы вытащить его из тюрьмы.



Владислав ХОДАСЕВИЧ

## ИЗ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЫ

В нашем журнале мы не раз публиковали Владислава Ходасевича, одного из самых замечательных поэтов, критиков и эссеистов начала века. Поразителен и разносторонен талант Ходасевича, неповторим его блестящий литературный стиль, который стал образцом для целой плеяды русских литераторов «Серебряного века», живших в предреволюционной России, а затем, не желая сотрудничать с большевистским режимом, уехавших в Париж и Берлин и создавших там русскую литературу в изгнании.

В этом номере мы предлагаем вниманию читателя несколько неизвестных ему публикаций Ходасевича разных жанров — среди них блестящее эссе о последних днях Блока, заметки из цикла «Цитаты» о трагической судьбе русских писателей, краткие воспоминания о современниках, в частности, о баронессе В.И. Иксуль фон-Гилленбанд, заметки Ходасевича, по-видимому, из его писательского блокнота, озаглавленные им «Подслушанные разговоры» и, наконец, его юмористическое эссе «О лгунах» — жанр, в котором мало известен

**писатель. Мы надеемся, что эта публикация поможет читателю лучше представить литературный портрет Ходасевича и глубже понять его необыкновенный писательский дар.**

## ТАЙНОСЛЫШАНИЕ БЛОКА

Это было 1 марта 1921 года, в Петербурге. Я шел по Театральной улице в Малый театр, на вечер Блока. По советскому времени было почти уже восемь, по настоящему пять. Я не спешил, потому что люблю на улице это время дня, и потому еще, что в душе был не прочь опоздать: в первом отделении предстоял доклад Корнея Чуковского о творчестве Блока. Было светло и пустынно. В Чернышевском сквере я услышал за собой торопливые легонькие шаги и тотчас же — торопливый, но слабый голос:

— Скорее, скорее, а то опоздаете!

Это была мать Блока. Мы пошли вместе. Маленькая, сухая, с горячим румянцем на морщинистых щечках, она чуть не бежала рядом со мной и, почти задыхаясь, говорила без умолку: о том, что волнуется за Сашу, что боится, как бы Чуковский не наговорил пошлостей, и что мы вот-вот опоздаем. Потом — что я непременно, непременно должен зайти за кулисы к Саше, что у Саши побаливает нога, но главное, главное — как бы нам только не опоздать! Наконец, мы пришли. Случайно места наши оказались рядом, но она, повертевшись, поволновавшись, вскочила и убежала — должна быть, на сцену. Я больше ее не видел.

Никаких особенных пошлостей Чуковский не наговорил. О Блоке сказал он даже много верного, но так ловко, хлестко и смачно, что слушать его было неприятно. Блок вышел во втором отделении, после антракта. На нем был темно-серый, а может быть, черный пиджак в полоску. Спокойный и бледный, остановился посреди сцены и тотчас начал читать. То одну, то другую руку он прятал в карманы брюк. Он прочитал немного, всего лишь несколько стихотворений — с проникновенною простотой и глубокой серьезностью, о которой лучше всего сказать словом Пушкина — «с важностью».

Он произносил слова очень медленно, связывая их едва уловимым напевом, внятным, быть может, только тому, кто умеет улавливать внутренний ход стиха. Читал отчетливо, ясно, выговаривая каждую букву, но при том шевелил лишь губами, не разжимая зубов. Когда ему аплодировали, он не выказывал ни благодарности, ни притворного невнимания, ни смущения. С неподвижным лицом опускал глаза, смотрел в землю и терпеливо ждал тишины.

Последним прочел он «Перед судом» — одно из самых безнадежных своих стихотворений:

Что же ты потупилась в смущеньи?  
Посмотри, как прежде, на меня.  
Вот какой ты стала — в униженье,  
В резком, неподкупном свете дня!

Я и сам ведь не такой — не прежний,  
Недоступный, гордый, чистый, злой.  
Я смотрю добрей и безнадежней  
На простой и скучный путь земной...

То и дело ему кричали: «Двенадцать», «Двенадцать», но он, казалось, не слышал этого. Только глядел все угрюмее, сжимал зубы все крепче. И хотя он читал прекрасно (лучшего чтения я никогда не слышал) — все приметнее становилось, что читает он машинально, лишь повторяя привычные, давно затверженные интонации, и что это притворство ему мучительно. Публика требовала, чтобы он явился пред ней прежним Блоком, каким она его знала или воображала, — и он, как актер, играл перед ней того Блока, которого уже не было. Скажу откровенно: возможно, что с такой ясностью я увидел все это в его лице не тогда, а лишь после, по воспоминанию, когда смерть закончила и объяснила последнюю главу его жизни. Но ясно и твердо помню, что страдание и отчужденность наполняли в тот вечер все его существо. Это было так очевидно и так разительно, что когда задернулся занавес и утихли последние аплодисменты и крики, мне показалось неловко и грубо идти за кулисы. У меня к нему было дело довольно важное для меня, — я все-таки не пошел.

Тотчас после этого вечера он уехал в Москву, по приезде слег и уже не вставал до 7 августа — до самой смерти. Это, впрочем, общеизвестно. Общеизвестны и рассказы о его пребывании в Москве. Но о тех месяцах, что провел он в болезни, знаем мы очень мало — почти ничего. Он в это время писал — но что? Известно только, что не стихи: последние стихи («В альбом пушкинскому Дому») написаны 5 февраля. Так что же? Ответа нет, и мы вряд ли скоро его получим: рукописное наследие Блока охраняется тщательно. По абсолютно точным сведениям, которые у меня имеются, кое-что было даже и уничтожено. В нашем распоряжении только шесть отрывков под общим заглавием «Ни сны, ни явь». Они помечены 19 марта и хотя изданы — публика их почти не знает. Их содержание очень туманно и для понимания, хотя бы приблизительного, потребовало бы сложного анализа. Только последняя запись его почти не требует. Приведу ее целиком.

«По вечерам я всегда обхожу сад. У заднего забора есть такое место между рябиной и боярышником, где днем особенно греет солнце. Но по вечерам я уже несколько раз видел на этом месте...

— Что?

— Там копаются в земле какой-то человек, стоя на коленях, спиной ко мне. Покопавшись, он складывает руки рупором и говорит глухим голосом в открытую яму: «Эй, вы торопитесь».

— Так что же?

— Дальше я уже не смотрю и не слушаю: так невыносимо страшно, что я бегу без оглядки, зажимая уши.

— Да ведь, это — садовник.

— Раз ему даже ответили; многие голоса сказали из ямы: «Всегда поспеет». Тогда он встал, не торопясь, и, не оборачиваясь ко мне, уполз за угол.

— Что же тут необыкновенного? Садовник говорил с рабочими. Тебе все мерещится.

— Эх, не знаете вы, не знаете».

Общий смысл этого диалога совершенно ясен: дело идет о предчувствии. Можно бы даже доказать, что о предчув-

ствии смерти, но и это, кажется, само собой ясно. Однако, дело не в смерти. Конечно, довольно многозначительно, что мысль о ней занимала Блока в те дни. Конечно, весьма любопытно было бы сопоставить эту запись со стихотворением «Черти говорят». Но и там и тут совпадение могло быть более или менее случайно. Более примечательна сама ситуация диалога. Его «герой» передает нечто, о чем сам не знает, сон это или явь. Собеседник уверяет его в реальности происшествия, которому и дает самое простое объяснение, в ответ на что «герой», не возражая против такого объяснения, все-таки говорит: «Эх, не знаете вы, не знаете». Иными словами, о самой реальности он считает необходимым знать еще что-то, чего не знает кроме него никто, то есть видит ее второе, предчувственное или пророческое значение.

Эта склонность к пророческому истолкованию действительности была свойственна многим символистам. Потому так часту у них мотив подслушивания, подсматривания; и тем, и другим знаменуется попытка проникнуть в незримый, второй смысл действительности, которую рассматривали они, как пророческий сон. Она была для них полна предвестий. «Вынюхиванию из воздуха» придавали они большое значение, и если эта способность порой заводила их в дебри, то все же надо признать, что не редко им удавалось и впрямь нечто «вынюхать».

Я вышел в ночь — узнать, понять,  
Далекий шорох, близкий ропот,  
Несуществующих принять,  
Поверить в мнимый конский топот.

Так начиналось одно из ранних стихотворений Блока. По своей медиумичности он стоял среди символистов, быть может, на первом месте. У него был тончайший слух — он умел улавливать отдаленный звук того, чему предстоит свершиться. Отчасти в этом и коренится властный, но смутный магизм его поэзии.

Еще в промежуток между 1907 и 1913 г.г. Блок написал цикл статей: «Религиозные искания и народ», «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура», «Ирония», «Дитя Гоголя», «Пламень», «Интеллигенция и революция». Они замеча-

тельны тем, что в них Блок не просто предсказывает будущую революцию, но говорит о ней, как о событии уже происходящем, звук которого ему уже внят: «Гоголь, как воплощение тишины и сна; но этот сон кончается; тишина сменяется отдаленным и возрастающим гулом, непохожим на смешанный городской гул. Тот же Гоголь представлял себе Россию летящей тройкой... Тот гул, который возрастает так быстро... и есть «чудный звон» колокольчика тройки... Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке на верную гибель».

«Отдаленный гул», о котором здесь говорится, должно, разумеется, отнести к категории снов, постепенно становящихся явью. Но Блок последователен: эту явь он в свою очередь, как нечто уже являющееся сном по отношению к тому, чему предстоит свершиться в более отдаленном будущем: «можно уже представить себе, как бывает в страшных снах и кошмарах, что тьма происходит оттого, что над нами повисла косматая грудь коренника и готовы опуститься тяжелые копыта». Таким образом, прошлое для Блока есть сон о настоящем, но само настоящее — сон о будущем. Явь каждой предшествующей минуты — есть сон о последующей. Мы живем во сне и в действительности одновременно.

\* \* \*

Он задолго предсказал характер революции, страшный, октябрьский, а не идиллический, февральский. Но его мысли о революции были неразрывно связаны с мыслями о желанном конце ложной гуманистической цивилизации, в которую выродилась былая гуманистическая культура. В разрушительной, жестокой и даже безобразной революции он видел преддверие созидательного, творческого, музыкального периода истории. Поэма «Двенадцать» родилась из одного стиха о гулящей Катьке, которая

Гетры серые носила,  
Шоколад Миньон жрала,  
С юнкерьем гулять ходила,  
С солдатьем теперь пошла.

Эта Катька вместе с двенадцатью красноармейцами,

понабравшимися из литовских хулиганов, будущих чубаровцев, для него символизировала сегодняшнюю революцию. Но он не кощунствовал, внезапно заканчивая поэму образом Христа, невидимого за вьюгой, ведущего этих двенадцать: он верил в конечную чистоту революции, в ее высокое призвание.

Никогда он не ставил знака равенства между революцией и большевизмом. В том и была его трагедия, что этот знак был поставлен действительностью — вопреки его чаяниям. Трагедия развивалась именно по мере того, как большевизм овладевал революцией — ронял и осквернял ее. Судьба России и судьба революции оказались не те, в какие он верил. Оказалось, что «нараставший гул» нес с собою не то, что в нем чудилось Блоку.

Пророческие сны не обманули Блока в том смысле, что они оказались действительно пророческими. Но оказалось, что он умел их видеть, умел о них рассказывать — и не умел толковать. Блок был плохим историком — и потому плохим предсказателем. Он снов не поверил историей, предчувствий — рассудком, гармонии — алгеброй. Но этого мало: вместо того, чтобы понять первую свою ошибку, он совершил еще и другую: усомнился в своем тайнослышании. Усомниться в чудесном даре — значит его утратить. В 1920 году Блок жаловался Чуковскому, что он «оглох», с некоторых пор ничего не слышит и потому ему больше не о чем писать стихи. Думаю, что глухота поразила его еще в 1919 году: во-первых, приблизительно в то время должна была ему окончательно уясниться его политическая ошибка; во-вторых, как видно из предисловия к «Возмездию», именно в июле 1919 года Блок пришел к убеждению, что ему едва ли удастся окончательно окончить эту поэму, над которой работал он восемь лет. Тогда же почти прекратилась над нею работа, и он вообще перестал писать стихи — только три альбомных стихотворения им были с тех пор написаны. Таким образом наступление «глухоты» можно датировать прекращением работы над «Возмездием».

Кажется, в Блоке все же осуществился идеал символизма: соединение поэта и человека. Можно сказать (и это будут не просто «слова»), что поэзией было пронизано все

физическое существо его. С концом поэта должно было кончиться и оно. Оно два года сопротивлялось, но сопротивление ослабевало. Тот Блок, которого мы видели и слышали в Малом театре, был уже почти мертв. Мертвый Блок играл живого Блока. С ним случилось то самое, о чем он писал когда-то:

Как тяжело мертвецу среди людей  
Живым и страстным притворяться!

Как ему было тяжело — об этом лучше и не гадать, потому, что здесь «тайны гроба», пред которыми лучше остановиться.

К больному Блоку никого не пускали задолго до смерти. 3-го августа 1921 года одна общая наша приятельница прибежала ко мне из его дома и сказала, что началась агония. Потеря Блока была для нее большой личной потерей. Я стал, как водится, утешать ее, обнадеживать. Тогда, в последнем отчаянии, она подбежала ко мне и, захлебываясь слезами, сказала:

— Ничего вы не знаете... никому не говорите... уже несколько дней... он сошел с ума!

### **ЖАЖДА МСТИ (ИЗ ЦИКЛА «ЦИТАТЫ»)**

Подумайте: как часто, вспомнив мелочь какую-нибудь из прошлого, вы по смежности вспоминаете и другие такие же, а потом еще и еще, все дальше, все больше, пустяк возвращается к важному, важное к пустяку — и внезапно вся жизнь проступает отчетливо, представляя не кучей бирюлек-случайностей, но цепью, роковой и неумолимой связью причин и следствий...

Воспоминание безмолвно предо мной  
Свой длинный развивает свиток.

Можно читать его «с отвращением» или с гордостью, мечтать о том, чтоб «начать жизнь сначала» — или радостно сознавать, что жизнь прожита именно так, как должно. Но все равно: в ходе воспоминаний уясняется вам смысл — если не жизни вообще, то во всяком случае смысл вашей

жизни. (Ну и жизни вообще, ежели хорошенько подумать.)

Мы — писатели, живем не своей только жизнью. Рассеянные по странам и временам, мы имеем и некую сверхличную биографию. События чужих жизней мы иногда вспоминаем, как события нашей собственной. История литературы есть история нашего рода; в известном, условном смысле — история каждого из нас.

Стих Лермонтова о том, что Пушкин пал

С свинцом в груди и с жаждой мести —

смутил немало учителей словесности. Его не раз объявляли ошибочным: непременно хотели представить Пушкина смиренным, всепрощающим, какою-то «скромной жертвой», «незаметным героем», к которому «жажда мести» никак не подходит.

Кажется, все-таки Лермонтов был прав, как по-своему прав был Владимир Соловьев, державшийся приблизительно того же мнения, только делавший другие выводы. Пушкин часто был зол и мстителен. Кн. П.А. Вяземский, которого никак и никто не сумел бы уличить в недостатке благоговения к Пушкину, в желании очернить его память, говорит прямо и ясно:

«При всем добросердечии Пушкин был довольно злопаметен, и не столько по враждебному свойству или увлечению, сколько по расчету; он, так сказать, вменял себе в обязанность, поставил себе за правило помнить зло и не отпускать должникам своим. Кто был в долгу у него, или кого почитал он, что в долгу, тот, рано или поздно, расплачивался с ним, волею или неволею. Для подмоги памяти своей он держался в этом отношении бухгалтерного порядка: он вел письменный счет своим должникам настоящим или предполагаемым; он выжидал только случая, когда удобнее взыскать недоимку. Он не спешил взысканием, но отметка должна не стиралась с имени. Это буквально было так. На лоскутках бумаги были написаны у него некоторые имена, ожидавшие очереди своей; иногда были уже заранее заготовлены про них отметки, как и когда взыскать долг, значившийся за тем или другим».

В биографии Пушкина, в его письмах, в статьях, в стихах

десятки раз это подтверждается. Достаточно вспомнить его эпиграммы, его совет Плетневу: «Будь зубаст!», его афоризмы, вроде «Лишняя брань не беда», его желчные статьи о Булгарине, его угрозу Великопольскому: «Неужели Вы захотите со мною поссориться не на шутку и заставить меня, вашего миролюбивого друга, включить неприязненные строфы в 8-ю главу Онегина», его нестерпимо оскорбительное письмо Геккерну, наконец — то, как шесть лет лелеял он злобу на Толстого-Американца и в первый же день по возвращении из ссылки послал ему вызов. На обдуманной и холодной мстительности построен «Выстрел».

Да, он был зол. Отчего? Был ли это «плохой характер» или мелкая злость ничтожества? Нет. Недаром Вяземский начинает со слов о добросердечии Пушкина — и вовсе не лицемерит. Сам Пушкин писал: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могучего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал как мы, он мерзок как мы! Врете, подлецы; он мал, и мерзок — не так как вы — иначе!» Сам Пушкин был сделан не из той глины, что прочие люди. Он был и зол, и мстителен — не так, как они — иначе.

Он себя создавал пророком. Голос самого Бога ему воззвал:

Восстань пророк, и виждь, и внемли,  
Исполнись волею Моей,  
И обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей.

Еще юношей он мечтал: «О, если бы голос мой умел сердца тревожить!» — но только еще не знал, что останется гласом вопиющего в пустыне, что «чернь» в конце концов скажет ему (в лучшем случае):

Мы лицемерны, мы коварны,  
Бесстыдны, злы, неблагодарны.  
Мы сердцем хладные скопцы,  
Клеветники, рабы, глупцы;  
Гнездятся клубом в нас пороки:  
Ты можешь, ближнего любя,

Давать нам смелые уроки,  
А мы послушаем тебя.

Т.е. послушаем и забудем, в одно ухо впустим — в другое выпустим. И уж никак не очистимся настолько, чтобы воспринять твои «звуки сладкие и молитвы». И пророк приходил в ярость, разбивал скрижали и проклинал — от великой любви. Тут Пушкин мог бы сказать словами другого поэта:

Я проклиная вас от жалости,  
Я ненавижу вас от нежности.

Чернь, однако ж, не оставалась в долгу. Именно этот акт пророческой драмы находим у Лермонтова, «Пророк» которого — прямое сюжетное продолжение «Пророка» пушкинского:

Смотрите: вот пример для вас!  
Он горд был, не ужился с нами;  
Глупец — хотел уверить нас,  
Что Бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него,  
Как он угрюм, и худ, и бледен!  
Смотрите, как он наг и беден!  
Как презирают все его!

Два автора двух «Пророков», те самые, что показали столкновение с чернью в его самых обнаженных чертах, пали прямыми жертвами того общества, с которым «не ужились». Две пули двух молодых людей «из общества» сразили и Пушкина, и Лермонтова.

«Слышно страшное в судьбе наших поэтов», — сказал Гоголь. Страшное было и в судьбе самого Гоголя.

## ИЗБИЕНИЕ ПРОРОКОВ (ИЗ ЦИКЛА «ЦИТАТЫ»)

«Тредьяковский пришел однажды жаловаться Шувалову на Сумарокова. «Ваше высокопревосходительство! Меня Александр Петрович так ударил в правую щеку, что она до

сих пор у меня болит». — Как же, братец? — отвечал ему Шувалов, — у тебя болит правая щека, а ты держишься за левую? — «Ах, ваше высокопревосходительство, вы имеете резон», — отвечал Тредьяковский и перенес руку на другую сторону. Тредьяковскому не раз случалось быть битым. В деле Волынского сказано, что сей однажды в какой-то праздник потребовал оду у придворного пииты Василия Тредьяковского, но ода не была готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростию оплошного стихотворца».

Так с холодной живописностью историка рассказывает Пушкин. В собрании сочинений Тредьяковского имеется его подлинная жалоба на Волынского. К сожалению, у меня нет ее под рукой. В ней вся история изложена куда более подробнее и страшнее, на многих страницах, с униженными причитаниями и дрожью глубоко спрятанной гордости. Презренное и ужасное сплетены в ней. Невозможно ее читать без смеха, готового перейти в слезы: на то это и Тредьяковский, всеобщее посмешище русской литературы, которая ему стольким обязана. Вот уж к чему можно бы взять эпиграфом стих Державина, тот самый, что для главы об императоре в «Египетских ночах» взял эпиграфом Пушкин:

Я царь, я раб, я червь, я Бог.

В ту «машкерадную» ночь, когда Волынский избивал Тредьяковского, началась история русской литературы: имею в виду ту непрекращающуюся главу ее, тот разрыв, который бы можно назвать историей изничтожения русских писателей.

За Тредьяковским пошло и пошло. Побои, солдатчина, тюрьма, ссылка, изгнание, каторга, пуля безмозглого прощелыги, эшафот и петля — вот краткий перечень лавров, украшающих «чело» русского писателя. Я не пишу историю литературы, я даже не заглядываю ни в какую «историю», я говорю по памяти, да и ту особенно не напрягаю. При этом — говорю только об умерших, не называя живых, с кем встречаемся каждый день. И вот: вслед за Тредьяковским — Радищев; «вослед Радищеву» — Капнист, Ник. Тургенев, Рылеев, Бестужев, Одоевский, Кюхельбекер, Полежаев,

Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Чаадаев (особый, ни с чем не сравнимый вид издевательства), Огарев, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, Достоевский... В недавние дни: прекрасный поэт Леонид Семенов, разорванный мужиками, расстрелянный мальчик-поэт Палей (у меня есть примечательный по гнусности документ, касающийся его смерти) и расстрелянный Гумилев.

Я называю имена лишь по одному разу. А на долю скольких пришлось по две, по три «казни» одна за другой! Разве Пушкин, прежде чем был пристрелен, не провел шесть лет в ссылке? Разве Лермонтов, прежде чем был убит, не узнал солдатчины и не побывал в ссылке? А разве Достоевского не возили на позорной тележке и не взводили на эшафот, прежде чем милостиво послали на каторгу? Разве Рылеев, Бестужев и Гумилев перед смертью не узнали, что есть каземат?

Но это — только «бичи и железы», воздействия слишком сильные, прямо палаческие. А сколько же было тайных и вежливых? Разве над всеми поголовно не измывались цензора всех мастей? Разве любимых творений не коверкали, дорогих сердцу книг не сжигали? Разве жандармы (голубые и красные) не таскали к допросу и не сажали в каталажку по очереди, чуть ли не без разбору, за то именно, что — писатель? А полицейский надзор, который поручался родному отцу (это было с Пушкиным)? А прижимательства и придирки начальства, отравлявшие каждую минуту жизни? А дикая, одуряющая нищета, с алчностью издателей, с судорожной работой наспех — с этой великой казнью для всякого художника: быть недовольным своими созданиями? От начальства и общества не отставали семьи и ближние. Я не делаю «методологической ошибки», когда, тривиально выражаясь, «валю всех в одну кучу». Русскому пророку казни не избежать; а уж как сложатся обстоятельства, кто будет исполнителем — дело случая:

Глаза усталые смежи,  
В стихах, пожалуй, ворожи,  
Но помни, что придет пора —  
И шею брей для топора.

И снова идет череда: голодный Костров; Державин, «благополучный» Державин, стиснутый мягкой ручкой Екатерины и оскорбленный Павлом; Дельвиг, сведенный в могилу развратной женой и вежливым Бенкендорфом; обезумевший от «свинных рыл» и самого себя уморивший Гоголь; дальше — Кольцов, Никитин, Тургенев, Короленко; заведенный друзьями и бежавший от них куда глаза глядят, в ночь, Лев Толстой, задушенный Блок, загнанный большевиками Гершензон, доведенный до петли Есенин. В русской литературе трудно найти счастливых; несчастных — вот кого слишком довольно. Недаром Фет, образчик «счастливого» русского писателя, кончил жизнь все-таки тем, что схватил нож, чтобы зарезаться — и в эту минуту умер от разрыва сердца. Только из моих знакомых, из тех, кого знал я лично, несколько человек наложили на себя руки.

Я называю имена без порядка и системы, без «иерархии», как вспоминаются. И этот синодик убиенных ничего не стоит увеличить в несколько раз. Сколько еще пало жертвой того общественного пафоса, который так бурно выразил гоголевский городничий в своих проклятиях «бумагомаракам, щелкоперам проклятым»? Того пафоса, коим охвачен был на моих глазах некий франтоватый молодой человек: в Берлине, перед витриной русского книжного магазина, он сказал своей даме:

— И сколько этих писателей развелось!.. У, сволочь!

Это был маленький Дантес, совсем микроскопический. Или, если угодно, городничий, потому что ведь Дантес сделал то, о чем городничий думал. А городничий думал то самое, что, по преданию, сказано было о смерти Лермонтова: «Собаке собачья смерть».

\* \* \*

Лет 95 тому назад Мицкевич писал из Парижа стихи «К друзьям москалям». Должно быть, думал и он, как Гоголь, что слышно страшное в судьбе русских поэтов, потому что воскликнул:

«Благородная шея Рылеева, которую, как брат, обнимал я, — висит, по приказу царя прикрученная к позорному дереву. Проклятие народам, избивающим своих пророков!»

Но то был Мицкевич — бунтарь и враг. Когда убили Лермонтова, графиня Е.П. Растопчина, отнюдь не крамольница, написала:

Не трогайте ее, зловещей сей цевницы,  
Поэты русские: она вам смерть дает!  
Как семимужняя библейская вдовица,  
На избранных своих она грозу зовет!

С тех пор это не прекращается. В чем же дело? Неужто так низок и дик народ русский, что эти проклятия им заслужены? Да может ли он после этого равняться с другими народами? Да смеет ли смотреть им в глаза?

Может и смеет. И вовсе не потому, что другие, «культурные» народы не лучше его. Не потому, что у них дело обстоит также. Нет, по другой причине. Конечно, мы знаем изгнание Данте, тюрьму Тассо, нищету Камозенса, плаху Андре Шенье и многое другое, — но до такого, чуть ли не повального изничтожения писателей, как в России, не доходили нигде, никогда. Это не кстыду, а к гордости. Это потому, что ни одна литература (говорю в общем) не была так пророчесвенна, как русская. Если не каждый русский писатель пророк в полном смысле слова (как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой), то нечто от пророка есть в каждом, живет по праву наследства. И вот поэтому — древний колебимый закон, неизбежная борьба пророка с его народом, — в русской литературе так особенно часто и так очевидно проявляется. Дантесы и Мартыновы найдутся везде — да не у всех столь широкое поле действий. Ежели принять слово Мицкевича, как правое, — придется проклясть все народы, кроме тех, у которых пророков никогда не было.

У чукчей нет Анакреона,  
К зырянам Тютчев не придет —  
ну, зыряне да чукчи никого и не обидят.

Дело пророков — пророчествовать, дело народа — побивать их камнями. Пока пророк живет (и не может ужиться) среди своего народа —

Смотрите, как он наг и беден,  
Как презирают все его.

Когда же он, наконец, побит — его имя, и слово, и славу поколение избивателей завещает новому поколению, с новыми словами: «Смотрите, дети, на него, как он велик! Увы нам, мы побили его камнями!» И дети отвечают: «Да, он был велик, и мы удивляемся вашей слепоте. Уж мы-то его не побили бы». — А сами, меж тем, побивают идущих следом.

Народ должен побивать, чтобы затем «причислить к клику», приобщиться к откровению побитого. Избиение пророка есть жертвенный акт, заклатие, кровавая связь между ним и его народом, будет ли это народ русский или всякий другой. В жертву всегда приносится самое чистое, лучшее, драгоценное. Изничтожение поэтов по самой сокровенной природе своей глубоко ритуально, хоть это и не сознается. В русской литературе оно прекратится тогда, когда в ней иссякнет родник пророчества.

### **«ТВОЙ ЗАКАТ ПЫШНЕЙ, ЧЕМ ДЕНЬ»**

С неизгладимой четкостью запоминаются те мгновения детства, в которые что-нибудь нам впервые «открылось». Так, обаяние женственности (о, к каким высотам оно восходит!) открылось мне в ясное, морозное воскресенье, — в Третьяковской галерее. Что мне было тогда? Лет десять-двенадцать.

То было узкое, длинное полотно: портрет очень красивой дамы, может быть — под вуалью. В одежде, кажется, красный шелк и черные кружева. Живопись — я в ней, разумеется, ничего не смыслил. Но от стройной фигуры, от поворота головы, от губ, от темных глаз вдруг повеяло прелестью, мне дотоле неведомой, непонятной. В каталоге я прочитал: «И.Е. Репин. Портрет баронессы В.И. Икскуль фон Гилленбад». И, кроме того обаяния, было во всем портрете просто обаяние нарядности, блеска, светскости. Словом, и теперь, через тридцать лет, мне ничего не стоит вызвать в памяти то мгновение, тот восторг.

Ту, с кого был писан портрет, довелось мне увидеть лишь через много лет, когда жизнь Варвары Ивановны Икскуль,

жизнь долгая, блестящая, внешне и внутренне сложная, с большими радостями и большими горестями — вся уже была, в сущности, позади. Мне не довелось уже увидеть В. И. молодой, красивой, блестящей — такой, какую она была известна Петербургу, двору, Риму, Парижу, иностранным дипломатам, европейским венценосцам и великому множеству российских интеллигентов. Не видел я и петербургского ее салона, одного из слишком немногих в России настоящих литературно-политических салонов, в котором умела она соединять людей различнейших положений, взглядов, профессий — от Михайловского до Мережковского, и от Дурново до Максима Горького.

Я не видел ее красавицей, но обаятельной и прелестной, в семьдесят лет еще не утратившей ни быстрого ума, ни меткой и умной речи, ни светскости, ни даже очень большого изящества внешнего, — такой, только такой, я и видел ее.

С В.И. познакомился я в начале 1921 года, когда я переехал в Петербург и сделались мы соседями по «Дому Искусств». То был огромный дом Елисеевых, у Полицейского моста, населенный писателями, художниками, учеными и просто остатками интеллигенции.

В.И. жила в бельэтаже, в огромной комнате «глаголем», с чем-то вроде алькова, с дубовой обшивкой по стенам и с тяжеловесной резной мебелью. Впрочем, от этой громоздкой мебели, от бесчисленного множества фотографий, на стенах и на полках, от книг и бумаг на столах, от каких-то платков и шалей, брошенных на кресла, от мягких ковров, расшитых подушек и скамеечек для ног, в комнате всегда было тесновато. Пахло в ней — не скажу духами, какие уж там духи, в Петербурге, в 1921 году, — но чем-то очень приятным, легким. В холоде и голоде тех дней, ограбленная большевиками, пережившая больше десятка «строгих» обысков, — В.И. сумела остаться светской дамой. Это хорошее, тонкое, барство было у нее в каждом слове, в каждом движении, в ее черном платье, в ногах, с такой умелой небрежностью покрытых пледом; в том, как она протягивала сухую, красивую руку с четырьмя кольцами на безымянном пальце; в том, как она разливала чай, как поеживалась от холода.

В Петербурге, занесенном снегом зимою, заросшем травой летом, в пустынном, глухом Петербурге тех лет, когда зимою на улицах грабили, а летом на Мойке пел соловей, «Дом Искусств» был похож на запертый во льдах корабль. Жили особенной, ни на что не похожей жизнью. По вечерам из него выходить почти не отваживались, — да и куда выходить? Ходили друг к другу — огорчаться, радоваться (бывали и радости все-таки), читать стихи, философствовать, просто коротать вечера. И редкий вечер, хоть мимоходом, не заходил я к Варваре Ивановне, всегда радушной, доброжелательной, ровной. Горничная Варя приносила чайник. Было необычайно тихо и — опять не могу подобрать я другого слова — обаятельно. В те вечера рассказывала Варвара Ивановна о разных вещах, о людях, которых ей доводилось видеть особенно хорошо — о Тургеневе и о Мопассане. И часто, когда ночью я подымался к себе наверх, вспоминались стихи Боратынского, которые так пошли бы к ней:

И юных граций ты прелестней,  
И твой закат пышной, чем день...

\* \* \*

Она мечтала о загранице. Жила продажей каких-то вещей и платьев, недоотобранных большевиками. Что-то переводила. Но была бережливее, чем могла бы быть: берегла что-то для заграницы. В Петербурге чувствовала себя одинокой. И в самом деле, там у нее никого почти не было. По вечерам я встречал у нее только одну ее старую приятельницу. Прочих «соседей» она в общем сторонилась. В городе же, вне «Дома Искусств», уцелела из всех друзей, кажется, только семья Г., проявлявшая к ней много любви и заботы. Теперь, уже в Париже, в этой семье суждено было Варваре Ивановне скончаться.

Весной 1921 года она начала хлопотать о разрешении выехать. Я довольно близко стоял к этим хлопотам, но не хочу сейчас о них говорить подробно. Довольно того, что ей не только не дали разрешения, но над ней еще издевались. Так длилось долго. Однажды, уже зимой 1921-22 года, я поехал

ненадолго в Москву, а вернувшись, уже не застал Варвару Ивановну: в одно прекрасное утро, оставив записку, что она уходит «в город», захватила она узелок с вещами и ушла, — но не в город, а через финляндскую границу.

Так оборвалось наше знакомство — я не смею сказать — дружба.

Только раз, мельком, довелось мне встретить ее здесь, в Париже, минувшей весной, на лекции Мережковского. В антракте мы беседовали; она была, пожалуй, все та же. Потом, через общих друзей, просила меня зайти. Но, в непростительной сутолоке моей жизни, не собрался я к ней тотчас, сперва откладывал, потом уезжал, Потом она заболела — и, наконец, в понедельник, 20 февраля, в половине восьмого утра, ее не стало. Этими немногими, торопливыми строками хотел я хоть в малейшей мере загладить свою вину перед ее памятью.

*20 февраля 1928 г.*

## ПОДСЛУШАННЫЕ РАЗГОВОРЫ

### Чистая абстракция

Берлин, Тауэнтциенштрассе, часов девять вечера. Два голоса у меня за спиной.

— Нет, брат, ты что там ни говори, а волос у тебя дрянь.

— А я тебе говорю, волос у меня даже очень хороший.

— Да как же хороший, коли ты лысый?

— Вот то-то и есть, что у меня только нет его. А кабы он был, так был бы очень хороший.

— Чудак человек! Какой же он у тебя хороший, коли его совсем нету?

— А вот такой, что кабы я его брыл, он был у меня хороший, а я его не брыл, вот его и нету. Мне так и доктор сказал: волос у вас хороший, да только его нету, потому что вы его не брыли. А кабы вы, говорит, его брыли, у вас, говорит, был бы замечательный волос.

## День русской культуры

— Нет, что ни говорите, а великий был человек. Я «Полтаву» его, почитай, наизусть знал. Ну, теперь-то забыл, конечное дело. А то, бывало, как пойду чесать: тррр... И до чего же он остроумный был — удивительно. Раз это одевается он у себя, а тут входит одна курсисточка. А он, понимаете, в одной рубашонке. Так что он сделал? Взял конец рубашонки в зубы, да так перед ней и стоит. Да еще говорит: «Извиняюсь, говорит, я без галстучка...» Я много чего про него знаю, и всю его жизнь знаю очень хорошо. Выпивоха был, между прочим, отчаянный, — все с гусарами пил. День и ночь пьет, бывало. А только вот вы подумайте, до чего был скор на стихи, трезвый ли, пьяный ли — все одно. Ему нипочем. Вот один раз какой был достоверный факт. Напился это он и валяется на дороге. А Лермонтов-то идет. Увидел его да и говорит, стихами, само собой разумеется:

Чье это безжизненное тело  
Лежит на моем пути?

А он, хоть и пьян, как колода, а враз ему прямо из лужи и отвечает:

А тебе какое дело?  
Пока морда цела — проходи.

Ну, тут Лермонтов ему сразу первое место и уступил.

## О театре

— Ну что, интересный вышел спектакль?

— Ужасно интересный! Представьте себе, Иван Петрович очутился в одиннадцатом ряду рядом с Семеном Марковичем — и ничего, даже потом разговаривали!

— А как вы нашли костюмы?

— Вполне порядочные костюмы, мужчины многие были даже в смокингах.

— Так что в общем — удачный вечер?

— Очень! Как только вышли — прямо в автобус попали.

— Ну, а все-таки, как играли?

— Вот играли неважно. Во-первых, уже поздно начали, а потом я сразу без двух на бескозырях осталась.

## О ЛГУНАХ

В «Старой записной книжке» кн. П.А. Вяземского, недавно переизданной, очень занята заметка о лгунах, которых, по словам Вяземского, «совестно называть лгунами», они своего рода поэты, и «часто в них более воображения, нежели в присяжных поэтах». Надо сказать, однако, что эти поэтообразные лгуны отличаются друг от друга талантами, как и сами поэты. Даже один и тот же лгун не всегда фантазирует с одинаковым блеском.

Например, кн. Д.Е. Цицианов, знаменитый враль конца XVIII и начала XIX столетий, великолепен в таком рассказе: «В трескучий мороз идет он по улице. Навстречу ему нищий, весь в лохмотьях, просит у него милостыни. Он в карман, ан денег нет. Он снимает с себя бекешу на меху и отдает ее нищему, сам же идет далее. На перекрестке чувствует, что кто-то ударил его по плечу. Он оглядывается. Господь Саваоф перед ним и говорит ему: «Послушай, князь, ты много грешил, но этот поступок твой искупит многие грехи твои: поверь Мне. Я никогда не забуду его!»

Этот рассказ был одним из шедевров Цицианова, повествования которого передавались из уст в уста и записывались многими, не одним Вяземским. В своем «Воображаемом разговоре с императором Александром!» Пушкин говорит: «Ваше величество, вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение возмутительное приписывается мне, — как всякие остроумные вымыслы — князю Цицианову».

Жил Цицианов долго, до восьмидесяти восьми лет, и не уставал предаваться своему странному творчеству. По происхождению он был грузин, но свой род производил прямо от Иакова, потому что в его гербе была лестница.

Второй лгун, о котором повествует Вяземский, граф Винцент Красинский, гораздо менее даровит. В сущности, он не фантазирует, а лишь чудовищно, порой грубо и несуразно, преувеличивает. Ложь его слишком небескорыстна, чтобы считаться поэтической. Иногда, как например в анекдоте о звезде Почетного легиона, данной ему Наполеоном, Красинский падает до простого вранья, которое было бы под стать Хлестакову. Много раз повто-

ряющиеся слова, будто Хлестаков врет, «как поэт», не кажутся мне пронизательными. В Хлестакове как раз нет ничего поэтического, он — сама обыкновенность. Гоголь именно таким и хотел его сделать. Он врет сперва спьяну, потом корыстно.

Ныне Хлестаковы множатся, зато лгунов-художников, лгунов бескорыстных все менее. Таких, как Цицианов, нет уже вовсе. Мне, однако же, еще довелось застать одного такого в живых. Расскажу о нем — потому, во-первых, что это был «последний из могикан», а во-вторых, потому, что и среди лгунов представлял он собою разновидность довольно странную и примечательную. В литературе она не встречается. Разве только генерал Иволгин в «Идиоте» Достоевского кое-чем на него смахивает, но все же это совсем не то.

Был у меня дальний свойственник, некий Т. Родился он в пятидесятих годах прошлого столетия. Его отец был человек чрезвычайно богатый, но ничем, кроме доброго сердца, не замечательный, — в свое время известный московский благотворитель. Сын, о котором сейчас идет речь, с грехом пополам окончил кавалерийское училище (после того, как не мог окончить реального). Почему-то он очутился в донском войске, хотя казачьей крови не было в нем ни капли. Впрочем, он рано вышел в отставку, имея не бог весть какой чин хорунжего. Унаследовав очень большое состояние, он жил в своем подмосковном имении, ничего не делая, если не считать фейерверков собственного изготовления. Над изготовлением ракет, римских свечей, всяких замысловатых колес обычно трудился он начиная с Нового года. 24 июня, в день его именин, все это торжественно сжигалось.

Его отца знала решительно вся Москва. Его самого не знал уже почти никто. Однако ему во что бы то ни стало хотелось казаться московскою достопримечательностью, одной из тех легендарных личностей, которые к тому времени почти уже перевелись. В конце концов он и вообразил себя такой личностью. Но этого было мало: надо было еще убедить других в том же.

Как нарочно, звали его Иван Александрович. От своего знаменитого тезки он отличался тем, что у Хлестакова было

воображение пошрое, воображение «простого елистратишки», но все же то было воображение. Мой же Иван Александрович тем и был замечателен, что у него начисто не было никакого воображения. Охота смертная, да участь горькая: при самом пламенном и непрестанно его томившем желании солгать он решительно ничего не мог выдумать. Что же делать? Как выказывать себя старожилом, «свидетелем истории»?

Увы, мой Иван Александрович стал плагиатором. Он знал великое множество анекдотов: исторических, полуисторических и неисторических вовсе. И вот где бы, когда бы что ни случилось — оказывалось внезапно, что все это произошло либо с самим Иваном Александровичем, либо, на худой конец, в его присутствии. Свою биографию черпал он одинаково из устных преданий и печатных источников. С ним приключились решительно все анекдоты и замечательные события всех времен и народов — воистину «от Ромула до наших дней». Фантазии у него хватало только на то, чтобы не считаться с пределами времени и пространства и рассказывать от первого лица то, что уже тысячу раз рассказано было от третьего.

— Стою это я на часах. Идет покойный император Николай Павлович (умерший, кажется, года за два до рождения рассказчика). Здоровается. — Здравия желаю, ваше императорское величество. — А скажи-ка мне, братец, сколько я стою? — Не могу знать, ваше императорское величество. — Ну, а ты, говорит, подумай. — Подумал я и ответил ему: — Двадцать девять сребренников. — Почему? — Да потому, говорю, что уже если за Господа Бога дано было тридцать сребренников, так вы, ваше величество, на сребренник меньше стоите».

Впрочем, пересказывать его анекдоты не стоит. Подобно вышеприведенному, большинство их было почерпнуто из отрывных календарей: у Ивана Александровича не было не только воображения, но и вкуса. (Я забыл, однако, сказать, что он был человек добрейшей души.) Могут только засвидетельствовать, что легендарный юнкер, потерявший казенную траекторию, учился как раз в одно время с Иваном Александровичем, который собственными глазами читал знамени-

тое письмо; что Иван Александрович видел из окна, как был убит Александр II; что Скобелев был отравлен в присутствии Ивана Александровича, который, к несчастью, бессилён был этому помешать; что Иван Александрович постоянно играл в карты с Драгомировым — само собою понятно, сколько при этом было сказано остроумных, впоследствии разлетевшихся по всей России; что Иван Александрович помог Достоевскому сойти с эшафота и первый обнял его после речи о Пушкине.

Стоило кому-нибудь коснуться случая, Ивану Александровичу знакомого, он тотчас же прибавлял: «Ну, как же, ещё бы! Это же при мне было! Как сейчас помню!» И, перебив рассказчика, он продолжал повествование уже в качестве очевидца. Если же речь заходила о событии, ему неизвестном, он терпеливо выслушивал до конца, кивая головой и поглаживая седые бакенбары, а потом заявлял торжественно: «Вы совершенно правы. Я ведь все это видел собственными глазами. Именно так все и было».

На то, чтобы поспорить или выдумать какие-нибудь подробности, у него не хватало воображения.

Зато не было такого явления природы, которого он бы не наблюдал, не было и житейской коллизии, в которую он бы не попадал. Он пережил все кораблекрушения XIX столетия; замерзал на Монблане; едва не погиб от самума; после мессинского землетрясения (во время которого я как раз гостил у него в деревне) у него стали лезть волосы; шаровидными молниями, скользившим по его платью, он потерял счет; стрелка его компаса вертелась волчком при магнитных бурях; в гостях у московского богача Хлудова его чуть не растерзал лев — Иван Александрович так хватил зверя по зубам, что тот полез под диван. Все это рассказывалось точь-в-точь так, как было вычитано или слышано. Разумеется, он сорвал банк в Монте-Карло, спас от смерти тореадора и на пари с Александром III узлом завязывал кочергу. Ради красного словца Иван Александрович не щадил никого. Однажды зашла речь о кровосмесительстве. Иван Александрович грустно и покаянно опустил голову:

— Греха таить нечего, жил я с покойной моей сестрицей Людмилой Александровной.

В его имении был прекрасный барский дом, окруженный липовым парком. В парке стояла церковь, если не ошибаюсь — XVII столетия. Само собою разумеется, в ней именно императрица Елизавета Петровна венчалась с Разумовским. Кроме большого дома было еще четыре поменьше. Одного из них, совсем маленького, всего в две комнаты, я уже не застал: он сгорел в середине девяностых годов. Это была утрата для человечества невозвратимая. О какой бы книге или гравюре ни зашла речь, Иван Александрович говорил с досадой: «Была она у меня в маленьком доме, да вот — сгорела». В том же домике умещалось собрание картин, в котором были представлены все великие мастера. Картины тоже погибли, как и скульптура. Кроме картин и прочего было в маленьком доме первое в мире собрание минералов, драгоценных камней, раритетов, древностей, рукописей. Особенно жалел добрый Иван Александрович, что уже он не может подарить мне вот эдакую пачку писем Пушкина к его другу... к этому, знаете?... ну, как его там?

— К Нащокину?

— Вот именно. К нему самому.

— А может быть, к Соболевскому?

— Совершенно верно: к Соболевскому. То есть были и Соболевскому, и к тому... как вы сказали? Ну да, к Нащокину.

Как сказано, главною чертой Ивана Александровича было отсутствие воображения. Поэтому каталог его изумительно-го музея складывался сам собою, постепенно, из разговоров: о чем пойдет речь, то, оказывается, и погибло в безжалостном, всепожирающем пламени. Так постепенно для меня выяснилось, что в маленьком доме сгорели нижеследующие реликвии: все басни Крылова, им самим переписанные для дела Ивана Александровича; альбом, заключавший в себе автографы всех знаменитостей и великих людей, о которых когда-либо заходила речь в течение двадцатилетней нашей дружбы; перо, которым подписан был манифест об освобождении крестьян; линейка, по которой Николай I провел на карте будущий путь Николаевской железной дороги; прядь волос Людовика XVI; табакерка не то Платона, не

то Валериана Зубова; шляпа, которую в двенадцатом году маршал Ней забыл в большом доме; письмо запорожцев к турецкому султану — то самое, писание которого изображено на знаменитой картине Репина; молитвенник Суворова; астрономические приборы, принадлежавшие некогда Ломоносову; собственноручный приказ Раstopчина — начинать московский пожар... Много было и еще всякого добра — всего не упомнишь. Недавняя «пушкинская» выставка, устроенная в Париже, с ее пистолетами, печатями и миниатюрами, чрезвычайно напомнила мне музей Ивана Александровича. Я потому и не был на ней, что боялся расплакаться от нахлынувших воспоминаний о моем друге...

Мне бы очень хотелось закончить рассказ об Иване Александровиче каким-нибудь более или менее эффектным казусом — но что поделаешь? Это никак невозможно. Ничего потрясающего не случилось. Иван Александрович просто лгал себе, да и лгал без особенных, так сказать, приключений, — до самой кончины своей, происшедшей в 1919 году. Мне кажется, впрочем, что нечто выдающееся было в самой природе его вранья: человек ухитрился всю жизнь лгать, ничего ни разу не выдумав. Согласитесь, что это дается не всякому и что в галерее лгунов Иван Александрович имеет право на совершенно своеобразное место. Добавлю, впрочем, одну любопытную подробность: в старом доме его находилась довольно обширная библиотека, оставшаяся от прежних владельцев. Состояла она из книг XVIII столетия и первых трех десятилетий XIX-го. В ней были ценные издания, но Иван Александрович ею совершенно не интересовался. С его разрешения я из нее кое-что извлек — и слава богу: в 1915 г. большой дом был реквизирован под военный госпиталь; библиотеку свалили в подвал, где она стала жертвой сырости, крыс и воров.

*Публикацию подготовил  
Григорий Поляк.*

---

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

## ГРЕХОПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного, и вечно униженного из-за неурядиц жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который окрашивает в темные краски всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу «проклятых вопросов» жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

**В книге 320 страниц. Цена - \$16. Заказы и чеки высылать по адресу:**

**„Time and We”  
409 Highwood Avenue  
Leonia, New Jersey 07605, USA**

---

ВЕРНИСАЖ  
«ВРЕМЯ И МЫ»



## ГОРОДСКОЙ РОМАНС

«Я и сейчас ощущаю себя древним евреем, мне Ева смотрит в спину». Это особенно занятно слышать от очаровательной молодой иудейки, дизайнерски со вкусом, но не нарочито, одетой, с постоянно вспыхивающей и ускользящей гримаской, отражающей остроумные взлеты речи. Речи, представляющей собой хороший «интеллигентный» русский язык с питерско-московской интонацией и с вкраплениями наших нью-йоркских словечек.

Парадокс творчества Беломлинской заключается в том, что ее художественные образы существуют здесь, сейчас, вокруг нас: это — Бабель в Нью-Йорке, Хармс в Квинсе, пираты, высаживающиеся на Брайтон-Бич, а сцена «он молча отбивался у перил — и в этот миг она его любила» происходит то ли в «Русском Самоваре», то ли в ирландском пабе в квартале от него. А где-то над Бронксом пролетает не то сам Шагал, не то кафкианский угольщик.

Все намешано, как и должно быть у художника: живопись, графика, стихи, песни, образ жизни, все перетекающее из одного в другое, и необходимые для

нее частые вспышки влюбленности. Сама она говорит, что всегда стремилась к тому, чтобы ее «частная жизнь» была продолжением творчества. Цель — не наблюдать, а всерьез играть роль героини-персонажа городского романа, а порой и городской сумасшедшей. Отсюда и метания, и способность бывать в четырех местах одновременно, пламенно сходиться и дымно расходиться с людьми, но при этом всегда сохраняя в глубине глаз огонек понимания, что есть главное, и кто — свои, мерцание вкуса в выборе слов и цвета. Из-за этих вот качеств, из-за этой энергии, способности сразу опознать и принять настоящее — стих, человека, рисунок, фигуру разговора — и родилась ее способность быть одним из центров кристаллизации нашей нью-йоркской русской культуры.

Ее способность поддерживать «домашний» культурный очаг происходит от опыта, накопленного еще в Ленинграде начала восьмидесятых: позднее в брежневское глухое время. Это был опыт формирования своего закрытого круга, «одомашнивания» города. «Мы сами создали тогда свою жизнь и были от «них» почти независимы».

Беломлинская работает, в основном, с акварелью и гуашью на бумаге, редко — акрил на холсте. Любит дерево, отсюда ее характерные деревянные настенные доски с жанровыми сценами. Занимается она и графикой на бумаге. Теперь, в Нью-Йорке, Юлия художник-дизайнер по текстилю, в небольшой, но успешной студии в «гармент-дистрикт». Бывают незанятые дни, и тогда возникает подсаживающее ощущение, что можно остаться на мели, а бывает, что приходится по тринадцать часов в день рисовать, и по ночам тоже. Тогда заработок бывает приличный. «Ну, это — нормально. Тогда можно еще какие-нибудь чудные плюшевые подушки прикупить к моему «мещанскому уюту». Семь слонов у меня уже есть!»

Немного биографии. Закончила среднюю художественную школу в Ленинграде и Институт театра, музыки и кинематографии по специальности художник-постановщик. Выросла в семье известного художника, оформителя детских книг, мать — писатель, прозаик. «Я с родителями была очень дружна, я у них всему научилась. Папа, в основном, и научил меня рисовать». Росла в ленинградской среде художников, поэтов, литераторов. Именно поэтому, как она сама говорит, не

нужно было играть в художницу, это получилось само по себе.

Ей нелегко дался известный всем нам, уехавшим на Запад, перелом, отъезд, эмиграция. Как и у многих из нас друзья и близкие живут по нескольким странам мира. Ну, а кто же ты? — спрашиваю. «А я больна тремя неизлечимыми болезнями: иудейство, многолетнее выяснение сложных любовных отношений с Россией и новая любовь — Нью-Йорк. Который я полюбила сразу. Я теперь нью-йоркский американец. Мне здесь не одиноко. Хотя я технически и мать-одиночка».

— Да, действительно, появилась подпитка культурной среды, нашего особого социума, «аутерграунда». В отличие от многолетнего культурного ветерана «андерграунда», который в теперешней России парадоксальным образом сам частично становится культурным «истэблшментом». Мы ведь теперь не периферия российской культуры, а что-то особое, другое, свое. Не правда ли?

— Ну, это все ваши мужские игры — обязательно выяснять, кто главный!? На мой взгляд, мы есть российская периферия, по сравнению с Москвой, например, но меня это не волнует. В русской традиции в провинциях, особенно до революции рождались или продолжались удивительные вещи. Витебск, например. «Да, Витебск! А русский Нью-Йорк — это такой себе шумный провинциальный цветущий русский городок, но — в Нью-Йорке!» Вот несколько строк из Юлиного стиха — городского романа «Уездный пейзаж»:

«Мы в уезде, а значит в уюде,  
слава Богу, скажи, что живой...

Не пытайся назад обернуться  
в этот город стоячей воды...

Нам бы только туда, где не страшно,  
нам бы только туда, где свои,  
Мортон-стрит или Мендель, не важно,  
были б голуби иль воробьи.

К. Кузьминский как-то сказал по поводу Юлиных стихов: «Ты как Киплинг в пробковом шлеме, который стоит и произносит стихи на идише».

— Кстати, о среде и культуре. Каковы твои отношения с американской культурой?

— Как я уже говорила, я Нью-Йоркская американка, ну как все эти корейцы и китайцы, что ли, работаю, езжу, как и все, в сабвее, плачу налоги, но дружить нельзя с людьми, с которыми не было общего детства. Дружить и иметь любовь можно только со своими. А то, что мы не смешиваемся с нью-йоркскими итальянцами или, скажем, воспами, так это нормально.

Что же касается идеологического лица художника, то сам художник утверждает, что она одновременно юдофилка, русофилка и нью-йоркофилка (любовь с первого взгляда, что ей вообще свойственно). Что касается нас, русских евреев американцев, то мы после «остановки» продолжительностью в несколько десятков лет взяли Россию с собой в котомку и потащились с ней дальше по свету. Слава Богу, что с нами идет Юлия Беломлинская. Вот, посмотрите, что там у нее в котомке оказалось.

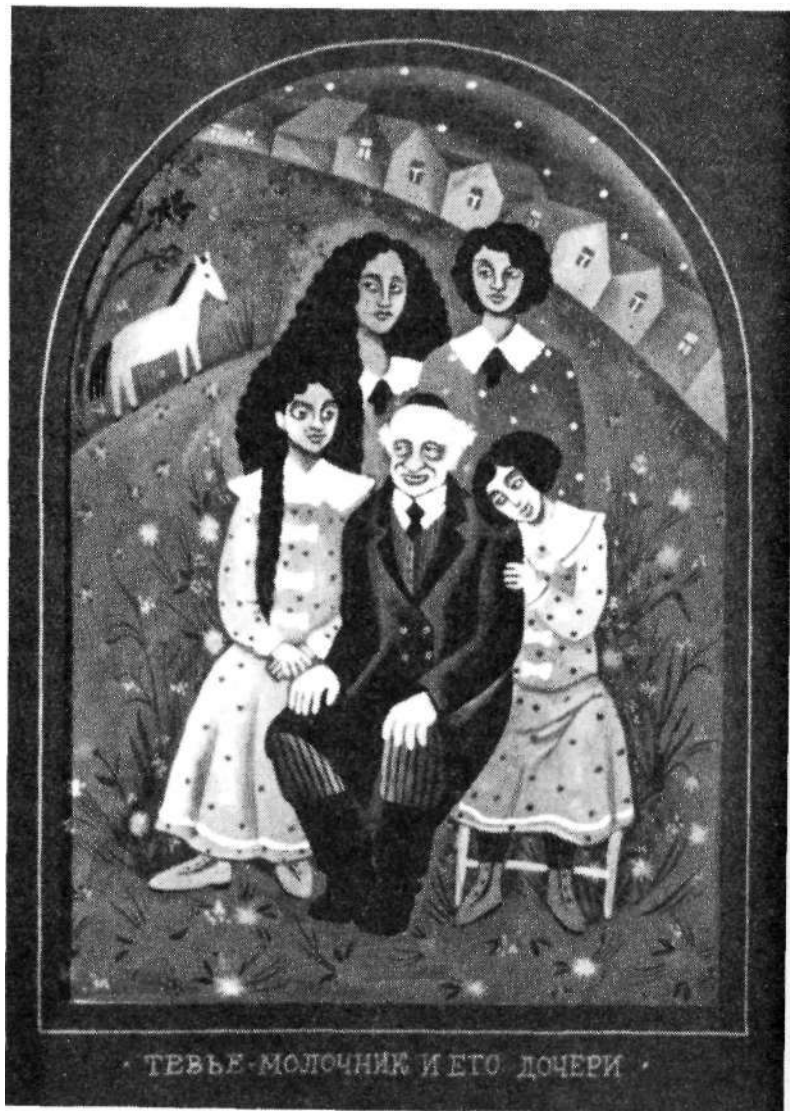
А. Г-н



Улица бедных влюбленных. Бумага, гуашь, акварель.



Вдова Лея и ее дети. Бумага, гуашь, акварель.



Тевье-молочник и его дочери. Бумага, гуашь, акварель.



Однажды в Америке. Триптих, 1 часть. Дерево, гуашь, акварель.



Однажды в Америке. 2 часть. Дерево, гуашь, акварель.



Однажды в Америке. 3 часть. Дерево, гуашь, акварель.



В Кейптаунском порту. Дерево, гуашь, акварель



Джон Грей, силач-повеса. Дерево, гуашь, акварель.

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**БОРИС НОСИК.** Родился в 1931 г. в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и Институт иностранных языков. Член Союза писателей СССР, Борис Носик известен как писатель документалист, ему принадлежит ряд очерковых и публицистических книг. Среди них наибольшую известность получила биография Альберта Швейцера, вышедшая в серии ЖЗЛ и переведенная на иностранные языки. На немецком языке биография Швейцера была издана восемь раз.

С начала перестройки широко публикуется в России, где сегодня напечатаны практически все произведения Бориса Носика, многие из которых долгие годы ходили в Самиздате. В журнале «Время и мы» опубликованы его две повести «Большие птицы» (№ 106) и «В турпоходе» (№ 7).

**ТАТЬЯНА МУШАТ** — родилась и жила в Сибири, в городе Новосибирске до эмиграции в США в 1991 году. Инженер, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной математики Новосибирского государственного технического университета (в прошлом, НЭТИ).

В настоящее время занимается переводом с английского на русский философских работ Ричарда Хэзлетта — с предварительными названиями «Найди Бога разумом» и «Как научиться быть добродетельным». Работы посвящены вопросам взаимосвязи религии, науки и этики.

**ГРИГОРИЙ МАРК.** Родился в 1940 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Активно участвовал в диссидентском движении.

Печатался в «Литературной газете», «Дружбе народов», «Звезде», в журнале «Время и мы» и др. Вышло два поэтических сборника.

**ВЛАДИМИР ДОБИН** - поэт и журналист. Родился в Москве в 1946 году. Автор трех поэтических книг («Христос», Москва 1989 г., «Полдень», Тель-Авив, 1995 г., «Поздний свет», Тель-Авив, 1995 г.). Его стихотворения и поэмы опубликованы во многих российских изданиях, в том числе в журнале «Смена», альманахе «Поэзия», в «Литературной газете», «Московском комсомольце», в «Антологии русского верлибра» (Москва, 1991 г.), в коллективных сборниках.

С 1992 года Владимир Добин живет в Израиле, где его произведения опубликованы в журнале «Алеф», альманахе «При свечах» (Тель-Авив), в различных газетах.

Владимир Добин — член Союза писателей Израиля.

**ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ.** Один из основателей советской социологии в 60-е годы в России. Стал известным в стране своими национальными опросами общественного мнения в 60—70-е годы. В эти годы он опубликовал около 10 книг и множество статей, в частности, в «Литературной газете». В 1972 году эмигрировал в США, где стал одним из ведущих экспертов по России. В частности, на протяжении многих лет он консультирует американское правительство по проблемам России. Работая по вопросам социологии в Мичиганском государственном университете, он опубликовал за время деятельности в Америке 12 книг и десятки статей. Его статьи печатались в New York Times, Washington Post и других ведущих американских газетах.

**АНДРЕЙ ГРИЦМАН.** Родился в 1947 г. в Москве. Окончил 1-й Московский медицинский институт. С 1981 г. живет в США. Работает врачом, а также преподает. Поэт, переводчик и эссеист. Пишет по-русски и по-английски. Публикуется в русских зарубежных изданиях. Участник многих американских поэтических семинаров и фестивалей. В 1995 г. поступил в Литературный институт на отделение поэзии Университета Норвич в Вермонте. Статьи по современной американской поэзии. Недавно в издательстве «Петрополь» вышел поэтический сборник Андрея Грицмана «Ничейная земля».

**МИША ГОФМАН.** Родился в 1940 году в Ленинграде. Закончил Ленинградский Театральный институт в 1970 году. Работал экскурсоводом в Ленинградском Бюро Путешествий, искусствоведом в Художественном Фонде РСФСР. Эмигрировал в 1978 году. В 1983 году получил звание магистра в Двухязычном Образовании в Колумбийском университете. В 1988 году получил звание магистра в Communication and Information Processing в Коллумбийском университете. Работал в YIVO Institute for Jewish Research (Институт Еврейских Исследований) в Нью Йорке как координатор проекта «История Русского Еврейства в фото и кинодокументах». С 1985 по 1991 год был руководителем различных программ культурной и профессиональной адаптации русских иммигрантов. Подготовил к печати «Антологию русского и американского национального характера». Выпустил 3 книги путешествий по Америке.

**ИОСИФ КОСИНСКИЙ.** Родился в 1929 г. в Ленинграде, в семье морского офицера. В 1948 году окончил среднюю школу и поступил в университет. В апреле 1951 г. арестован МГБ, приговорен к 10 годам концлагеря. Заключение отбывал на стройке Волго-Балтийского канала в Вологодской области и на строительстве нефтекомбината в Башкирии. Освобожден по амнистии в период хрущевской «оттепели» (июль 1955). Эмигрировал в конце 1981; работал редактором в газете «Новое русское слово», перевел с английского ряд книг по заказам издательства «Время и мы», «Либерти», «Славик Госпел Пресс». Опубликовал более 400 статей, преимущественно в «Новом русском слове», а также в еженедельнике «Русская мысль» (Париж), журналах «Континент», «Грани».

**ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ** — родился и получил художественное образование в Москве. Участвовал во второй мировой войне. Победитель многих международных конкурсов. Начиная с 1962 года, Эрнст Неизвестный подвергался непрерывным идеологическим преследованиям, которые вынудили его эмигрировать. После эмиграции живет в Нью-Йорке. Почетный член ряда иностранных академий. В настоящее время Эрнст Неизвестный продолжает интенсивно работать над своим знаменитым «Древом жизни», которому по существу посвятил всю свою жизнь, а также над скульптурными памятниками жертвам утопического социализма.

**ПЕТР РАБИНОВИЧ.** Родился в 1924 году в Красном, на Украине. С 1932 года жил в Москве. Участник войны, в 1947 году закончил Московский юридический институт, больше 20 лет был членом Московской городской коллегии адвокатов, автор книг и статей по профессиональным вопросам. В 1978 году эмигрировал в США, где после окончания Бруклинской юридической школы сдал адвокатские экзамены и был первым советским адвокатом, допущенным к юридической практике в Америке. Много пишет по правовым вопросам в «Новом Русском Слове», написал и опубликовал на английском языке несколько статей в юридических научных журналах Америки. Является главой юридической фирмы в Манхэттане, Нью-Йорке.

**ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ** - родился в 1886 г. в Москве. Окончил Московский университет. Начал печататься с 1905 г. Поэт, критик, переводчик. В 1922 г. Ходасевич покинул советскую Россию навсегда. Автор многих книг, в том числе книги воспоминаний «Некрополь» — одного из лучших образцов мемуарной литературы. «Колеблемый треножник» — вторая книга воспоминаний Ходасевича.

Многие из произведений Ходасевича за последние годы вышли в России.

Ряд его воспоминаний и эссе вышли в журнале «Время и мы».

## БОРИС ПИСЬМЕННЫЙ ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ

Новая книга автора нашего журнала вышла ограниченным тиражом в Нью-Джерси (*Otvet Right, Inc*) в факсимильном авторском наборе и графическом оформлении.

*Особенно интересно, - говорится в предисловии мне знать, что творится в голове брата-иммигранта... хороша фантастика, истории про жгучую любовь и приключения, но, что может быть любопытнее, чем разгадка своей собственной судьбы. В Америке нас зовут русскими, в России - евреями, себя любим считать американцами. Похоже на каламбур? Верно, есть в этом истина и натяжка. Но не такова ли судьба тех, кто среди русских снегов мечтал о библейской стране молока и мёда, в Израиле — об Америке, а в Америке об идиллической, часто неправдоподобной России своих детских лет. Судьба тех, кто "избран" тосковать непременно но далекому и недостижимому, что сладко и смешно. И лезть из собственной шкуры, что больно. Смех и слёзы, анекдот и болезненная рефлексия, похоже, написаны на роду.*

Рассказы Бориса Письменного о наших знакомых, о дороге от московского Садового Кольца до Садового Штата—Нью-Джерси, о ступенях ферментации, возникающей в голове задолго до резких движений и возни с чемоданами. В них вечеряющее, цвета линиялой спецовки московское небо в день праздничной толкучки, семья, замороженная байками первого визитера из США, пенсионеры Квиса и исповеди американцев со стажем — умников не от мира сего и преуспевающих бизнесменов.

*В книге 236 страниц, цена книги \$ 12.90, включая доставку.*

*Заказы и чеки направлять по адресу:*

B. Pismenny, 14 Park Ave, CRESSKILL, N.I 07626, USA

## ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Маковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н. М. Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки направлять по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605

Лорен АЙЗЛИ

## ВЗМАХ КРЫЛА: РАССКАЗЫ И ЭССЕ

Подбор, перевод с английского, предисловие и примечания  
Д. Н. Брешинского

(Москва: Издательство Московского университета, 1994)

Произведения Лорена Айзли (1907-1977), известного американского антрополога, натуралиста, эссеиста и поэта, получили самую высокую оценку разнообразнейших критиков:

• «Казалось бы, поэзия и наука несовместимы - как масло и воду, их невозможно смешать. Однако есть исключительные ученые, которым это вполне удается. Лорен Айзли один из них... Это Пруст, чудесным образом преобразившийся в антрополога-эволюциониста». *Феодосий Добржанский, американский генетик*

• «Удивительная широта познаний, бесконечная способность удивляться и сострадательный интерес ко всему и вся во Вселенной». *«Филадельфия санди бюллетэн»*

• «Вряд ли кто-либо сказал больше о столь необъятном предмете в такой сжатой форме». *Джозеф Вуд Кратч («Сатердей ревью»)*

• «Он был одним из первых ученых, заявивших во весь голос, что человек должен вновь найти свое место в мироздании. Его слова создали новый тип литературы, основанной на объективных научных данных, и его предостережение помогло положить начало новому общественному движению. Как и пророки всемирных религий 2000 лет назад, он учит наше поколение вновь обрести космическое чутье, которое свойственно только человеку». *Рэне Дубос («Смитсониян мэгэзин»)*

• «Произведения Лорена Айзли перевернули мою жизнь». *Рэй Брэдбери, американский фантаст*

• «Когда мы привыкнем к Лорену Айзли, такому непохожему на все, что читали, то пойдем, какое чудо открыл нам Дмитрий Брешинский, и скажем от души: спасибо!» *Юрий Нагибин («Лента»)*

• «Браво!» *У. Х. Оден, английский поэт*

Сборник «Взмах крыла» можно приобрести через  
Издательство МГУ (тел.: [095] 939-33-23; факс: 203-66-71),  
в США - в книжном магазине «Victor Kamkin, Inc.»  
(тел.: [301] 881-5973; факс: 881-1637)

## ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» - 1996

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ В США — 59 долларов;  
с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов;  
для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах  
чеками американских банков и иностранных банков,  
имеющих отделения в США,  
и высылаются по адресу «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, N J 07605, USA  
TEL: (201) 592-6155

### ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на.....год.  
Высылать с номера..... Журнал высылать обычной (авиа) почтой по  
адресу:

.....

.....

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605, USA

Tel.: (201) 592-6155

OCR и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна  
На четвертой странице обложки: Юлия Беломлинская  
«Нью-Йорк, дети и природа. Холст, акрил».**

